АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

«НАУКА»
МОСКВА — 1991

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.
БАНЕР В. (ФРГ)
БЕРНШТЕЙН С. Б.
БИРНБАУМ Х. (США)
БОГОЛЮБОВ М. Н.
БУДАГОВ Р. А.
ВАРДУЛЬ И. Ф.
ВАХЕК Й. (ЧСФР)
ВИНТЕР В. (ФРГ)
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)
ДЕСНИЦКАЯ А. В.
ДЖАУКЯН Г. Б.
ДОМАШНЕВ А. И.
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)
ДУРИДАНОВ И. (Болгария)
ЗИНДЕР Л. Р.
ИВИЧ Н. (СФРЮ)
КЁРНЕР К. (Канада)
КОМРИ В. (США)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)
МАЖЮЛИС В. Н.
МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
МАРТИНЕ А. (Франция)
МЕЛЬНИЧУК А. С.
НЕРОЗНАК В. П.
ПИЛЬХ Г. (ФРГ)
ПОЛОМЕ Э. (США)
РАСТОРГУЕВА В. С.
РОБИНС Р. (Великобритания)
СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
СЛЮСАРЕВА Н. А.
ТЕНИШЕВ Э. Р.
ТРУБАЧЕВ О. Н.
УОТКИНС К. (США)
ФИШЬЯК Я. (Польша)
ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ХЕМП Э. (США)
ШВЕДОВА Н. Ю.
ШМАЛЬСТИГ В. (США)
ШМЕЛЕВ Д. Н.
ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
ШМИТТ Р. (ФРГ)
ЯРЦЕВА В. Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.
АПРЕСЯН Ю. Д.
БАСКАКОВ А. Н.
БОНДАРКО А. В.
ВАРБОТ Ж. Ж.
ВИНОГРАДОВ В. А.
ГАДЖИЕВА Н. З.
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.
ГАК В. Г.
ДЫБО В. А.
ЖУРАВЛЕВ В. К.
ЗАЛИЗНЯК А. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.
КАРАУЛОВ Ю. Н.
КИБРИК А. Е.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)
КОДЗАСОВ С. В.
ЛЕОНТЬЕВ А. А.
МАКОВСКИЙ М. М.
НЕДЯЛКОВ В. П.
НИКОЛАЕВА Т. М.
ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
СОБОЛЕВА И. В. (зам. отв. секретаря)
СОЛНЦЕВ В. М.
СТАРОСТИН С. А.
ТОПОРОВ В. Н.
УСПЕНСКИЙ Б. А.
ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ХРАКОВСКИЙ В. С.
ШАРБАТОВ Г. Ш.
ШВЕЙЦЕР А. Д.
ШИРОКОВ О. С.
ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

СОДЕРЖАНИЕ

Леман В. П. (Остин). Новое в индоевропеистических исследованиях (Окончание) 5
Бондарко А. В. (Ленинград). Носитель предикативного признака (На материале русского языка) 27
Шаляпина З. М. (Москва). Грамматика и ее соотношение со словарем при словоцентрическом подходе к языку (На опыте формализованного лингвистического описания) 42
Мигачев В. А. (Белгород). О реконструкции морфонологических процессов (На материале германских языков) 55
Кравецкий А. Г. (Москва). К изучению текста богослужебных книг (Паримейная версия книги пророка Ионы) 72

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

Кайперт Г. (Бонн). Крещение Руси и история русского литературного языка 86

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Гухман М. М. Литературный язык и культура 115

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Слюсарева Н. А. (Москва). Language Typology. 1987. Systematic balance in language 127
Агеева Р. А. (Москва). *Сталтмане В. Э.* Ономастическая лексикография 136
Гвишиани Н. Б. (Москва). Understanding the lexicon. Meaning, sense and world knowledge in lexical semantics 139

Бородина М. А., Найдич Л. Э. (Ленинград). *Смирницкая С. В.* Ареальная специфика рейнско-мозельского региона 144
Кочерган М. П. (Черкассы). *Тараненко А. А.* Языковая семантика в ее динамических аспектах (основные семантические процессы) 146
Туманян Э. Г. (Москва). *Haytapetyan S. P.* Hay hin ew mijnadarean gzakanuthean patmuthiwn 151

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Письмо в редакцию 155
Хроникальные заметки 157

© Издательство «Наука»
«Вопросы языкознания», 1991 г.

CONTENTS

Lehmann W. P. (Austin). The current thrust of Indo-European studies. II; Bondarko A. V. (Leningrad). Syntactic elements serving as vehicles of predicative meaning; Šaljapina Z. M. (Moscow). Grammar and its relation to the lexicon; Migačev V. A. (Belgorod). Reconstruction of the morphonological phenomena; Kraveckij A. G. (Moscow). Text-study of Slavonic prayer-books; **From foreign periodicals:** Keipert H. (Bonn). The Christening of Russia and history of the Russian literary language; **From the history of science:** Guxman M. M. Literary language and culture; **Reviews:** Šljusareva N. A. (Moscow). Language typology. 1987 Systematic balance in language; Ageeva R. A. (Moscow). *Staltmane V. E.* Onomastic lexicography; Gvišiani N. B. (Moscow). Understanding the lexicon. Meaning, sense and world knowledge in lexical semantics; Borodina M. A., Naidič L. E. (Leningrad). *Smirnickaja S. V.* Areal features of the Rhein-Mosel language region. The Romance-Germanic contact zone; Kočergan M. P. (Cherkassy). *Taranenko A. A* Dynamic aspects of language semantics (The principal semantic changes); Tumanian E. G. (Moscow). *Hayrapetyan S. P.* Hay hin ew mijnadarean gzakanuthean patmuthiwn («History of ancient and medieval Armenian literature»); **Scientific life.**

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1991

ЛЕМАН В. П.

НОВОЕ В ИНДОЕВРОПЕИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ*

5. Нелексические языковые свидетельства.

Как было отмечено выше, Мэллори довольно обстоятельно рассмотрел те лексические данные, которые используются для идентификации прародины индоевропейцев [4, с. 158—164]. Поскольку эти данные практически соответствуют тем, что цитируются в любом элементарном курсе индоевропеистики, мы не удивляемся его утверждению, что «ученые уже извлекли из языковых данных все, что было возможно» [4, с. 164]. Даже в том случае, если тщательный анализ, основанный на максимальном использовании доступной информации, даст какие-либо дополнительные сведения (см. в этом отношении работу Дайболда [37]), это не изменит общей ситуации, ибо известный науке лексикон уже неоднократно изучался поколениями индоевропеистов. Так что слишком мала вероятность открытия неизвестных фактов, связанных с обозначением какого-либо животного, растения или иного объекта, дающего возможность получить более определенную информацию о местонахождении прародины индоевропейцев, чем та, что была добыта предшествующими исследователями. Приходя к такому же выводу, Мэллори утверждает, что «сейчас слово за археологами» [4, с. 164]. Однако помимо лексики информацию можно извлечь и из иных уровней языка.

5.1. Данные, получаемые из анализа внутренней структуры языка. Почти полстолетия назад Шпехт опубликовал обширное исследование, состоящее из двух частей, первую из которых он озаглавил «Индоевропейское склонение — зеркало индоевропейской культуры» [32, с. 1—113]. Социальные условия, сложившиеся ко времени ее публикации, не только привели к утрате первого издания, но и снизили внимание ко второму изданию 1947 г. Хотя эту работу иногда цитируют в библиографиях, выводы Шпехта почти никем не учитываются. Перед тем как их рассмотреть, отметим, что они основываются как на тщательном изучении автором диалектов и предполагаемого праязыка, так и на результатах работ других исследователей, в частности, обстоятельных трудов Перссона (особенно [45]). Помимо того, Шпехт был основательно знаком с публикациями, доступными ему ко времени завершения его работы, включая монографию Бенвениста [46], на которую он время от времени ссылается.

Предметом исследования Шпехта являлась не лексика, а языковая структура. Вряд ли стоит напоминать, что внутриязыковое структурирование более фундаментально и менее подвержено изменениям, чем слова языка.

Шпехт рассмотрел две характерные особенности индоевропейской флексии: варьирование в строении основы и широкий набор окончаний

---

* Окончание. Начало см. ВЯ, 1991, № 4.

отдельных падежей (например, форм генитива в латинском типа *vir-ī*, *nomin-is*, *famili-ās*, *faci-ēs* и т. д.). Анализируя первую из указанных особенностей, он отмечает, что общеупотребительные слова, или, как он их называет, древние концепты, представляли собой в праязыке консонантные основы, а слова с *o*- или *a*-основами, очевидно, возникли позднее. Изучение подобных различий позволило Шпехту осуществить внутреннюю хронологизацию, посредством которой он идентифицирует слова, служащие для обозначения относительно более поздних понятий. С этой точки зрения особый интерес представляет терминология, относящаяся к деталям конструкции повозки [35, 1-е изд., с. 99—103]. Термины, принадлежащие к этой сфере лексики, являются более поздними в сравнении со словами, использующимися для обозначения объектов природы [35, 1-е изд., с. 9—28], животного мира [35, 1-е изд., с. 28—53], растительного мира [35, 1-е изд., с. 53—73], частей тела [35, 1-е изд., с. 73—87], а также для обозначения семьи и жилища [35, 1-е изд., с. 87—98]. Легко согласиться с выводом Шпехта о том, что техника конструирования повозки стала известной в обществе несколько позже времени ее изобретения. Шпехт датирует появление повозок приблизительно 3000 г. до н. э. Таким образом, он использует внутреннюю структуру языка для установления элементов сравнительной хронологии как в области языка, так и достижений в культуре индоевропейского сообщества.

Я привожу этот пример лишь для того, чтобы продемонстрировать применяемые при реконструкции методы, однако не буду останавливаться более подробно на важности выводов Шпехта. Несмотря на то, что некоторые из положений этого ученого (например, соотнесение именных основ с указательными местоимениями) не получили признания у специалистов, в данном случае существенно то, что Шпехт следовал давнему взгляду лингвистов, согласно которому любой язык содержит в себе напластования различных хронологических слоев. Последние не отличаются таким же регулярным распределением, как биологические «пласты», к примеру, отложения на дне моря или же годовые кольца на деревьях. И тем не менее возросшее знание структуры языка, как и углубление знаний в любой другой области, дает возможность использовать факты, которые ускользали от взгляда наших предшественников. Такие свидетельства могут быть менее очевидными, чем те, которые можно извлечь из анализа текстов. Однако по мере совершенствования лингвистической техники исследования эти факты в сочетании с другими дотоле не использованными данными позволяют расширить понимание тех проблем, решение которых раньше находилось в области догадок и предположений. В качестве другого примера можно отметить более ясное сейчас представление об аккузативных / эргативных и активных языках, что весьма существенно для объяснения архаичных явлений в древних диалектах и на ранних этапах предындоевропейского, а также и для установления связей древних феноменов языка.

5.2. Использование характерных языковых структур для лучшего понимания языковых явлений. Чтобы проиллюстрировать возможности интерпретации языковых данных, которые не получили объяснения или объяснены неудовлетворительно с точки зрения современной науки, можно указать на те наблюдения Шпехта, которые, на наш взгляд, недостаточно убедительны.

Простым примером может служить признание Шпехтом наличия двух праиндоевропейских слов для обозначения огня и воды. Отметив это известное обстоятельство, он добавил, что одно слово из каждой пары сред-

него рода (ср. хет. *pahhur* «огонь» и *watar* «вода»), тогда как другое — мужского (например, скр. *agnih* «огонь») либо женского рода (скр. *ар-* «вода» [36, 1-е изд., с. 18—19]). Объяснение Шпехта сводится к тому, что он приписывает «индоевропейскому языку» двойственную классификацию, в соответствии с которой подобные элементы могут рассматриваться либо как полезные, либо как вредные. Впоследствии, когда была образована категория рода, каждый из элементов был осознан либо как «вещь», либо как «одушевленный член божественной пары». От таких «естественных» объяснений, основанных на произвольных истолкованиях мышления первобытного человека, по мере лучшего знакомства с предметом исследования (в нашем случае — языка) стали постепенно избавляться.

Гамкрелидзе и Иванов предложили убедительное и одновременно изящное объяснение таких двойственных обозначений, трактуя их в качестве реликтов того периода, когда предындоевропейский являлся языком активного строя. В подобном языке предметы типа «огонь» или «вода» могут быть осознаны (как предполагал и Шпехт) либо как инактивная «вещь», либо как активная «субстанция», и в соответствии с этим получать два лексических обозначения в отличие от одного обозначения для понятий типа «камень» или «животное». Когда язык стал аккузативным, необходимость в двойственном обозначении отпала, в результате чего каждый диалект сохранил только один из членов пары. Лингвистическое объяснение, таким образом, заменило объяснение, основанное на представлениях о мышлении «дикаря».

Относительно более сложных ситуаций можно вспомнить наблюдение Шпехта, согласно которому индоевропейская система цветообозначений основывалась не на цветовых различиях, а скорее на «блеске и сиянии» (Glanz und Schimmer) [35, 1-е изд., с. 113—124]. Подобный вывод был продиктован тем, что исходя из данных диалектов реконструировать соответствующую систему обозначений, основанную на цветовой палитре, невозможно. Основное внимание Шпехт уделил именно констатации данного обстоятельства, однако он приводит и свое объяснение, согласно которому древний человек, или, более конкретно, древние индоевропейцы, были частично дальтониками. Однако и в данном случае указанному явлению может быть дано чисто лингвистическое объяснение.

В статье, посвященной системе цветообозначений в древнеирландском, Р. Леман отметила, что эта система строилась скорее на степени интенсивности и яркости, чем на различиях цветовой палитры [47]. Древнеирландские цветообозначения в значительной степени отличаются от тех, к которым привыкли мы. Например, из трех терминов, переводимых как «белый», слово *finn* может быть использовано в отношении лебедя, серебра, пены, волн, моря, а также героя Кухулина, который в других контекстах может быть назван *dub* «черный», — и так далее в отношении других терминов цветообозначений. Это вовсе не означает, что носители древнеирландского языка не различали цветов, на что указывает и Р. Леман. Просто языковая система может покоиться на иных основаниях, так что объект именуется «белым» или «черным» скорее в зависимости от его интенсивности или яркости, чем цвета.

В работе «Основные термины цветообозначений» Берлин и Кэй признают возможность трех «психофизических измерений: цвета, интенсивности и яркости» [48, с. 160], уделяя при этом основное внимание цвету. С их классификацией вполне можно согласиться. Однако не менее существенно и исследование иных возможностей цветообозначений. Кстати, язык может быть и вовсе их лишен. Так, например, в одном из языков

Коста-Рики (по авторитетному свидетельству Адольфо Костенла) цвет обозначается путем сравнения между объектами. Попугай, к примеру, может быть описан как сравнимый по цвету с листом.

Короче говоря, ирландская система вполне может рассматриваться в качестве индоевропейского наследия. Ведь трудно предположить, что какая-то часть носителей языка была дальтониками. Знание основы классификации того или иного континуума элементов, в нашем случае системы цветообозначений, дает возможность осмыслить языковые данные.

В заключение можно сказать, что современная лингвистика не должна ограничиваться обсуждением лишь тех явлений, которые были предметом изучения в XIX в., точно так же, как несравнимы масштабы археологической науки современности и прошлого. Одной из основных целей данной статьи как раз и является намерение продемонстрировать наиболее перспективные процедуры лингвистического анализа. Специалисты в разных областях лингвистики и в разных областях индоевропеистики должны осуществить переоценку находящихся в их распоряжении данных. Такая переоценка наиболее успешно была осуществлена в фонологии, о чем будет сказано ниже. Но вполне вероятно, что даже в столь хорошо изученной области, как фонология, остаются явления, которые до сих пор ускользали от внимания индоевропеистов.

6. Языковая структура.

Если мы собираемся рассматривать праиндоевропейский язык с точки зрения говорившего на нем сообщества, то следует подходить к нему под углом зрения семиотики. Иначе говоря, не следует ограничиваться изучением одной лишь грамматики, делая традиционный акцент на фонологии и морфологии, но, напротив, учитывать всю трехстороннюю сферу семиотики, как это было сформулировано Пирсом. Помимо грамматики, необходимо исследовать семантику — отношение языка к внешнему миру, и прагматику — отношение говорящего к языку. Хотя подобная формулировка и может представлять некоторую новизну для индоевропеистики, однако новыми назвать исследования этих проблем нельзя. Семантика уже давно плодотворно изучается, о чем свидетельствуют такие работы, как словари Бака [44] и Покорного [49], а также труды их предшественников (ср. труды Хоопса, Шрадера и другие, указанные выше). Исследование прагматики, в свою очередь, являлось предметом таких дисциплин, как стилистика, поэтика, а также такой специфической сферы, как язык богов, противопоставленный языку людей. Как отмечалось выше, мы не будем здесь излагать все современные точки зрения по данному вопросу и приводить соответствующую библиографию. Наша основная цель — описание тех концепций, которые релевантны для понимания языка в его отношении к тому обществу, в котором он функционирует.

6.1. Грамматика праиндоевропейского языка. Период времени, прошедший со второй декады нынешнего столетия, внес мало нового в изучение праиндоевропейского языка. Грамматика Мейе 1937 г. мало отличалась от ее более ранних изданий, а сами издания отличались от руководств Бругмана, Дельбрюка или Хирта или же от совсем недавней книги Семереньи [50, с дальнейшими переработками] лишь расстановкой акцентов. Однако впоследствии были существенно пересмотрены трактовки всех разделов грамматики: фонологии, морфологии и синтаксиса. В фонологии, особенно в свете ларингальной и глоттальной теорий, были пересмотрены система шумных, ларингальных, сонантов, гласных, акцентуационные системы. В морфологии существенно новым стало при-

знание активного строя индоевропейского праязыка на раннем этапе его истории. В области синтаксиса более последовательное воплощение нашла идея о финальной позиции глагола в праиндоевропейском. В результате грамматика, составленная в соответствии с новыми взглядами, существенно отличалась бы от прежних, традиционных грамматик.

Все новые идеи имеют свои прототипы в прошлом. Еще в конце XIX в. Вальде изложил точку зрения на систему шумных, которая разительным образом отличалась от той, что была представлена в руководствах. Предположение о наличии ларингальных было высказано, вслед за публикацией Соссюра в 1879 г., целым рядом ученых. Зиверс предложил собственную трактовку сонантов, развитую затем Эджертоном. А открытие Соссюром ларингальных, или, в его терминологии, «коэффициентов», оказало влияние на представления о системе гласных. В области морфологии Мейе указал на двойственное обозначение огня и воды, предлагая этому объяснение, соответствующее представлениям о языках активной структуры. В области синтаксиса еще в первой четверти столетия Вайль описал латинскую структуру предложения с глаголом в финальной позиции. Современные исследования более определенно подтвердили эти наблюдения, рассматривая имеющиеся факты в контексте всей системы.

Анализ различных рядов или групп (sets) элементов языка является одним из двух основных достижений современной лингвистики. При чтении добротных руководств, выдержанных в духе младограмматической традиции, к примеру, серии публикаций под редакцией Штрайтберга, мы видим, что каждый языковой элемент рассматривается в них в отдельности. Так, гласные рассматриваются в виде группы (обычно в порядке *a e i o u*), но затем анализируются отдельно, исходя из их рефлексов в языках-потомках. В наше время Трубецкой рассмотрел отдельные рефлексы предложенного им фонологического ряда. Такая же процедура применима и к другим сегментам фонологической системы, что нашло свое выражение в выделении таких указанных выше подклассов праиндоевропейской фонологической системы, как гласные, сонанты, ларингальные и шумные. Аналогичным образом можно рассматривать и другие сегменты языковой структуры. Подобный же подход является вполне традиционным и в области морфологии, весьма желательно придерживаться его при исследовании синтаксиса и семантических групп. Как отмечено выше, Шпехт выполнял свое исследование именно таким образом, сначала рассматривая сферу природы, затем перейдя к другим областям — животному миру, растительному царству, частям тела, хозяйственным реалиям и, наконец, к технологии. Сходен порядок исследования и в работе Гамкрелидзе и Иванова, где рассматриваются мыслительная деятельность, религия, литература. Что касается прагматики, можно указать на осуществленный в прошлом веке Лайстом анализ юридического языка древней Индии и греко-латинской культуры с выходом в праиндоевропейский период. Весьма интересным, благодаря углубленному вниманию к семантике и прагматике, было недавнее заседание Индоевропейского общества, посвященное изучению лексики (см. доклады в [12]). В этом направлении необходимы дальнейшие усилия, однако общим удовлетворительным результатом является признание продуктивности системного подхода к изучению языка. Исходя из такого понимания, всякое исследование языка должно выполняться в соответствии с последовательным изучением отдельных сегментов (sets) языковой структуры.

Второе требование заключается в изучении языка в соответствии со знанием «общих законов» (в терминологии А. Мейе) [22]) или, по выра-

жению Веннемана, «общих теорий языков» [51, с. XII]. И здесь налицо контраст с младограмматической процедурой исследования. Как было отмечено выше, следуя подобной процедуре, лингвист привлекал в качестве параллелей к наблюдаемым им явлениям данные тех языков, которыми он владел. В рамках современной процедуры исследования мы выделяем определенные «общие законы» и затем проверяем свои выводы в соответствии с ними. В качестве иллюстрации приведем концепции удлинения *w* и *y* в германском. В 1879 г. Клюге предположил, что это явление имело место в том случае, когда указанным согласным предшествовало ударение; однако такое мнение не нашло поддержки, и Бехтель предположил, что удлинение соответствующих согласных было обусловлено следующим за ними ударением [50, с. 37—38]. У нас, конечно, нет никаких определенных формулировок «общих законов языков», даже в области фонологии, исследованной наиболее тщательно. Но, как демонстрируют опубликованные Веннеманом работы [51], ученые в ходе исследовательской практики используют открытия, носящие общий характер, и, с другой стороны, избегают случайных параллелей. Дальнейшая работа в данном направлении позволит, по-видимому, усовершенствовать такой подход.

Результаты исследования, выполненного в рамках указанной методики, позволяют проецировать отношения языков и их носителей на область современного им внешнего мира, а это именно та задача, которую мы, вслед за Курциусом, пытаемся решить.

6.1.1. Фонология. Наиболее значительные изменения в области индоевропейского языкознания обязаны ларингальной и глоттальной теориям. Ларингальная теория предполагает наличие в фонологической системе дополнительны фонем, которые трактуются различным образом — то как велярные, то как фарингальные, либо как ларингальные согласные, не оставившие явных рефлексов ни в одном из языков-потомков. Согласно глоттальной теории, каждый ряд шумных включал глоттальный глухой смычный, а не звонкий смычный, как это ранее считалось, из чего проистекает реинтерпретация и двух других членов данного ряда. Две эти теории были обстоятельно изложены в недавних публикациях под редакцией Баммесбергера [52] и Веннемана ([51], ср. [53]).

С двумя указанными теориями связан любопытный парадокс. Как справедливо утверждает Веннеман, ларингальная теория «изменила почти всю праиндоевропейскую грамматику..., тогда как глоттальная теория ... не сделала больше, ... чем разрешила те проблемы, которые она была призвана разрешить» [51, с. XI]. Тем не менее глоттальная теория, в отличие от ларингальной, несет в себе больше импликаций относительно сообщества носителей праязыка, чем ларингальная теория. Основываясь на ларингальной теории, можно предположить наличие исторических связей индоевропейского с такими языками, как афразийские; каждая из основных подгрупп индоевропейской семьи обладает своими специфическими рефлексами, и, соответственно, мы не можем использовать эти рефлексы для того, чтобы выявить более тесные взаимоотношения с другими диалектами, не говоря уже о том, чтобы модифицировать ранее высказанные суждения относительно каждого диалекта. Но глоттальная теория предполагает такие модификации внутри самого индоевропейского сообщества, а также относительно сообществ носителей других языков.

Наиболее очевидной является необходимость переосмысления ситуации в двух подгруппах — германской и армянской — в которых, как предполагалось ранее, шумные претерпели наиболее серьезные изменения. Ныне же системы шумных в этих подгруппах рассматриваются не как

зоны инновации, а, напротив, консервации. Кроме того, армянский, локализуемый рядом с кавказскими языками, для которых «глоттализация является фундаментальной чертой», мог либо сохранить глоттальные благодаря такому соседству, либо усвоить их в результате диффузии [54]. Основываясь частично на предполагаемом консерватизме армянского, Гамкрелидзе и Иванов локализуют прародину индоевропейцев к югу от Кавказа [1]. Консерватизм же германского, напротив, свидетельствует о его раннем отделении от центральной группы. И все же это мнение, как и другие положения глоттальной теории, еще не получили всеобщего признания.

В качестве одного из аргументов в пользу глоттальной теории выдвигается тезис, согласно которому реконструированная в рамках этой теории праиндоевропейская фонологическая система является менее маркированной, чем система, предложенная ранее. Этот аргумент вызвал замечание Крауса: почему менее маркированная система должна была измениться в сторону большей маркированности [54]? Короче говоря, глоттальная теория не завоевала признания ее всеми специалистами. Среди авторов индоевропейских грамматик Майрхофер, например, занимает нейтральную позицию по отношению к ней, тогда как ларингальную теорию он полностью принимает [55]; Семереньи же ее отвергает, хотя и допускает существование одного ларингального [56].

Если глоттальная теория не может быть подтверждена на основе данных индоевропейских диалектов, не находит ли она поддержку среди последователей ностратической теории? Но и здесь нет единодушия. Можно было бы ожидать, что значительная временна́я глубина ностратического праязыка не будет способствовать подтверждению этой теории до тех пор, пока не обнаружатся подтверждающие свидетельства со стороны других предполагаемых подгрупп ностратического праязыка. К сожалению, этого нет.

Мнения относительно индоевропейской фонологии претерпевают, таким образом, постоянные модификации. Разногласия наблюдаются даже по поводу вокалической системы, что показано в рецензии на книгу Гамкрелидзе и Иванова, написанной М. Палмайтисом [57]. Новые подходы в оценке трех отмеченных выше подклассов фонологической системы — шумных, гласных, ларингальных — возникают из переоценки традиционных положений, с учетом общих законов, выявленных в последнее время в результате изучения фонологических систем многих языков.

Меняются мнения также относительно четвертого класса фонем — сонантов, что обусловлено отходом некоторых лингвистов от традиционного их понимания. Любопытная формулировка была предложена Эджертоном, который использовал при этом фонемную теорию в структуралистской ее трактовке. Согласно этой теории, каждый из сонантов обладал тремя аллофонами, например, /y/: [i, y, iy]. Эта теория предполагает наличие отчетливого фонологического компонента. Фонологи-генеративисты, напротив, отвергают подобный взгляд, допуская наличие лишь интерпретативного фонетического компонента последовательностей, порожденных в синтаксическом компоненте. Поскольку звуковое изменение, которое вызвало появление трех вариантов, имело место в праиндоевропейском, можно наблюдать лишь алломорфную вариацию в диалектах, ср., например, в готском различие между *ganasjis* «ты спасаешь» и *waurkeis* «ты делаешь». Согласно подходу генеративистов, нет никакой нужды формулировать правило фонемного изменения типа так называемого закона Зиверса — Эджертона. В результате таких разногласий

довольно нелегко адекватно оценить новые концепции, подобные той, например, которую предложил Зеебольд, исследовавший данные ранних диалектов [58].

Таким образом, можно сказать, что облик фонологической системы, представленной в специальных руководствах, зависит от лингвистической теории, принимаемой его автором. До некоторой степени это утверждение справедливо и в отношении дескриптивных грамматик любого языка. В историческом же языкознании, долгое время характеризовавшемся стабильностью взглядов, изменяющаяся ситуация вызвала значительные неудобства для специалистов.

Прояснению некоторых из проблем способствовало выявление с помощью метода внутренней реконструкции последовательных этапов в истории праиндоевропейского языка. Поскольку я рассматривал соответствующие данные в других работах, я лишь кратко коснусь здесь этих вопросов. После длительного периода почти полного игнорирования данной процедуры, я в 1952 г. высказал мнение о необходимости установления шести таких этапов, а Майд в 1975 г. на основе внутренней реконструкции времени и залога в системе глагола предположил наличие трех этапов [59]. В моей недавней статье в Festschrift'е, посвященном Майду [60], упоминаются эти два мнения: отмечаются также и такие более поздние разработки, как допущение бóльшего числа этапов, постулируемое Ноем на основе исследования хеттского материала [61]. В результате исследований 1952 г. были установлены этапы развития предындоевропейского языка, при учете которых можно было вполне удовлетворительно прояснить ситуацию с аблаутом; результаты этих исследований хорошо согласуются с предполагаемым развитием глагольной системы.

И все же еще многое предстоит выяснить. Дискуссионной остается проблема сохранения ларингальных и глоттальных согласных в диалектах и даже в позднем праиндоевропейском. Можно сопоставить, к примеру, мнение Ф. Кортланда [62, с. 299—311] относительно длительного сохранения ларингальных в балтийском и славянском со взглядами Поломе, который предполагал их раннюю утрату в прегерманском [63], что, в свою очередь, прямо противоречит мнению Р. С. Бэкеса о сохранении ларингальных [64].

Ввиду недостаточности данных, особенно когда речь идет о ранней истории праязыка, помимо системного изучения фонологических элементов следует осуществить тщательную реконструкцию каждого ее последующего этапа.

6.1.2. Морфология. Гипотеза, согласно которой праиндоевропейский язык на раннем этапе своей истории являлся активным языком, чрезвычайно способствует достижению такой реконструкции. Ввиду того, что большинство свидетельств в пользу данной гипотезы, особенно после публикации работы Гамкрелидзе и Иванова, уже приведены в литературе, я здесь просто перечислю характерные элементы подобной структуры, поскольку они являются существенными для понимания морфологической системы. Предположение о том, что на активной стадии глагол имел флексию, маркировавшую или актив или статив, разрешает давнюю проблему относительно сходства перфекта и среднего залога в ранних диалектах, поскольку оба они восходят к флексии статива. Более того, это проливает свет и на древнюю флексию существительного, в частности, на позднее развитие форм множественного числа и генитива. Активные языки не имеют генитива; поскольку праиндоевропейский преобразовался в язык аккузативного строя, в нем генитив должен был появиться, и он

был сформирован в нескольких подгруппах, о чем свидетельствует вариативность генитивных форм. Прояснились и другие детали, такие, например, как отсутствие в раннем праязыке глагола в значении «иметь»: активные языки такого глагола лишены.

В отличие от фонологии, где еще многое предстоит выяснить, в морфологии ситуация несколько проще, поскольку наличие только трех различных языковых типов позволяет более уверенно проверять результаты внутренней реконструкции. Как я отметил в [60], гипотеза, согласно которой ранний этап праиндоевропейского характеризовался активной структурой, хорошо согласуется с мнением Майда, Ноя и других. Главным вопросом, стоящим сейчас на повестке дня, является выявление отдельных этапов в развитии морфологической и фонологической систем.

6.1.3. Синтаксис. Становится общепризнанным мнение (последнее основано на анализе данных синтаксиса и лексикона), согласно которому праязык характеризовался финальной позицией глагола; см., например, вывод Гринберга в его работе, посвященной вероятности ностратической гипотезы [65]. Поскольку я уже подробно касался этого вопроса [66] и мою характеристику приняли Гамкрелидзе и Иванов, больше здесь на этом я останавливаться не буду.

Открытия в морфологии и синтаксисе, в частности, установление ряда сдвигов в системе, на отдельных этапах истории праязыка, позволяют выявить материал, существенный для предположения о связях между индоевропейской и другими языковыми семьями. О некоторых подобных возможностях будет сказано ниже.

6.1.4. Возможное родство с другими языковыми семьями, подсказанное грамматическими характеристиками. Предположение о наличии в индоевропейском праязыке ларингальных, а также сходная система сонантов дают основание установить наличие связей праиндоевропейского с картвельскими языками. Хотя факт этот объясняют разными причинами — результатом древнего соседства (Гамкрелидзе) или генетического родства (Дьяконов), сходство между двумя системами свидетельствует все же о близости локализации носителей этих праязыков. Этот вывод согласуется как с гипотезой Гамкрелидзе и Иванова относительно локализации праиндоевропейского, так и с мнением Гимбутас, но, с другой стороны, создает определенные трудности для позиции Дьякопова и особенно Ренфрю. Принятие же мнения относительно глоттальных благоприятствует гипотезе Гамкрелидзе и Иванова, но осложняет позицию Гимбутас. Последние достижения в области фонологии ограничивают, таким образом, число возможных гипотез, касающихся проблемы прародины.

Дальнейшие перспективы открывают и достижения в области морфологии и синтаксиса. Исходя из совокупности данных, представляющих «все языковые семьи» Северной Евразии и Северной Америки, Дж. Николс установила, что «категория грамматического рода ... представлена в этих языках весьма редко, за исключением некоторых ареалов и макроарельных „очагов", одним из которых является Ближний Восток». Это дает ей основание сделать вывод о том, что индоевропейская «прародина должна была находиться в районе древнего Ближнего Востока или где-то вблизи» [67].

Изучение ранних этапов истории предындоевропейского позволяет, однако, сделать вывод о позднем формировании категории грамматического рода. Работа Шмидта 1889 г. [68] содержала весьма важные тому свидетельства, хотя их адекватная интерпретация могла быть сделана лишь позже. Используя открытия Шмидта и других ученых, Мейе в своем ру-

ководстве постулирует наличие двух классов — одушевленного и неодушевленного; одушевленный класс затем расщепился на мужской и женский родовые классы, а неодушевленный класс развился в средний родовой класс. Эти два класса согласуются с моделью активной структуры, но не репрезентируют систему «грамматического рода». Впоследствии категория рода в индоевропейских диалектах была образована на основе двойственной системы противопоставлений, которая, как мы сейчас признаем, присуща языкам активного строя.

Категория грамматического рода затем наложилась на более раннюю именную систему. Это произошло относительно поздно, поскольку хеттский еще удерживал систему двух классов, хотя и не в строгом соответствии с активной структурой. Если, исходя из этого, считать, что категория грамматического рода была в индоевропейском образована под влиянием извне, то в Анатолии подобное влияние не было, надо полагать, столь существенным или достаточно ранним.

Позднее возникновение указанной системы согласуется с другим утверждением Николс, согласно которому маркировка зависимого члена «практически устранила стативно-активную структуру праязыка» [67]. В соответствии с представленными здесь данными следует признать, что маркировка зависимого члена является поздним явлением; она возникла на основе стативной структуры, функционировавшей на более ранней ступени существования языка. В этом случае вывод Николс не будет противоречить гипотезе Гимбутас.

Пытаясь прояснить ситуацию, характеризовавшую поздний этап праиндоевропейского языка, можно вспомнить настойчивость, с которой Семереньи обосновывал положение о том, что единственная гласная *a* в индоиранском, на фоне трех гласных (*e*, *a*, *o*) в греческом и других диалектах, является результатом семитского влияния. Необходимость «примирить» друг с другом две гипотезы относительно указанных инноваций — возникновения категории грамматического рода и сокращения числа гласных в индоиранских языках — требует комплексного представления древней индоевропейской прародины (или нескольких прародин).

Эта проблема еще более осложняется, если учесть, что индоевропейский синтаксис характеризовался порядком ov, тогда как семитский — порядком vso. С другой стороны, северо-западный прасемитский содержит признаки активного строя. Именная флексия здесь развита минимально; глагольная флексия состоит из активного маркера (имперфектив) и стативного показателя (перфектив). Последний, как полагают, возник на базе именных форм и является поздним. Помимо этого, налицо отсутствие генитива и глагола в значении «иметь». Более того, категория грамматического рода в северо-западном семитском представлена лишь в зачаточной форме; как хорошо известно, «мужские» существительные могут иметь «женские» суффиксы множественного числа и наоборот. Если категория грамматического рода действительно была усвоена индоевропейским в качестве ареальной черты ближневосточного региона, то источником заимствования вряд ли мог являться северо-западный семитский ареал. Гипотеза же Семереньи относительно вокалической системы индоиранского покоится на тезисе о частичном и относительно позднем соседстве индоиранского с семитским.

В качестве предварительного решения можно предположить, что система трех родов в индоевропейском возникла в нем тогда, когда его носители обосновались вблизи ближневосточного региона. Относительно прародины в ранний период истории индоевропейского языка следует

вновь обратиться к Николс, которая утверждает, что если бы прародина праиндоевропейского располагалась в восточных степях, то в таком случае этот язык определенно характеризовался бы маркировкой главного члена [67, с. 100]. Короче говоря, грамматические данные указывают на то, что на позднем этапе своей истории праиндоевропейский был локализован в регионе, расположенном вблизи Ближнего Востока, тогда как на более ранней стадии своего развития, когда этот язык имел активную структуру и характеризовался маркировкой главного члена, его носители жили в степях.

7. Семантическая система.

Как уже отмечено выше, семантическая система праиндоевропейского языка подверглась обстоятельному анализу во втором томе труда Гамкрелидзе и Иванова, предшественниками которых были такие ученые, как Бак [44] или Покорный [49]. Хотя отдельные моменты их анализа дискуссионны, в целом исследование Гамкрелидзе и Иванова является шагом вперед по сравнению с прежними разработками, поскольку в книге рассматриваются специфические черты индоевропейского языка, относящиеся к периоду, когда он был языком активного строя. Приводимые лексические данные чрезвычайно убедительны. Речь идет, в частности, не только о двойственном обозначении предметов типа «огонь» и «вода», но и о классификации существительных и глаголов посредством критериев стативных языков, а не по формальным признакам, характеризующим более позднее состояние этого языка.

Проясняет проблемы, долгое время казавшиеся непонятными, и реконструкция способов выражения значения в синтаксической системе. Среди них можно назвать типы глагольной флексии, которые легли в основу грамматических показателей сходных праиндоевропейских перфекта и среднего залога и в то же время обусловили их различные функции и место в глагольной системе на преддиалектной стадии. Изучение флексионной системы существительного, возникшей после формирования в языке аккузативной структуры, и в частности анализ гетероклитического склонения, может способствовать прояснению того процесса, который обусловил сдвиги между двумя типами структур — активными и аккузативными, и, таким образом, предоставить в наше распоряжение данные относительно ранней истории индоевропейцев.

Несколько десятилетий назад я предположил наличие в предындоевропейском такой ранней именной системы, которая включала три суффикса в дополнение к нулевому маркеру (*s m h*). Эти суффиксы обладали собственными значениями, основными из которых были следующие: *s*-форма (индивидуализирующая характеристика); *m*-форма (результативность либо стативность); *h*-форма (коллективность). Нулевая же форма имела экстрасинтаксическое значение и использовалась в адвербиальном смысле или в формах обращения [69, с. 192]. В той же работе я описал использование этих суффиксов в возникшей впоследствии, после того, как язык развился в сторону аккузативного строя, системе именной флексии. Помимо указанных маркеров, имелись и суффиксальные частицы; одной из наиболее тщательно изученных является праи.-е. $*b^hi$, которая сохранилась в греч. (гом.) *-phi* и легла в основу окончаний мн. числа и дуалиса, особенно в индийской ветви. Эта гипотеза, предложенная на основе внутренней реконструкции, в настоящее время подтверждается в свете рассмотрения раннего строя праиндоевропейского языка в качестве стативного.

Эта гипотеза подтверждает и высказанное в 1958 г. мнение об исполь-

зовании *s*-форм в качестве генитивного маркера. Хеттские генитивные формы на *-s* могут использоваться для выражения индивидуализации; это явление типично и для характеристик первоначальной функции *-s* в ведийском. Применение данного суффикса в качестве генитивного показателя является, таким образом, относительно поздним явлением, что отмечают и Гамкрелидзе и Иванов. Как отметил Г. А. Климов, аккузативные языки в отличие от активных обладают генитивом. Активные формы на *-s*, первоначально служившие для выражения отдельных предметов, стали впоследствии использоваться для маркировки топика как субъектного, так и предикативного номинатива, а также в функции генитива как выделителя. Помимо *-s*, в функции генитива использовались и другие суффиксы (например, для образования генитивов гетероклитик).

Гетероклитики, особенно основы на *r*/*n*, являются одними из наиболее обстоятельно изученных элементов индоевропейской грамматики, как это отмечал уже Хирт. Нет никаких споров по поводу номинатива / аккузатива на *-r*, который в качестве основной формы является единственным членом парадигмы, засвидетельствованной в гом. греч. *hêtor* «сердце». Можно рассматривать *-(e)r* в качестве суффикса, маркирующего инактивные существительные на этапе стативного строя. (Здесь полезно вспомнить утверждение Бругмана, согласно которому суф. *-ter* не имел ничего общего с терминами родства, несмотря даже на то, что он добавлялся к корням **pā* и **mā* для создания терминов, обозначающих отца и мать [2, с. 332—336, 588, 602].) Необходимо объяснить тем не менее и другие формы гетероклитической парадигмы. Этому объяснению уделяет большую часть своей книги, посвященной происхождению индоевропейской флексии, Бенвенист, который приводит внушительный список засвидетельствованных лексических единиц. Он заключает, что на ранних этапах индоевропейского некоторые формы не конституировали парадигму. Напротив, гетероклитическая парадигма в том виде, как она нам известна, а также основы на *i*/*n* (и реже на *l*/*n*) представляют собой попытку интегрировать в новую именную флексию прежние дериваты корня; таким образом, парадигма, представленная в диалектах, состоит из совокупности форм, полученных из целого ряда различных систем [46, с. 187]. К. Х. Шмидт сравнивает с этим сходное образование флексии в восточнокавказском [24, с. 99]. Хотя ни одно исследование, как признает Бенвенист, пока еще не привело к приемлемому объяснению, становится все же очевидным, что на ранних этапах существительное в лучшем случае обладало минимальной флексией, а это обстоятельство позволяет в свою очередь высказать предположение об активной стадии раннего предындоевропейского. Остается лишь выяснить, какие маркеры использовались для формирования косвенных падежей.

Из анализа существительных, сохраняющих *-r*, становится ясно, что этот суффикс указывал на неодушевленность. Помимо примеров типа лат. *iter* «путь», где явно имеются в виду неодушевленные реалии, можно указать и на другие лексемы, типа лат. *iecur* «печень», греч. *hêtor* «сердце», т. е. термины, обозначавшие внутренние органы тела; эти термины, в отличие от слов, обозначающих внешние части тела, на стативной стадии рассматривались как неодушевленные.

Другим характерным окончанием, обладающим специфическим значением, является хорошо документированный суф. *-n*; именные элементы, оканчивающиеся на этот формант, обозначали отдельные личности или предметы. Среди примеров можно указать на *n*-прилагательные в германском, использовавшиеся для описания отдельных предметов, и на ком-

паративы на *-n* в греческом и литовском, а также в германском, где этот суффикс явно указывал на конкретный объект. Я полагаю, что формы на *-n* использовались для обозначения генитива и других косвенных падежей, поскольку гетероклитическая парадигма строилась именно на этом значении. Форма на *-r* указывала на объект как таковой; в косвенных падежах содержится указание на отдельные его разновидности, в соответствии с чем корень был дополнен показателем *-n-*. С течением времени подобные существительные обрели полную парадигму, как, например, лат. *iter*, *itin(er)is*. Формы этой парадигмы часто были подвержены выравниванию, как это произошло с *itr*. Случалось и так, что одна основа в диалекте воспринималась как базовая, а непараллельные ей формы элиминировались (ср. англ. *water*, норв. *vatn*).

И все же указания на исходную независимость этих основ ясно просматриваются в данных диалектов. Как отмечено, греч. *hêtor* «сердце» является формой, засвидетельствованной лишь у Гомера. А, скажем, в германском *n*-форма образовала свою собственную парадигму, как, например, в гот. *sunno* «солнце»; древние именные *l*-формы в гот. *sauil*, а также *sugil* встречаются нечасто, хотя они и использовались в языке; *sugil* употреблялось только для обозначения рунического символа *S*. Эти и многие другие примеры, которые можно было бы здесь назвать, иллюстрируют как формирование гетероклитической парадигмы, так и ее развитие в диалектах в период, когда существительные приобретали единую основу во всех формах, на что указывает распространение *-er-* на косвенные формы (ср. лат. *iter*, *itineris*).

История этой парадигмы, как и входящих в нее существительных, позволяет судить о ранних этапах развития языка, что было отмечено уже давно. Формы существительных, оканчивающихся на *-r-*, относились к неодушевленным объектам. Формы же существительных, оканчивающихся на *-n*, были вполне от них независимы и обозначали отдельные объекты, как одушевленные, так и неодушевленные. Та стадия пра- или предындоевропейского, в рамках которой происходили указанные явления, характеризовалась маркировкой главного члена. В своей работе, находящейся в печати, я обсуждаю грамматические черты этой стадии, опираясь, в частности, на публикации Майда и Ноя. Исследуя соответствующую структуру, Майд постулирует ее для первых трех стадий индоевропейского. Последние продемонстрировали активный характер раннеиндоевропейского. Для сдвига к аккузативной структуре потребовался период в несколько тысячелетий. И опять-таки, данные согласуются с гипотезой Гимбутас.

С другой стороны, указанные свидетельства противоречат мнению Гамкрелидзе и Иванова, а также Ренфрю относительно локализации прародины. Разумеется, хурритский тоже является стативным языком. Но контакты между ним и индоевропейскими языками (в основном с хеттским) относились к более позднему времени. Семантические, как и синтаксические данные указывают на развитие от стативного языка к аккузативному, что мы и находим в ранних диалектах. Если пытаться найти место, где могло произойти подобное развитие, то современные факты свидетельствуют в пользу мнения Гимбутас, впоследствии развитого Дьяконовым и Мэллори.

8. Возможность хронологизации путем сравнения лингвистических данных с реалиями социального и технического порядка.

Определяя последовательные этапы развития предындоевропейского языка, мы используем как лингвистические данные, так и свидетельства

социального и/или технического порядка. Существенными свидетельствами подобного рода являются система счета и письменность. Мы уже говорили о том, что наличие в праиндоевропейском обществе какой-либо системы письменности можно было бы ожидать в том случае, если бы индоевропейцы жили по соседству с народами Месопотамии. Существенным является и то, что именно в этом регионе, включая и западную Анатолию, была создана предшествовавшая письму символическая система знаков [70]. Использование системы таких знаков вначале происходило параллельно с развитием земледельческой экономики, а затем и городских центров; по мере того, как эти центры развивались и усложнялись, указанная система была преобразована в логографическо-силлабическую систему письма, создание которого приписывается шумерам. Отсутствие данных, свидетельствующих об использовании какой-либо системы знаков в местах предполагаемого расселения индоевропейцев в V и IV тыс. до н. э. — на Балканах или в Понтийском регионе, заставляет полагать, что в тот период для них не были типичны ни развитые земледельческие сообщества, ни централизованные городские центры.

Шмандт-Бассерат соотносит интенсивное развитие аграрного общества с распространением системы счета. Если на ранних этапах истории для обозначения различных предметов хозяйства и быта (вроде кувшина с вином, видов пищи), а также собственности (овца) использовались отдельные объекты определенной формы, вполне возможно, что в то время абстрактные числа отсутствовали. При учете позднего появления числительных (вероятно, в результате заимствования из одного или нескольких развитых сообществ) встает вопрос об их этимологии. Г. А. Климов исследовал некоторые из относящихся сюда проблем, а именно вопрос о предполагаемом сходстве общекартвельских слов для обозначения «шести» и «семи» с соответствующими числительными в праиндоевропейском и прасемитском [71]. Представляет интерес и связь, которую он устанавливает между пракартвельским *otxo-* «четыре» и прая.-е. *oktōu-* «восемь» с суффиксом дуалиса. Климов склоняется к мнению об индоевропейском источнике данных форм, хотя и утверждает, что слова с начальным гласным характерны для урартского языка. У нас, к сожалению, имеется слишком мало информации об этом языке, в том числе и о числительных; в хурритском же нам известны лишь некоторые обозначения числительных.

Если принять во внимание, что праиндоевропейское слово со значением «пять», *penk^{w}e*, первоначально обозначало совокупность [72] и что вообще числительные, за исключением обозначений первых трех чисел, не вписываются в индоевропейскую структуру корня, можно полагать вместе с Климовым, что нам станет кое-что известно о хурро-урартских числительных. Имеется весьма малая вероятность объяснения этих слов на индоевропейской почве; модель числительного «четыре», преди.-е. *k^{w}et^{w}er-*, соответствует скорее структуре кавказского корня (CVCV), чем индоевропейского. Более того, как указывал, в частности, Бругман, примечательно, что в праязыке числительные выше четырех не склонялись [2, с. 1—62]. Если числительные были усвоены из хурритского или какого-либо иного ближневосточного языка, то их источник вполне мог соответствовать источнику заимствования и некоторых технологических новинок, включая использование бронзы.

Библиография публикаций, посвященных формам числительных в ранних диалектах, а также попыткам их объяснения, насчитывает целые тома, начиная с работы Боппа (это отмечено Бругманом в его пространном списке источников [2, с. 1—3]). Не повторяя эти данные, попытаемся опи-

сать общие тенденции в области изучения числительных, в том числе и современные гипотезы. При этом мы будем опираться на неопубликованный пока обзор Шмандт — Бассерат, посвященный развитию системы счета. Если принять вполне вероятное мнение, что на ранних этапах человеческой истории абстрактные числительные отсутствовали, а вместо них скорее всего использовались лексические единицы, обозначавшие важнейшие виды продуктов производства, то становится понятным наличие в праиндоевропейском нескольких сочетаний корней с суффиксами, которые служили для обозначения числительного «один». Первоначально для этого использовался корень **ʔey-*, который являлся указательным местоимением. Этот корень вполне мог получить значение числительного благодаря употреблению во фразе, содержащей указание на определенный объект (например, *эта шкура, этот сосуд* и т. д.). Такая гипотеза находит некоторую поддержку в сохранившихся формах с варьирующими суф. *-no-*, *-wo-*, *-ko-*, а также в наличии другого корня для обозначения единицы — **sem-*.

Первичное слово для «двух», с корнем **dew* и суф. *-ey-*, могло восходить к частице, означавшей «дальше», типа хет. *tuwa* «дальний». Корень в значении «три», **ter-*, мог быть образован на основе корня в значении «еще дальше», ср. скр. *tirás* «вовне». Впоследствии эти формы могли морфологически адаптироваться для вхождения в именную систему, хотя их нерасширенные варианты могли сохраняться в сложениях. Особый интерес представляют так называемые собирательные существительные с суф. *-o-*, *-no-*, *-ko-* [2, с. 76—82]. Скр. *dvayam*, например, использовалось в значении «два быка, пара быков», как и лат. *bini* (помимо других его значений). Скр. *trayam* служило для обозначения триады, ср. *bhuvana-trayam* «мировая триада — небо, атмосфера, земля». Греч. *thrinaks* < **trisn-ak-* означало «трезубец». Такие расширенные формы со специфической семантикой могут быть реликтами того периода, когда числительные обозначались объектами определенной формы (tokens) [73].

Как отмечено выше, источник обычной индоевропейской формы числительного «четыре» неизвестен. Ной тем не менее предположительно увязывает хеттское числительное *mi-ja-u-e-es* «четыре» (основа — *mey-w-*) с и.-е. корнем **mey-* «уменьшаться», в смысле «мецьшая рука», т. е. «только четыре пальца», либо «умекьшенная пятерка» [74, с. 176—177]. В качестве подтверждения индоевропейского происхождения этого слова он усматривает здесь аблаутное чередование. Таким образом, исконное обозначение числительного «четыре» могло сохраниться лишь в анатолийском.

Тот факт, что использование флексии ограничено только указанными четырьмя числительными, свидетельствует, по-видимому, об их раннем образовании внутри предындоевропейского. А инкорпорация двух корней в суффиксальные формы числительного «один» (**sem* и **ʔey-*) указывает на то, что этот процесс происходил на довольно поздней стадии развития именной флексии.

Более того, использование неодинаковых корней для обозначения порядковых числительных низкого уровня подкрепляет мнение о минимальном развитии системы числительных на раннем этапе праязыка. Корень **per-* в сочетании с различными суффиксами обозначал «первый»; в значении «второй», помимо **dwi-*, использовались также корни **al-*, **an-* и др.; имеется несколько форм и для числительных «третий» и «четвертый». Регулярный способ образования порядковых числительных более высокого уровня также указывает на их позднее образование: они, по-видимому, дополнили более раннюю минимальную систему числительных;

детали, касающиеся их образования [68, с. 76—114]. Кроме того, наблюдающаяся вариация, особенно в отношении более ранних порядковых числительных (ср., например, лат. *secundus* «следующий»), свидетельствует о том, что и их система не являлась вполне устоявшейся на этапе ранних диалектов.

На основе нашего обзора можно предположить хронологию развития системы числительных и именной флексии: речь идет о переходе от использования объектов определенной формы (tokens) к использованию символов. Фриберг открыл шумерские тексты, относящиеся примерно к 3100—2900 г.; эти тексты содержат систему счета, которая соотносилась с определенными объектами (tokens). Такая система счисления была упразднена в связи с отказом от использования объектов различной формы (tokens), обозначавших числительные. Впоследствии распространение получили абстрактные числительные в том виде, в каком мы их знаем.

Описанная выше ситуация может соответствовать уровню экономического развития в конце IV тыс., т. е. периоду позднего праиндоевропейского. И если мы примем вывод Эттингера, согласно которому анатолийские диалекты отражают состояние индоевропейского праязыка несколькими столетиями ранее периода совместного существования остальных индоевропейских диалектов [75, с. 189—192], то открывается возможность объяснить расхождения между анатолийским и другими диалектами, в частности, и в отношении числительного «четыре». Название четверки в этих диалектах могло быть заимствовано из какого-то источника после отделения носителей анатолийского языка, возможно, в начале III тыс.

Таким образом, определенную часть лингвистической информации об индоевропейском можно соотнести с некой социальной ситуацией, поддающейся датировке. Согласно современным данным, шумерское логографическое письмо, в ходе истории которого счисление посредством объектов определенной формы вышло из употребления, было изобретено около 3100 г. до н. э. Эта дата вполне соответствует периоду позднего праиндоевропейского, когда перед разделением его на диалекты происходило развитие системы счета. Тематическое образование порядковых числительных выше четырех напоминает аналогичное образование терминов, относящихся к колесному транспорту, который был изобретен, вероятно, в течение этого периода. Данные социального характера, подтверждающие выход из употребления значимых объектов определенной формы, могут в таком случае способствовать датировке поздней стадии праязыка.

Что касается технологических данных, то здесь необходимо рассмотреть вопрос о начале использования бронзы. Общепризнанно, что единственное слово со значением «металл», которое можно реконструировать на праиндоевропейском уровне, **ayos*, относилось к бронзе и возникло, по-видимому, на поздней стадии праязыка. До настоящего времени одной из главных проблем оставалось обнаружение местонахождения запасов руды, особенно оловянной, с которой сплавлялась медь. Наиболее вероятным источником руды, как сейчас полагают, являлся Кестель в южной Турции [76]. Анализ с помощью радиоактивного угля дает возможность датировать этот период — от 2874 до 2133 г. до н. э. Как отмечают авторы, эти даты подтверждают использование рудников в течение бронзового века и в период распространения индоевропейцев.

В заключение своей статьи авторы делают вывод, что эти «открытия в конечном счете могут разрешить загадку происхождения древнего олова и, таким образом, перенести исследование из плоскости поисков месторождений оловянной руды в область изучения масштабов и природы тех ин-

ститутов, которые регулировали производство металлов и торговлю ими в металлодобывающих областях Анатолии» [76, с. 304]. Поэтому возникает чрезвычайно интересная проблема связи распространения индоевропейцев с технологическими новшествами в области вооружения и средств передвижения, которые были обусловлены легким доступом к олову, необходимому для производства бронзы. Можно ожидать дальнейших исследований в области древней металлургии и торговли, связанных с оловом, добывавшемся в Кестеле. В настоящее время мы, однако, удовлетворены и тем, что эпоха позднего праиндоевропейского языка, рассматривавшаяся до сих пор с точки зрения языковых и социальных данных, стала освещаться и с третьей стороны, со стороны технологии.

Остающиеся вопросы касаются причин, вызвавших миграцию носителей индоевропейского языка, а также тех условий, которые способствовали их сохранению и развитию. Ответы на эти вопросы, до получения новых археологических подтверждений, останутся пока на уровне предположений; подобным же образом до недавнего времени оставались спорными проблемы развития системы счета и источников технологических достижений. И все же по мере получения дополнительной информации попытки ответить на эти вопросы могут выявить новые возможности исследования.

9. Социальные, интеллектуальные и географические условия, способствовавшие распространению индоевропейцев.

Данный очерк был задуман в качестве рецензии на книгу Гамкрелидзе и Иванова, эту рецензию я начал писать после нескольких бесед с авторами, в частности, с Гамкрелидзе. Тем временем появились обстоятельные рецензии Палмайтиса [57], Хэйворда [77] и Греппина [78]. Кроме того, были проведены конференции и опубликованы статьи, посвященные тем или иным аспектам их теории; серия очерков, изданных Веннеманом [51], является фактически рецензией на фонологическую часть их книги. Еще более примечательно то, что еще до выхода книги в свет на нее были опубликованы рецензии, принадлежащие перу Дьяконова [21] и Семереньи [56], двух в высшей степени эрудированных специалистов во многих областях лингвистики. Наконец, большой круг вопросов был обсужден в процессе полемики между Дьяконовым и авторами, которая была издана Поломé [79], с дополнительными комментариями М. Гимбутас. Значение работы Гамкрелидзе и Иванова безусловно повысится с появлением ее перевода, осуществленного Дж. Николс. Этот перевод сам по себе представляет вид комментария благодаря искусному изложению идей авторов этой книги. Все это избавляет от необходимости излагать содержание работы. Представляется более актуальным наметить здесь дальнейшие направления исследований в области индоевропеистики.

Как показано в недавно вышедших книгах Ренфрю и Мэллори, появившихся вслед за упоминавшимися выше конференциями и публикацией рецензий, распространение индоевропейских языков из неизвестного нам района по всей Европе и во многие части Азии, а впоследствии и в большинство регионов Земли, нельзя объяснить лишь на основе изучения самих этих языков, которые относятся в сущности к внешним характеристикам народов. Если учесть, что человеческая история не разворачивается благодаря случайным силам или обстоятельствам, необходимо искать другие, социальные, интеллектуальные и духовные импульсы. Хотя попытки подобного подхода не были встречены благожелательно (частично из-за того, что они, как казалось, отражают шовинистическую точку зрения, частично из-за недостаточного понимания их значимости), такая

постановка вопроса открывает чрезвычайно интересные перспективы в области исследования праиндоевропейского языка, его ранних диалектов и их носителей.

Выше, в четвертом параграфе данной работы, объяснение распространения индоевропейцев рассматривалось через призму другой внешней их характеристики — способов передвижения, которые использовались либо в ходе миграции, сопровождавшейся покорением новых земель, либо в процессе постепенной инфильтрации. Однако сами по себе подобные объяснения лишь переносят вопрос в другую плоскость, не затрагивая причин, вызвавших передвижения народов и захват ими новых территорий. Мы располагаем достаточным количеством примеров расселения народов, как, например, маньчжуров в Китае, которые завоевывали новые земли, но не смогли ни навязать своего языка коренным жителям, ни надолго установить свое господство.

Если в какой-то мере позволить себе смелость, присущую одному из крупнейших индоевропеистов, который, высказывая свое мнение, в свою очередь ссылался на одного из крупнейших специалистов в области общего языкознания, Н. С. Трубецкого, то можно вспомнить рассуждения Мейе относительно менталитета индоевропейского общества, который он соотносит со структурой языка [80]. Для Мейе существенной чертой такого менталитета индоевропейцев являлось стремление к независимости и индивидуальной свободе.

Обращаясь к социальной структуре индоевропейского общества, Мейе отмечал следующую его характерную черту: разделение на небольшие автономные группы, не имеющие признаков государственности. Стремление к независимости отчетливо проявляется в заботе любого эллинского или скандинавского вождя о поддержании и сохранении местной власти. События, подобные заселению Исландии после попытки централизации власти в Норвегии, а также литературные памятники типа «Илиады» подтверждают вывод, сделанный Мейе.

Эту черту социальной жизни Мейе соотносит со структурой языка, главную характеристику которого он усматривал в аранжировке слов, которые благодаря своей флексии являются самодостаточными и сами определяют свою роль в предложении. Для него такая конструкция является аппозитивной; всякие «связанные» группы отсутствовали. Греческий, например, сохранял автономность индоевропейского глагола, каждая форма которого выражала специфический оттенок смысла. Формы же подразделялись на категории, обладавшие точными значениями. Сравнивая указанные обобщения с другой социальной сферой, Мейе отмечал, что и греческое искусство также отображает структуры в четких, ясных и понятных формах.

Хотя мы избегаем проводить столь прямые параллели между общественными структурами и языком, можно согласиться с Мейе в том, что стремление к автономности действительно характеризовало членов индоевропейского общества и, вероятно, способствовало его развитию. Недавняя работа Майда, посвященная исследованию концептуального мира индоевропейцев, также свидетельствует о ясных конкретных основаниях, на которых строились их понятия и представления [81].

Несомненный индивидуализм отражен, в частности, в отношении индоевропейцев к своим божествам. Поскольку характер таких отношений хорошо известен по греческому эпосу, я приведу не менее убедительный пример из Ригведы. Гимны Ригведы, обращенные к отдельным богам, весьма своеобразны, что заметно из первых же слов: *Agnim* (*īḷe*) «Тот, к ко-

му я взываю, Агни». Проситель, не колеблясь, высказывает свои нужды, не избегая и требовательных интонаций: «Если бы я был на твоем месте, моя просьба была бы удовлетворена».

Индоевропейское общество, в котором был, по-видимому, весьма силен дух индивидуализма, в то же время было восприимчиво к внешним влияниям. В той сфере, которая обычно характеризуется чрезвычайным консерватизмом — в религии,— сохранилось весьма мало того, что можно было бы положить в основу реконструкции. Хеттская религия почти полностью усвоена от хурритов. Религия греков изобилует богинями, в отличие от религии индоиранцев, где доминируют мужские божества. И ни первая, ни вторая религии не сравнимы с религией других этнических групп — кельтской, германской, балтийской или какой-либо иной. Более того, с появлением новых фундаментальных религиозных систем (христианства на Западе и буддизма на Востоке) они усваивались народами, даже если этих вероисповеданий и не придерживались в наиболее густонаселенном индоевропейском ареале — на Востоке.

При переходе от духовной сферы к области технологической можно легко понять, как индоевропейское сообщество усваивало новшества, которые давали возможность успешно развивать военное дело: речь идет о приручении лошади, получении лучших сортов металла и создании наиболее эффективных средств передвижения. Специалисты в области изучения других обществ, например, семитоязычных, возражают, когда ссылаются на отсутствие в этих обществах подобной приспосабливаемости, в результате чего тормозился их технический прогресс; однако в качестве подтверждения того значения, которое имеет способность к адаптации, можно указать на японское общество, долгое время дремавшее в тисках системы, исключавшей любые инновации, но затем неожиданно добившееся столь значительного прогресса. В этом можно найти некоторую поддержку наблюдению Мейе о связи между языком и обществом, а также подтверждение возможности быстрого преобразования, которое осуществил малоизвестный степной народ, ставший чрезвычайно мощной общественной формацией даже на фоне самых развитых обществ. Как бы много заимствований мы ни находили в греческом словаре, все это не сравнимо с ситуацией в японском, где исконные слова *chichi* и *haha* заменяются на усвоенные *papa и mama*. Можно привести и другие свидетельства в пользу того, что для прогресса общества необходимым условием является открытость к новшествам.

Гибкое открытое общество, предоставляющее возможности личности, может иметь или не иметь прямого отображения в языке. И тем не менее такая социальная организация, наделенная способностью к созданию тесно сплоченных единиц, или групп, особенно в период опасности (это иллюстрируется «Илиадой»), представляется привлекательной для человека в связи с открываемыми возможностями общественного развития, а также досуга, свободы и спокойной, мирной жизни независимо от того, где это происходит — в хижине свинопаса Эвмея, в едва ли роскошном дворце его хозяина Одиссея, или же, наконец, в постоянно укрупняющихся социальных структурах более поздних времен. Подобные возможности обладают мощной притягательной силой и в наши дни, и, надо думать, они имели не меньшее значение в начальный период индоевропейской экспансии.

Помимо попыток определить технологические и социальные причины, обусловившие успешное распространение индоевропейцев, необходимо возобновить изучение их общественных институтов, что подчеркнул Шле-

рат в своем предисловии к переизданию в 1978 г. работы Лайста [82]. Хотя осуществленный Лайстом синтез индоевропейского права основывается главным образом на изучении индийских, греческих и италийских источников, нет ничего невероятного в том, что указанные сообщества сохраняли правовые каноны более древних эпох. Первая заповедь, реконструированная Лайстом («Тебе надлежит чтить богов»), сохранялась, несомненно, и в более поздние времена; ибо когда около 1000 г. н. э. в Исландии было введено христианство, один проповедник новой религии осторожно сформулировал свое отрицательное отношение к одной из языческих богинь в следующих словах: «Я не хочу хулить богов, но я считаю, что Фрея — сука». Мы, как и Шлерат, не полагаем более, что европейцы процветали в качестве «не имеющих законов варваров» [82]. Возобновление интереса к их юридическим и иным общественным структурам и институтам — следует приветствовать.

Среди последних важным являлось совершенствование поэтов. Сложность ранних поэтических форм, а также содержание поэтических произведений вряд ли могли быть результатом творчества необученных крестьян, которых внезапно посетило вдохновение, достаточное для сочинения добротной поэзии. Поэты, конечно, могли не иметь столь тщательной подготовки, как, например, брамины в Индии, или люди, выполнявшие те же функции в Галлии; и все же если учесть, что народные поэты не хуже владели языком, чем те, кто специально обучался поэтическому искусству (например, в Индии или в Галлии или, на более позднем этапе, — в германском ареале), становится ясным, что древнее общество должно было иметь достаточно подготовленную к восприятию поэзии аудиторию и оказывало поддержку творческим личностям.

Хотя дальнейшее углубление наших знаний в таких областях представляет, несомненно, чрезвычайный интерес, сами по себе эти данные не могут дать объяснения причин энергичной экспансии индоевропейцев. Ясно, что она не была вызвана каким-либо новым религиозным движением, подобным тому, что привело к победе арабского языка на обширных территориях в VII и VIII вв. Нет у нас и оснований подозревать какие-то политические идеалы, подобно представлению о «неотвратимой судьбе», лежавшему в основе американской экспансии в XIX в. Нет у нас сведений о какой-либо выдающейся личности, которую можно было бы сравнить с Юлием Цезарем, Карлом Великим или Чингисханом. Однако доступные нам традиции продолжают хранить указания на постоянную готовность этих народов к передвижениям — от древнейших сохранившихся текстов, повествующих о военных успехах хеттского царя Анитты, до эпических сказаний индийцев и греков и исторических преданий греческих, италийских и германских племен. Гимны, прославляющие мир на Земле, следует искать где угодно, но только не в древних индоевропейских текстах.

Работа Гамкрелидзе и Иванова, создавшая твердую основу для дальнейших исследований условий распространения индоевропейцев, заслуживает высокой оценки. Как отмечено выше, нельзя согласиться со всеми их выводами, особенно относительно прародины индоевропейцев. Тем не менее приводимые ими свидетельства способствуют успешному изучению других возможных ареалов прародины (ср. ареал, постулируемый в настоящем обзоре вслед за Гимбутас, Мэллори и другими). Мы располагаем данными о том, что индоевропейцы не находились в регионах, население которых в своем языке использовало значимые объекты определенной формы (tokens); с другой стороны, области, лежащие к северу от Чер-

ного и Каспийского морей, представляются более вероятными в качестве локализации прародины, поскольку в таком случае легче объяснить последовательные этапы развития праязыка или, если пользоваться терминологией Дьяконова, последовательных диалектных континуумов. Все это требует дальнейшего уточнения, и здесь мы более всего ожидаем новых археологических данных, способных пролить свет на многие интересующие нас вопросы.

Работы Шмандт-Бессерат о происхождении письма появились менее двадцати лет назад. С тех пор мы довольно далеко продвинулись в области изучения процесса становления системы числительных, а также последовательных этапов развития ранних систем письменности. Необходимо, однако, обстоятельно изучить экономические, политические и интеллектуальные последствия этих новшеств, включая и их географическое распространение. Новые тексты расширили наши представления о раннеанатолийском и соседних с ним языках, что стало возможным в значительной степени благодаря глубокому анализу Ноя и Оттена. В начале этого столетия большинство индоевропеистов вряд ли могли сказать что-либо определенное относительно начала I тыс. до н. э. Новая лингвистическая и археологическая информация во многом прояснила ситуацию, хотя здесь не обошлось без сомнений и ошибочных оценок, что вполне объяснимо ввиду огромного объема новых данных. Хотя последние и вселяют большую надежду на продвижение вперед, их сложность, а также необходимость быть в курсе достижений предшествующего этапа усиливают потребность в точности интерпретации и даже подачи материала. Археологи, без сомнения, хотели бы, чтобы их выводы совпадали с выводами лингвистов по тем или иным вопросам; точно так же и лингвисты ожидают подтверждения своих выводов данными археологии, к примеру, в вопросе о времени приручения лошади. Такой авторитетный специалист, как Бекени, в [83, с. 136] указывает, что это произошло в «середине IV тыс. до н.э.».», тогда как сама Гимбутас называет дату на тысячелетие ранее этого [84, с. 188]. Приветствуя важную работу Гамкрелидзе и Иванова, мы можем надеяться, что она позволит ученым достигнуть новых успехов в понимании одного из наиболее значительных событий в истории человечества.

Географические, интеллектуальные и технологические условия, способствовавшие распространению индоевропейцов, по-видимому, сочетались с некими трудноуловимыми чертами или условиями, которые обеспечили преимущество индоевропейцев в столь короткий период. Все эти черты, равно как и гибкая социальная организация, создававшая возможности для развития личности, таили в себе притягательную силу, заставлявшую другие народы принимать их языки и входить в их общества, а это в конечном счете привело к созданию крупных сообществ, выделившихся в I тыс. до н. э. и существующих так вплоть до наших дней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

45. *Persson P.* Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. Uppsala, 1912.
46. *Benveniste E.* Origine de la formation des noms en indo-européen. P., 1935.
47. *Lehmann R.* Color usage in Irish // Language, literature and culture of the Middle Ages and later // In Honor of Rudolph Willard / Ed. Atwood. E. B. and Hill A. A. Austin, 1969.
48. *Berlin B., Kay P.* Basic color terms. Their universality and evolution. Berkeley: Los Angeles, 1969.
49. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
50. *Szemerényi O.* Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1970 (3-te Aufl.— 1989).
51. The new sound of Indo-European. Essays in phonological reconstruction / Ed. by Vennemann T. B., 1989.

52. Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems / Hrsg. von Bammesberger A. Heidelberg, 1988.
53. *Lehmann W. P.* Proto-Indo-European phonology. Austin, 1952.
54. *Krauss M.* Typology and change in Alaskan languages // Linguistic typology. 1987 / Ed. by Lehmann W. P. Amsterdam, 1990.
55. *Mayrhofer M.* Indogermanische Grammatik. I. 2: Lautlehre. Heidelberg, 1986.
56. *Szemerényi O.* Recent developments in Indo-European linguistics // TPhS. 1985.
57. *Palmaitis M. L.* // IF. 1985. Bd 90. Rec: Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. I—II. Тбилиси, 1984.
58. *Seebold E.* Das System der indogermanischen Halbvokale. Heidelberg, 1972.
59. *Meid W.* Probleme der räumlichen und zeitlichen Gliederung des Indogermanischen // Flexion und Wortbildung / Ed. von Rix Helmut. Wiesbaden, 1975.
60. *Lehmann W. P.* Earlier Stages of Proto-Indo-European // Indogermanica Europaea, Festschrift für Wolfgang Meid. Ed. Heller K. et al. Graz, 1989.
61. *Neu E.* Zur Rekonstruktion des indo-germanischen Verbalsystems // Studies in Greek, Italic and Indo-European linguistics, offered to Leonard R. Palmer / Ed. by Davies A. M. and Meid W. Innsbruck, 1976.
62. *Kortland F.* The laryngeal theory and Slavic accentuation // Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems Hrsg. von Bammesberger A. Heidelberg, 1988.
63. *Polomé E. C.* Are there traces of laryngeals in Germanic // Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems / Hrsg. von Bammesberger A. Heidelberg, 1988.
64. *Beekes R. S. P.* Laryngeal developments: A survey // Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems. / Hrsg. von Bammesberger A., Heidelberg, 1988.
65. *Greenberg J. H.* Relative pronouns and the P. I. E. word order type in the context of the Eurasiatic hypothesis // Linguistic typology. 1987 / Ed. by Lehmann W. P. Amsterdam, 1990.
66. *Lehmann W. P.* Proto-Indo-European syntax. Austin, 1974.
67. *Nichols J.* Some preconditions and typical traits of the stative — active language type (with reference to Proto-Indo-European) // Linguistic typology. 1987 / Ed. by Lehmann. W. P. Amsterdam, 1990.
68. *Schmidt J.* Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1889.
69. *Lehmann W.* On earlier stages of the Indo-European nominal inflection // Language. 1958. V. 34.
70. *Schmandt-Besserat D.* The emergence of recording // American anthropologist. 1982. V. 84.
71. *Klimov G. A.* Zu den ältesten indogermanisch-semitisch-kartwelischen Kontakten im Vorderen Asien // Sprachwissenschaftliche Forschungen. Festschrift für Johann Knobloch. Innsbruck, 1985.
72. *Polomé E.* // RBPhH. 1966. V. 44. Rec. Szemerényi O. Studies in the Indo-European system of numerals.
73. *Szemerényi O.* Studies in the Indo-European system of numerals. Heidelberg, 1960.
74. *Neu E.* Zum Wortschatz des Hethitischen aus synchroner und diachroner Sicht // Studien zum indogermanischen Wortschatz / Hrsg. von Meid W. Innsbruck, 1987.
75. *Oettinger N.* Anatolische Wortbildung und indogermanische Chronologie // Studien zum indogermanischen Wortschatz / Hrsg. von Meid W. Innsbruck, 1987.
76. *Jener K. A., Özbal H., Kaptan E., Pehlivan A. N., Goodway M.* Kestel: An early Bronze Age source of tin ore in the Taurus mountains, Turkey // Science. 1989. V. 244.
77. *Hayward K. M.* The Indo-European Language and the history of its speakers. The theories of Gamkrelidze and Ivanov// Lingua, 1989. V. 78.
78. *Greppin J. A. C.* // TLS. 1986. March. 14. Rec.: Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. I—II. Тбилиси, 1984.
79. Recent Russian papers on the Indo-European problem and the ethnogenesis and original homeland of the Slavs / Ed. by Polomé E. // JIES. 1985. V. 13.
80. Actes du premier congrès international de linguistes. Leiden, 1928. P. 164—165.
81. *Meid W.* Zur Vorstellungswelt der Indogermanen anhand des Wortschatzes // Studien zum Indogermanischen Wortschatz / Hrsg. von Meid W. Innsbruck, 1987.
82. *Leist B. W.* Alt-Arisches Jus Gentium / Hrsg. von Meid W. Innsbruck, 1978.
83. *Bökönyi S.* Horse and sheep in East Europe in the Copper and Bronze ages // Proto-Indo-European: The archeology of a linguistic problem. Studies in honor of Marija Gimbutas / Ed. by Skomal S. N., Polomé E. C. Washington, 1987.
84. *Gimbutas M.* Primary and secondary homeland of the Indo-Europeans // JIES. 1985. № 13.

Перевел с английского *Чирикба В. А.*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1991

БОНДАРКО А. В.

НОСИТЕЛЬ ПРЕДИКАТИВНОГО ПРИЗНАКА

(На материале русского языка)

Выделяя из проблематики субъектно-предикатно-объектных отношений [1—8] вопрос о носителе предикативного признака, мы рассматриваем это понятие в двух аспектах: 1) структурном и 2) семантическом. Имеется в виду 1) предицируемый компонент синтаксической структуры предложения, которому соответствует субъект (в пассивных конструкциях — объект); это понятие охватывает класс синтаксических единиц, возглавляемый подлежащим; 2) соответствующий данному структурному компоненту семантический предикандум.

Поскольку характеристика носителя предикативного признака включает определенное отношение к субъекту (а также к объекту), целесообразно остановиться на некоторых сторонах соотношений «субъект (С) — предикат (П) — объект (О)».

О семантическом субъекте и некоторых других исходных понятиях

Для многих современных исследований характерна ориентация не столько на обобщенные понятия С и О, сколько на более частные, хотя и типизированные функции, или семантические роли,— такие, как агенс или бенефициант [9]. В проводимом нами анализе субъектно-предикатно-объектных отношений данный уровень функций также учитывается, однако основную роль играет более обобщенный уровень С и О как семантических инвариантов (ср. трактовку С и О в концепции диатез и залогов А. А. Холодовича [10], «уровень обобщенных семантических ролей» в интерпретации В. С. Храковского [11], С и О как «функциональные значения» в понимании В. М. Солнцева [12], а также понятия актора и претерпевающего (Undergoer), по Р. Ван Валину и У. Фоли, в их отношении к падежным ролям [13, с. 384—389]).

«Материальным носителем» типизации и обобщения содержания С, П и О являются сами синтаксические конструкции, выражающие эти категории. Типы конструкций в их ограниченном составе рассчитаны на выражение типизированных и обобщенных субъектно-предикатно-объектных отношений, представляющих собой грамматическую подсистему, которая выступает при выражении речевых смыслов в вариантах, обусловленных взаимодействием системы и среды [14].

Теоретические основания разрабатываемого нами типа функциональной грамматики предполагают, что языковые значения и функции заключают в себе смысловую (денотативно-понятийную, «отражательную», универсальную по своей природе) основу и ее языковую интерпретацию (интерпретационный компонент). С каждой формой связана особая язы-

ковая интерпретация смыслового содержания [15, с. 23—28]. Такой подход к языковой семантике распространяется и на анализ субъектно-предикатно-объектных отношений.

Говоря о семантическом субъекте, мы имеем в виду тот элемент семантической структуры предложения, который выступает как субстанция, являющаяся источником приписываемого ей непассивного предикативного признака. Как источник данного признака в языке интерпретируется тот (то), кто (что) производит — намеренно или ненамеренно — действие (*Кто-то идет*; *Выходить мне замуж?*; *Официант уронил поднос*), выполняет функцию реципиента (*Я получил письмо*), находится в определенном состоянии (*Зубы болят*), выступает как бытующая субстанция (*И не такое бывает*), является элементом отношения (*Это от многого зависит*), носителем свойства (*Она умна*), элементом, включаемым в некоторый класс (*Он студент*) и т. п.

Предикат в соответствии с распространенным истолкованием этого термина трактуется далее как понятие семантическое (хотя и сопряженное с теми или иными средствами формального выражения — с «формой предиката»). Предикаты действия, состояния, отношения, бытийности свойства и т. п. соотносят — с точки зрения говорящего — содержание высказывания с действительностью по актуализационным семантическим категориям (таким, как модальность, темпоральность, временная локализованность, персональность). Аналогичным образом трактуется понятие «предикативный признак» — семантический признак, сопряженный с той или иной языковой формой.

Говоря об объекте, мы имеем в виду элемент семантической структуры предложения, выступающий как зависимая от предиката неактивная субстанция, на которую направлен или которой так или иначе касается предикативный признак. Смысловая зависимость О от П представляет собой противоположность статусу С как детерминирующего (каузирующего) источника предикативного признака. Неактивность О — противоположность непассивности С (ср. данное Ю. С. Степановым истолкование признаков активности / неактивности в субъекте, глаголе и объекте [16]).

Между С и П существуют разнонаправленные отношения взаимозависимости (ср. взаимосвязь неконкретной референции П и обобщенности С: *Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка,— лихо носятся уездные извозчики!* — И. Бунин. Деревня [17]). Семантические и структурные взаимосвязи между С и П в их языковом выражении, на наш взгляд, могут быть с достаточной полнотой выявлены на основе концепции двувершинной семантической и синтаксической структуры предложения.

На наш взгляд, не утратили своей актуальности суждения А. А. Шахматова о том, что в предложениях типа *Собака убежала*; *Книга исчезла* и т. п. в психологическом субъекте, соответствующем подлежащему, заключены «...представления, господствующие в отношении признаков, выраженных в соответствующем сказуемому психологическом предикате; действительно, эти активные по своей природе признаки являются производными в отношении к производящим их субстанциям; правда, книга исчезла не сама,— ее спрятали, утаили или затеряли люди, но в данном суждении производителем признака выставлена она» [18]. Ср. понятие «актор» в истолковании Р. Ван Валина и У. Фоли, охватывающее участников ситуации, которые «представляют, обусловливают, вызывают или контролируют ситуацию, обозначенную предикатом» [13, с. 384]. Под это понятие подводится не только агенс, но и, например, инструмент в случаях типа *The hammer smashed the wivdow* «Молоток разбил окно»: «Несмотря

на то, что он не организует и не контролирует действие глагола, он производит действие сам и потому является актором» [13, с. 388].

Итак, существенная сторона соотношения «С—П» заключается в представлении С как источника (каузатора) семантического непассивного предикативного признака. В известном смысле С детерминирует, каузирует предикативный признак. Наиболее ясно это выражено в тех случаях, когда С — агенс, однако признак «креативности» выявляется и в других разновидностях С.

В языковой интерпретации субъектной семантики определяющую роль играет значение агенса. Остальные семантические разновидности С в их языковой интерпретации, в особенности в позиции подлежащего, могут подвергаться воздействию «эталонной» агентивной разновидности. В частности, с типизацией (грамматикализацией) языкового представления С по доминирующей модели «С — агенс» связана персонификация неодушевленных предметов.

Когда решается вопрос о том, в каком элементе предложения представлен С и в каком — О, определяющим фактором является отражение в семантике предложения действительности: кто во внеязыковом мире производит действие и что (или кто) выступает как объект, на который оно распространяется. Ср.: *Охотник убил медведя* и *Медведь убит охотником*; в обоих случаях С действия является охотник, а О — медведь.

Именно потому, что денотативно-понятийная основа субъектно-предикатно-объектных отношений является решающей при определении С и О в предложении, оказывается возможным «подвижное выражение» С — не только в позиции подлежащего, но и в других позициях.

«Абсолютная свобода» семантики С, П и О от языковой интерпретации невозможна. Сами понятия С, П и О как семантические единицы выделяются не только в результате отражения внеязыковой действительности (в частности, лиц, их действий и объектов, на которые они распространяются), но и в результате регулярного представления этих понятий в синтаксических структурах. Лишь благодаря конструкциям типа «подлежащее — сказуемое — прямое дополнение» стабилизируются семантические единицы, входящие в отношение С — П — О.

Языковая раздельность синтаксических единиц, образующих структуру предложения, поддерживает и систематизирует ту дискретность семантических единиц, которая получает определенные стимулы из внешнего мира. Онтологические предпосылки денотативно-понятийного соотношения С, П и О существенны и несомненны, но несомненно и «обратное воздействие» языка на мышление.

С точки зрения дискретности/недискретности субъектного значения («чисто субъектного» или сопряженного с объектной и частично обстоятельственной семантикой) могут быть выделены два типа субъектности: 1) «чистая» и 2) «сопряженная» субъектность. Такие предложения, как *Сосед строит дом*, представляют первый тип. Предложения же типа *Дом построен*, где функция С состояния сопряжена с функцией О действия, относятся ко второму типу субъектности.

Одна из разновидностей сопряженной субъектности представлена семантическим комплексом, выражаемым в конструкциях типа *Вам придется сдать оружие* формой имени в дат. падеже. Данный комплекс включает следующие функции: а) функцию адресата (косвенного объекта), к которому обращено модальное содержание (*придется вам*); б) функцию субъекта того действия (*сдать*), которое надлежит совершить. В дат. падеже «косвенного субъекта» сопряжены содержательные элементы, составляю-

щие комплекс: «придется вам» + «вы сдадите». Модальное слово может отсутствовать, но содержательные отношения оказываются аналогичными; элемент потенциальности в данном случае имплицитно передается конструкцией дат. пад. + инфинитив: *Вам дежурить*. Функция объекта (адресата), к которому обращено эксплицитно выраженное или имплицитно переданное модальное содержание, воздействует на функцию субъекта модально характеризованного действия таким образом, что субъектность приобретает косвенный характер.

Сопряженная субъектность представлена и в конструкциях типа *Лодку унесло течением*; *Его убило молнией*; *Поля побило градом*. Функция С действия в подобных случаях совмещена с косвенно-объектной функцией орудия и обстоятельственной функцией причины — в синкретическом комплексе «орудие — субъект — причина». В комплексе со значением «стихийной силы» субъект в иерархии сопряженных признаков не занимает доминирующего положения. Под воздействием элементов «орудие» и «причина» субъектность в данном сочетании становится косвенной. Статус субъектности снижается за счет исключения признаков личности, намеренности и актуализации признака «потенциальной энергии» (ср. [19]), связанной с лексическим значением существительных, выступающих в форме твор. падежа. Субъектное значение источника действия сопряжено с орудийностью таким образом, что нет отдельно субъекта и отдельно орудия, а есть единство орудия и стихийной силы как источника и вместе с тем причины действия.

Субъектность, находящая выражение в формах косвенных падежей (например, *Ее не было дома*), всегда так или иначе «снижается в ранге» по сравнению с субъектностью, выраженной подлежащим в форме им. падежа (*Она была дома*), потому что на денотативную основу семантики С наслаивается тот или иной оттенок объектной интерпретации, связанной с формой дополнения. Происходит сдвиг от полной и абсолютной субъектности к денотативной субъектности, совмещенной с интерпретационным элементом объектности.

Семантика С интегрирует разноуровневые средства ее выражения, образующие функционально-семантическое поле (ФСП) с у б ъ е к т н о с т и. Иначе говоря, субъектность — это группировка грамматических (морфологических и синтаксических) и лексических средств данного языка, служащих для выражения различных вариантов семантики субъекта.

Говоря о лексических средствах выражения С, мы имеем в виду роль лексики в выражении вариантов данной семантической категории на уровне лексически обусловленных различий между такими разновидностями С, как агенс (*Мастер чинит приемник*), субъект-инструмент (*Станок обрабатывает детали*), С состояния (*Голова болит*) и т. п.

На основании критериев наибольшей специализированности для выражения семантики С и наибольшей регулярности функционирования грамматическим центром поля субъектности в русском языке (как и во многих других) следует признать подлежащее. В подлежащно-сказуемостных предложениях наиболее четко представлена структура «С — П» с дискретным выражением обоих содержательных компонентов. Выражение С другими языковыми средствами мы относим к периферии данного поля.

Содержательные разновидности неопределенно-личного, обобщенно-личного и определенно-личного С в соответствующих типах конструкций характеризуются «более узкой специализацией» по сравнению с С, выражаемым формой им. падежа в позиции подлежащего. Этим обусловливается относительно периферийное положение указанных конструкций в по-

ле субъектности. Вместе с тем они близки к центру поля, поскольку в данных условиях сохраняются признаки субъектности, не пересекающейся с какими-либо элементами объектности.

Явные признаки периферийности характеризуют все типы выражения С формами косвенных падежей имен существительных и местоимений, выступающих в позиции дополнений (*Документ подписан директором*; *Лодку унесло течением*; *Вам отвечать*; *Мне не спится* и т. п.). В подобных конструкциях субъектность связана с той или иной разновидностью объектной интерпретации.

Субъектность в русском языке — это ФСП моноцентрического типа. Данная структура ФСП обусловлена четко выраженной центральной ролью подлежащего среди прочих соответствий С в синтаксической структуре предложения.

Поле субъектности, с одной стороны, пересекается с такими полями, как залоговость и персональность, а с другой — с полем объектности (пересечение касается той сферы периферии субъектности, где ее признаки совмещаются с теми или иными проявлениями объектности). Возможность совмещения признаков С и О в одном и том же элементе структуры предложения свидетельствует о том, что в периферийных зонах поля субъектности противопоставление «С — О» утрачивает абсолютный характер, между субъектностью и объектностью нет резкой грани.

Одним из возможных способов представления субъектно-предикатно-объектных отношений является их описание на основе понятия категориальной ситуации [15, с. 12—14]. Предметом анализа являются «субъектно-предикатно-объектные ситуации» (СПО-ситуации) как типовые структуры языкового содержания высказывания, включающие то или иное отношение к субъекту, предикату и объекту в их взаимных связях и в их отношении к синтаксической структуре предложения.

К постановке вопроса о структурном носителе предикативного признака

Как уже было отмечено выше, структурный носитель предикативного признака (НПП) трактуется нами как понятие, охватывающее подлежащее и другие синтаксические единицы, выполняющие функцию предицируемого компонента синтаксической структуры предложения; данному компоненту соответствует семантический субъект (в пассивных конструкциях — объект), выступающий как субстанция, которой приписывается предикативный признак. Понятие НПП относится ко всему классу синтаксических единиц с данной функцией и к каждому из элементов этого класса.

НПП может иметь двоякое выражение: 1) дискретное — выступающее в отдельной словоформе, и 2) недискретное — совмещенное с формой предиката. К первому — основному — типу относится НПП, представленный подлежащим (*Директор подписал документ*; *Он филолог*), заместителями (аналогами) подлежащего (*Курить вредно*; *Пришло более двухсот человек*), а также главным членом определительного сочетания (*Директору, подписавшему документ, сказали...*). К данному типу относится и выражение НПП формами дополнения: *Ее здесь не было* и т. п. Недискретное выражение отношения к НПП (при «значащем отсутствии» подлежащего) представлено в предложениях типа *Люблю тебя*; *Клянемся*!; *Пиши*!; *Звонят*; *Не знаешь, что и делать*.

Рассматриваемый класс синтаксических элементов трактуется нами как полевая структура, центром которой является подлежащее. Подлежа-

щее как прототипический НПП возглавляет ряд других структур, сближающихся с ним в функциональном аспекте (ср. используемое Э. Кинэном понятие базисного подлежащего, с которым сопоставляются подлежащие небазисных предложений [20, с. 236—276]; заметим, что по отношению к периферийным разновидностям НПП мы говорим не о подлежащем, а о функционально соотносимых с ним языковых средствах).

В позиции подлежащего как прототипического структурного НПП получает наиболее полное выражение функция субстанции, которой приписывается предикативный признак. Отношение «С — приписываемый ему (на семантическом уровне) предикативный признак» находит идеальную структурно-синтаксическую репрезентацию среди прочих, имеющих «более низкий ранг» (ср. понятие «низведение субъекта» [21]), в отношении «подлежащее — сказуемое».

Каждый НПП представляет собой единство функции — структурной и семантической [22, 23] — и формы. Структурная функция НПП заключается в той роли, которую данная единица играет в организации предикативного отношения. Семантическая функция НПП — функция элемента содержательного предикативного отношения, характеризуемого предикативным признаком и включенного в своем формальном выражении в предикативную структурную основу предложения. Выделяя семантическую сторону НПП, мы говорим о «семантическом НПП» (см. ниже). Однако исходным пунктом проводимого анализа является структурная сторона НПП.

Общий принцип соотнесения элементов семантической и синтаксической структуры предложения предполагает, что семантическому предикативному признаку соответствует признак структурный — сказуемое (сказуемостный признак). Когда речь идет о структурном НПП, то непосредственно имеется в виду носитель структурного (сказуемостного) признака и лишь в конечном счете (через форму сказуемого) — носитель признака семантического.

Структурную и семантическую стороны имеет и отношение между предикативным признаком и его носителем — предикативное отношение. Данное отношение, рассматриваемое в синтаксической структуре предложения, представляет собой структурную функцию. Вместе с тем предикативное отношение может рассматриваться как отношение семантическое. Ср., в частности, взаимные связи локализованности/нелокализованности действия во времени и конкретности/неконкретности С: *Молодая княгиня испытывала в то время то чувство, какое испытывают придворные на царском выходе...* (Л. Толстой. Война и мир).

Итак, и носитель предикативного признака, и сам этот признак, и отношение между тем и другим — это такие синтаксические субстанции, свойства и отношения, в которых разграничиваются и соотносятся структурные и семантические функции, связанные с теми или иными средствами формального выражения.

Приведем пример анализа, в котором учитывается связь семантической и структурной стороны рассматриваемых отношений. Так, в предложении *Задача вами решена* объект действия (*задача*) выступает как семантический НПП, соотнесенный с НПП структурным. Вместе с тем в данном предложении есть еще один семантический элемент, связанный с предикатом,— С действия, выраженный дополнением *вами*. Этот участник ситуации не совмещен со структурным НПП. Место НПП занято объектом-подлежащим. *Вами* не является структурно предицируемым

компонентом. Данное агентивное дополнение находится за пределами структурного предикативного отношения. Поэтому С, выраженный этим дополнением, не рассматривается нами как НПП. В анализируемом предложении не два НПП, а лишь один — подлежащее *задача*.

В связи с характеристикой НПП остановимся на представляющих значительный интерес суждениях С. Д. Кацнельсона о понятии «предикандум». С. Д. Кацнельсон связывает это понятие с соотношением синтаксических функций эксплицирования — атрибуции и предикации. В каждой из них выделяется подчинительное синтаксическое отношение, дающее схему, где противопоставление «экспликандум/экспликант» членится на противопоставления «определяемое/определение» и «предикандум/предикат» [24, с. 170]. Понятие предикандума у С. Д. Кацнельсона связано с членением предложения на предикат и его аргументы. Речь идет об определении «предикандумов, или аргументов, как именных (субстанциональных) значений, непосредственно объединяемых предикатом и дополняющих его до уровня предложения» [24, с. 160]. Предикандумы характеризуются как «дополнения» в широком смысле [24, с. 158]. И далее: «Круг синтаксических функций, охватываемых этим понятием, приблизительно покрывается традиционными терминами „субъект предложения“ и „объекты“ (дополнения)» [24, с. 159]. Наше понимание НПП строится на двувершинной концепции структуры предложения при последовательном разграничении (и соотнесении) понятий «субъект» и «подлежащее», «объект» и «дополнение». Однако самый термин «предикандум» представляется уместным и по отношению к НПП в предлагаемой интерпретации.

Семантический носитель предикативного признака

Понятие НПП, как уже было отмечено выше, имеет не только структурный, но и семантический аспект. Выделяя его как особый предмет анализа, мы говорим о семантическом НПП ($НПП_с$).

$НПП_с$ может быть определен как соответствующий структурному НПП элемент семантической структуры предложения, которому в содержательном плане приписывается предикативный признак. Иначе говоря, это характеризуемый элемент содержательного предикативного отношения, семантический предикандум, соответствующий предикандуму структурному.

Данное истолкование $НПП_с$ включает ограничение, касающееся тех С, которые могут быть признаны семантическими носителями предикативного признака. Речь должна идти лишь о тех С, выражение которых включено в структурное предикативное отношение. Отсутствие данного ограничения могло бы привести к фактическому совпадению понятия $НПП_с$ с понятием семантического С и тем самым к удвоению понятий. Так, в предложениях типа *Смета составлена бухгалтером* мы должны были бы признать наличие двух $НПП_с$: носителя пассивного предикативного признака, выступающего в позиции подлежащего, и носителя активного предикативного признака, выраженного дополнением (*бухгалтером*). Но агентивное дополнение находится за пределами структурного предикативного отношения. Грамматическая предикация ограничивается в таких конструкциях соотношением пассивной формы сказуемого и формы подлежащего.

Понятие $НПП_с$ в данном истолковании связано с разграничением двух типов С — 1) С, который выступает в позиции предицируемого компонента синтаксической структуры предложения, и 2) того С, который не вы-

полняет в предложении данной функции. Только С первого типа (в пассивных конструкциях ему соответствует 0) трактуется нами как $НПП_с$.

Соотнесение понятия НПП (в структурном и семантическом аспектах) с понятием С позволяет выделить следующие ранги субъектности: 1) С как $НПП_с$, совмещенный с подлежащим; 2) С, совмещенный с другими репрезентациями неуправляемого НПП; 3) С, выраженный формами дополнения; 4) С, выражение которого находится за пределами предицируемого компонента предложения. Первые три ранга субъектности соответствуют цепочке постепенных переходов в иерархии НПП. Последний ранг С связан с выходом из той сферы, где С так или иначе соотносится с НПП.

Между рангами субъектности и рангами структурного НПП существует определенная связь. Наиболее высокий ранг комплекса «семантический НПП, представленный в структурном НПП» имеет место тогда, когда прототипический семантический НПП (прежде всего С-агенс) находит соответствие в подлежащем как прототипическом структурном НПП. Далее начинаются разноаспектные «понижения ранга».

$НПП_с$ выступает в двух разновидностях: 1) (основная) — носитель непассивного предикативного признака, т. е. $НПП_с$, соотнесенный с С и соответствующий структурному НПП в активных конструкциях; 2) (периферийная) — носитель пассивного признака, т. е. $НПП_с$, соотнесенный с О действия и соответствующий структурному НПП в пассивных конструкциях.

Различие С и О действия в указанных типах конструкций определяет разновидности пассивного/непассивного $НПП_с$, но не меняет сущности НПП как предицируемого компонента синтаксической структуры предложения и $НПП_с$ как предицируемого компонента семантической структуры. Выступая в позиции предицируемого компонента (*Он уехал и был забыт*), С и О действия объединяются как разновидности функции предикандума.

$НПП_с$, с одной стороны, оказывается столь широким понятием, что охватывает и С, и О (выступающие в указанной функции), а с другой — это понятие отличается синтаксической специализацией и синтаксическим ограничением: не всякий С (и, конечно, не всякий О) является $НПП_с$ — им может быть только тот С и тот О, который включен в предикативное отношение, выступая в позиции и в функции предицируемого компонента синтаксической структуры предложения.

Итак, специфической особенностью понятия НПП является его зависимость от понятия «предикативное отношение» (в обоих его аспектах — как семантическом, так и структурном). НПП выступает как тот элемент данного отношения, который характеризуется предикатом. Именно определяемость «со стороны предиката» обусловливает соотнесенность НПП не только с С, но и с О (в пассивных конструкциях).

В дальнейшем изложении мы сосредоточим основное внимание на структурном аспекте понятия НПП, т. е. далее речь будет идти о структурном НПП.

Использование понятия НПП при анализе категории залога

Рассмотрим ряд синтаксических конструкций, не содержащих подлежащего, но заключающих в себе другие репрезентации НПП. Имеются в виду предложения определенно-личные (*Клянусь*; *Садитесь*!), неопределенно-личные (*Нас ждут*) и обобщенно-личные (*Его не поймешь*). Поскольку во всех случаях такого рода С соответствует так или иначе выра-

женному НПП, хотя и не подлежащему, такие конструкции должны рассматриваться как активные. Если бы не было введено более широкое понятие, включающее помимо подлежащего и другие единицы, функционально сопоставимые с ним, то рассуждение типа «С не занимает позицию подлежащего» могло бы привести к выводу о том, что указанные конструкции относятся к пассиву. Таким образом, понятие НПП становится полезным при определении залоговой принадлежности ряда конструкций в тех условиях, когда понятие подлежащего оказывается недостаточным.

Использование понятия НПП целесообразно и при анализе предложений с полными активными и пассивными причастиями, согласующимися с существительными в косвенных падежах: *Человека, написавшего эту книгу...*; *Вопросу, рассмотренному нами...* и т. п. Налицо, НПП, которому соответствует либо С (*Человека, который написал...*), либо О (*Вопросу, который был рассмотрен...*).

Понятие НПП может быть введено в характеристику различия между активными и пассивными конструкциями. Активные конструкции представляют действие как исходящее от С, который выступает в позиции подлежащего или какого-либо иного НПП. Пассивные же конструкции характеризуются таким представлением действия, при котором С (если он выражен) устраняется с указанной позиции и ее занимает О. Соотношение НПП с С или с О определяет исходно-субъектную ориентацию предиката в активных конструкциях и исходно-объектную ориентацию предиката в конструкциях пассивных.

Существуют и другие возможности анализа «трудных случаев», когда в синтаксической конструкции отсутствует «эталонное» подлежащее, но может идти речь о каких-то смежных явлениях. Так, А. В. Исаченко, обратив внимание при рассмотрении категории залога на конструкции типа *Я вижу бегущую лошадь*; *Я получил посланную братом книгу*, пишет: «Термин „подлежащее“ употребляется здесь в самом широком смысле. Это тот член глагольно-именной синтагмы, который либо выступает в функции подлежащего полной предикации (*Брат послал книгу — Книга послана братом*), либо является „подлежащим“ (здесь примечательны кавычки, свидетельствующие о несобственном или необычном смысле термина.— *Б. А.*) полупредикативных конструкций (причастных, деепричастных). В предложении *Я вижу бегущую лошадь* синтагма *бегущую лошадь* является объектом предложения, но внутри этой синтагмы слово *лошадь* является подлежащим по отношению к *бегущую* (ср. *лошадь бежит*). В предложении *Я получил посланную братом книгу* синтагма *посланную книгу* является объектом предложения; но внутри этой синтагмы слово *книгу* является подлежащим пассивного словосочетания *посланная книга* (ср. *Книга была послана*)» [25].

Различные способы расширения понятия подлежащего, в том числе и указанный выше, имеют свои основания, однако с ними связаны и немалые трудности: понятие подлежащего становится двойственным и утрачивает свою определенность.

НПП в неопределенно-личных, обобщенно-личных и определенно-личных предложениях

В неопределенно-личных и обобщенно-личных конструкциях соотнесенность П с С находит выражение в специфической форме сказуемого — 3 л. мн. числа, не соотносительном с 3. л. ед. числа (*Стучат*) и 2 л. ед.

числа, не соотносительном с 2 л. мн. числа (*Его не поймешь*). В случаях типа *Клянусь* С находит выражение в той форме 1 л., которая является основой конструкции, не требующей восполнения личным местоимением, хотя и допускающей соотнесенность с *Я клянусь*. В конструкциях типа *Откройте*! в форме предиката выражен и субъект-исполнитель.

Может возникнуть вопрос: закономерно ли объединять в рамках понятия НПП подлежащее и недискретное выражение отношения к НПП в форме сказуемого?

Препятствием для объединения рассматриваемых структур с подлежащим в составе рассматриваемого класса НПП может показаться различие предложений односоставных и двусоставных. По этому поводу можно сказать следующее. Как уже отмечалось в лингвистической литературе, между двусоставными и односоставными предложениями нет резкой грани (ср. [26, с. 29—31]). Предложения типа *Я люблю тебя* и *Люблю тебя* по их субъектно-предикатной структуре, на наш взгляд, ближе друг к другу, чем предложения типа *Люблю тебя* и *Тишина*, объединяемые в классе односоставных. Если в предложениях типа *Тишина* налицо как структурная, так и семантическая «субъектно-предикатная недискретность», то в случаях типа *Люблю тебя* можно говорить не только о семантической, но и о «скрытой» структурной двучленности: выражение С, заключенное в форме предиката, сочетается со «значащим отсутствием» вербально выраженного подлежащего. Это относится ко всем указанным конструкциям с недискретным выражением НПП.

Среди предложений с НПП, соотнесенным с определенно-, неопределенно- и обобщенно-личным С, может быть намечена иерархия с точки зрения близости/отдаленности по отношению к подлежащно-сказуемостным предложениям. Наиболее близки к ним (по признаку соотносительности типа *Спешу/Я спешу*) индикативные определенно-личные предложения, далее следуют императивные предложения (*Спеши*!), характеризующиеся ограниченными возможностями соотносительности с предложениями, включающими личные местоимения 2 л. в роли подлежащего, и, наконец, обобщенно- и неопределенно-личные предложения.

О «нулевом НПП»

Вводя в определение НПП указание на «предицируемый компонент структуры предложения», мы имеем в виду не только семантическую, но и структурную сторону предикации. Возникает вопрос: все ли репрезентации НПП соответствуют такому пониманию предицируемости? Речь идет, в частности, о неопределенно-, обобщенно- и определенно-личных предложениях.

В упомянутых типах предложений выражение НПП не ограничивается формальными показателями лица и числа (а в императивных конструкциях — и наклонения) в форме сказуемого. Как уже было отмечено выше, в данных условиях в выражении НПП принимает участие и «значащее отсутствие» подлежащего. В связи с этим возникает вопрос о «синтаксическом нуле».

Обращение к «нулевому подлежащему» в принципе возможно (ср. понятие «нулевой лексемы со значением лица», используемое Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелевым при анализе неопределенно-личных и обобщенно-личных предложений [27]). Поскольку, однако, в нашем распоряжении имеется более широкое понятие НПП, оно и может быть использовано в «нулевом варианте». Рассматривая предложения ти-

па *Звонят*; *С ним не пропадешь*; *Клянусь*; *Пиши!*, можно полагать, что в них представлен нулевой элемент структуры предложения, являющийся по своей функции носителем предикативного признака,— «нулевой НПП».

В данном случае нет необходимости жестко связывать «нулевой НПП» с какой-то определенной (лишь одной) интерпретацией «синтаксического нуля»: в неопределенно-, обобщенно- и определенно-личных предложениях представлены разные синтаксические условия, в которых значащее отсутствие подлежащего находит различные проявления. В форме сказуемого выражено отношение связи предиката с субъектом-лицом. В сказуемом выражена проекция связи предикативного признака с его носителем. Это предполагает и формальную «типовую проекцию» на некоторый структурный элемент, находящийся вне сказуемого. Такого элемента в «положительной» реализации в данных условиях нет, но можно предположить, что структура рассматриваемых предложений включает тот нематериализованный элемент, который мы называем «нулевым НПП».

Вопрос о расширении понятия подлежащего

На наш взгляд, было бы целесообразно сохранить понятие подлежащего в его обычном, не расширенном истолковании. Данная точка зрения расходится с широким пониманием подлежащего, включающим различные типы его неноминативного выражения (ср. интерпретацию предложений типа *Ему не работается*; *Ему грустно*; *Воды нет*; *Народу прибывает* и т. п. в работах [28; 26, с. 26—27; 29]).

Заметим, что объективные предпосылки расширения понятия подлежащего и предлагаемого нами объединения целого класса синтаксических единиц в понятии НПП — по существу одни и те же: это наличие ряда синтаксических структур, в которых нет канонического подлежащего, но есть иные синтаксические элементы, функционально в том или ином отношении сближающиеся с подлежащим. Для нас нет необходимости расширять понятие подлежащего именно потому, что широкое понятие НПП дает возможность, с одной стороны охватить целый ряд близких по своей функции структур, а с другой — сохранить термин «подлежащее» в его четком каноническом истолковании. Примечательно, что идея «нулевого подлежащего» естественно вписывается именно в «узкое» понимание подлежащего: имеется в виду значащее отсутствие подлежащего, выраженного формой им. падежа.

В понятии подлежащего для нас существенно свойство предицируемого компонента, связанного со сказуемым отношением координации (об этом понятии см. [30, с. 35—37]). Что же касается конструкций типа *Ему не работается*; *Ему грустно*; *Воды нет* и т. п., то они заключают в себе элементы не координируемые, а управляемые. Они представляют собой не подлежащее, а дополнение.

Подчеркнем, что предлагаемая трактовка НПП, в том числе и подлежащего, соответствует двувершинной концепции предложения (ср. истолкование предикативного отношения на основе принципа грамматической взаимообусловленности в интерпретации В. Г. Адмони [31]).

Особый вопрос заключается в определении того, где проходит граница между подлежащим и его ближайшим окружением. В русском языке признаками подлежащего во всей их полноте характеризуется лишь форма им. падежа. Примыкающие к нему «бесформенные слова» (*Далече гряну-ло ура*) и другие «заместители» подлежащего (ср. [32]) представляют собой ту «ближайшую периферию», которую трудно отделить от центра, но вмес-

те с тем нецелесообразно включать в понятие «прототипического подлежащего» (об этом понятии см. [33, с. 6—7]).

К заместителям подлежащего мы относим и инфинитив в случаях типа *Кататься — весело*; *Руководить значит проверять* (ср. нередко встречающуюся интерпретацию инфинитива как подлинного подлежащего). Если форма им. падежа представляет собой такое выражение независимой субстанции, которое способно быть центром координации со сказуемым по определенным грамматическим категориям, то инфинитив не может выполнять такую функцию (о различии синтаксических функций им. падежа существительных и местоимений, с одной стороны, и инфинитива, признаваемого подлежащим, с другой, см. [34]; ср. анализ свойств прототипического подлежащего в русском языке в [33, с. 8—27]).

Таким образом, в иерархии представителей родового понятия НПП выявляется цепочка постепенных переходов: подлежащее (центр того множества синтаксических единиц, которое охватывается понятием НПП) — заместители (аналоги) подлежащего (пограничная зона между центром и периферией) — другие разновидности НПП (явно выраженная периферия).

НПП, выраженный формами дополнения

Исчерпывается ли понятие НПП теми единицами, о которых шла речь выше? Думается, что рассмотренные выше языковые средства, сближающиеся с подлежащим по функции предицируемого компонента синтаксической структуры предложения, представляют лишь часть единиц, которые могли бы трактоваться как НПП. Понятие НПП допускает расширение круга охватываемых им средств за счет включения в него форм дополнения.

Рассмотрим в данной связи безличные конструкции с род. падежом имени в функции С при глаголе с отрицанием: *Ее здесь не было*; *Ответа не последовало* и т. п. (ср. [35]). В таких конструкциях есть все основания признать наличие предицируемого компонента, т. е. НПП (но не подлежащего!). Заметим, что формы род. падежа (*ее*, *ответа*) не представляют управления, свойственного тем глаголам, при которых они выступают: глаголы *быть* и *последовать* сами по себе не управляют род. падежом. Налицо обусловленный отрицанием «сдвиг синтаксических связей», преобразующий структуру предложения в целом. Ср. также пассивные конструкции типа *Нарушений общественного порядка не зарегистрировано*: форма род. падежа в функции НПП выступает при страдательном причастии, т. е. той форме, которая сама по себе (без отрицания) с род. падежом не сочетается (ср. *Зарегистрированы нарушения общественного порядка*). Такая соотносительность подчеркивает сопоставимость в данных условиях им. падежа подлежащего и род. падежа дополнения как форм, выступающих в функции НПП.

Заслуживает внимания предложения типа *Мне не работается*; *Брату нездоровится*; *Ему весело*; *Ему взгрустнулось*. Известна констатация в таких случаях значения субъекта состояния [26, с. 26—27]. Признавая в подобных предложениях денотативно-понятийную субъектность, следует подчеркнуть, что она сопряжена с интерпретационным элементом объектности, связанной со всей безличной конструкцией, включающей косвенное дополнение. Это не только фактор синтаксической структуры, но и существенный компонент языковой семантики: денотативно-понятийный субъект получает в данной конструкции объектную интерпретацию: обозначение безличного предиката состояния соотносится с обозначением

«того, кого оно касается». Именно с этим связано семантическое различие между способами представления С как «источника» состояния (*Брат грустит*) и С, к которому отнесено (как к косвенному объекту) безличное состояние (*Брату грустно*).

В предложениях типа *Меня знобит*; *Больную лихорадит*; *Меня клонит в сон*; *Меня тянет к морю*; *Меня подмывает ответить* и т. п. Г. А. Золотова констатирует следующие отношения: «Предицируемый компонент со значением личного субъекта непроизвольного состояния при безличных глаголах состояния (физического или душевного) и некоторых глаголах модального значения, а также при метафорических фразеологически связанных способах выражения состояния» [36]. Соглашаясь с данным истолкованием в той мере, в какой оно отражет денотативно-понятийную основу выражаемой семантики, заметим, что, с нашей точки зрения, элемент «субъект состояния» сопряжен здесь с объектной интерпретацией, исходящей от формы прямого дополнения с ее значением субстанции, зависимой от действия, выраженного глаголом-сказуемым.

Не менее сложен структурный аспект рассматриваемых отношений: можно ли говорить в таких случаях о предицируемом компоненте, о структурном НПП? На наш взгляд, такое истолкование языковых фактов возможно (хотя изучаемые отношения чрезвычайно сложны и допускают различные интерпретации).

Признание управляемого члена предложения структурным НПП, т. е. предицируемым компонентом, требует особых пояснений. Очевидно, для того, чтобы за дополнением мог быть признан статус НПП, необходимо, чтобы в предложении не было другого компонента, соотносящегося с предикатом. Если использовать терминологию, связанную с предикатом и актантами, то речь должна идти об актанте при одноместном предикате. В этих условиях предикативное отношение, рассматриваемое в его семантическом и структурном аспектах, может трактоваться как такое отношение, которое может иметь и форму управления. Здесь есть определенное противоречие между принципом взаимообусловленности в предикативном отношении [30, с. 110—111] и односторонней зависимостью от сказуемого, характеризующей управляемое дополнение. Однако в упомянутых предложениях управление можно рассматривать как формальную связь, совместимую с «стоящей выше» функцией предикативного отношения (ср. замечание Э. Кинэна о том, что свойство глагольного согласования не является необходимым условием базисной подлежащности [20, с. 252]).

В конструкциях с указанными типами дополнений (ср. используемое Р. Мразеком и С. Жажей понятие «субъектное дополнение» [37]) следует признать наличие НПП, но не основного подкласса ($НПП_1$), а периферийного подкласса ($НПП_2$), который отличается наличием синтаксической зависимости от сказуемого, выраженной в управлении. Как уже было отмечено выше, эта зависимость не проходит бесследно для способов представления (языковой семантической интерпретации) смысловой основы семантики субъектности.

Итак, одно из возможных решений рассматриваемого вопроса заключается в том, что в рамках НПП как класса синтаксических единиц с функцией предицируемого компонента структуры предложения могут быть выделены два подкласса: 1) неуправляемый ($НПП_1$) и 2) управляемый ($НПП_2$).

Включение в класс НПП языковых единиц не только типа $НПП_1$, но и типа $НПП_2$ представляется целесообразным уже потому, что благодаря расширению класса синтаксических элементов с функцией НПП воз-

растает объяснительная сила этого понятия. Существенно, в частности, что разграничение и соотнесение подклассов $НПП_1$ и $НПП_2$ позволяет выявить различия в способах языковой интерпретации семантики субъектности, связанных с указанными разновидностями НПП (уже в рамках $НПП_1$ существуют различия в способах представления С, определяемые спецификой каждой из репрезентаций $НПП_1$, но при сопоставлении $НПП_1$ и $НПП_2$ различия в оттенках представления смыслового содержания субъектности выступают особенно четко). Вместе с тем необходимо принять во внимание, что подкласс $НПП_2$, оближаясь с подклассом $НПП_1$ в функциональном отношении (по функции предикандума), существенно отличается от подлежащего и других представителей подкласса $НПП_1$ (имеется в виду дискретное выражение НПП) с точки зрения структурных связей форм, выражающих предикативный признак и его носителя. Такое различие, однако, не должно препятствовать тому расширению круга репрезентаций НПП, о котором шла речь выше. Необходимо учитывать, что понятие НПП имеет прежде всего функциональную природу, хотя каждый раз функция рассматривается в единстве с теми или иными языковыми средствами. Заметим, что уже выражение отношения к НПП, заключенное в форме предиката неопределенно-личных, обобщенно-личных и определенно-личных предложений при «значащем отсутствии» подлежащего с точки зрения типа формального выражения, существенно отличается от НПП в структуре эталонного двусоставного предложения. Функциональная направленность анализа, связанного с понятием НПП, неизбежно оказывается сопряженной с признанием структурной разнородности формальных средств и их связей, охватываемых данной функцией.

*

Наиболее существенный фактор, определяющий специфику понятия НПП и целесообразность его использования, состоит в следующем. В этом понятии заключено единство структурной функции предицируемого компонента синтаксической структуры предложения и семантической функции предицируемого компонента его семантической структуры (ср. двойственность тех соответствий на семантическом уровне, которые присущи подлежащему в обычном понимании,— соответствия субъекту в активной конструкции и объекту в пассивной; единая семантическая характеристика может быть приписана подлежащему лишь в том случае, если оно рассматривается как прототипический структурный носитель предикативного признака).

Речь идет о разных функциях в том отношении, что одна из них — структурная, а другая — семантическая, но они объединяются по своей сущности предикандума. Важно то, что функция семантического предикандума присуща той же синтаксической единице, которая обладает функцией предикандума структурного (это вытекает из изложенного выше истолкования $НПП_С$, которое предполагает обязательное включение формального выражения семантического предикандума в структурное предикативное отношение). Функция семантического предикандума составляет семантическое содержание структурного НПП. Поэтому в данной статье понятия структурного и семантического НПП не «разводятся по разным объектам», а соотносятся как отражения структурной и семантической функций предикандума, находящих выражение в одной и той же форме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Subject and topics / Ed. by Li Ch. N. N. Y., 1976.
2. *Степанов Ю. С.* Иерархия имен и ранги субъектов // ИАН СЛЯ. 1979. № 4.

3. *Кибрик А. Е.* Подлежащее и проблема универсальной модели языка // ИАН СЛЯ. 1979. № 4.
4. *Dik S. C.* Studies in functional grammar. L., 1980.
5. *Daneš F., Hlavsa Z. a kol.* Větně vzorce v češtině. Praha, 1981.
6. *Sgall P., Hajičová E., Panevová J.* The meaning of the sentence in its semantic and pragmatic aspects. Prague. 1986.
7. *Касевич В. Б.* Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988. С. 83—92, 210—217, 240—245, 258—263, 275.
8. *Долинина И. Б.* Синтаксически значимые категории английского глагола. Л., 1989.
9. *Fillmore Ch. J.* The case for case // Universals in linguistic theory / Ed. by Bach E., Harms R. T. N. Y., 1968.
10. *Холодович А. А.* Проблемы грамматической теории. Л., 1979. С. 277—292.
11. *Храковский В. С.* Диатеза и референтность (К вопросу о соотношении активных, пассивных, рефлексивных и реципрокных конструкций) // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981. С. 12—13.
12. *Солнцев В. М.* Грамматическая структура и актуальное членение предложения (Вместо предисловия) // Восточное языкознание: грамматическое и актуальное членение предложения. М., 1984. С. 6—7.
13. *Ван Валин Р., Фоли У.* Референциально-ролевая грамматика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
14. *Бондарко А. В.* Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды // ВЯ. 1985. № 1.
15. *Бондарко А. В.* Введение. Основания функциональной грамматики // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
16. *Степанов Ю. С.* Индоевропейское предложение. М., 1989. С. 10—68.
17. *Бондарко А. В.* Временная локализованность // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987. С. 226—230.
18. *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941. С. 22.
19. *Сальников Н.* Безличные предложения типа «Крышу сорвало ветром» // RLing. 1977. 3.
20. *Кинэн Э. Л.* К универсальному определению подлежащего // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
21. *Гак В. Г.* Номинализация сказуемого и устранение субъекта // Синтаксис и стилистика. М., 1976.
22. *Бондарко А. В.* Теория морфологических категорий. Л., 1976. С. 42—47.
23. *Бондарко А. В.* Грамматическое значение и смысл. Л., 1978. С. 63—64.
24. *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
25. *Исаченко А. В.* Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология. Ч. 2. Братислава, 1960. С. 345.
26. *Золотова Г. А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
27. *Булыгина Т. В., Шмелев А. Д.* Синтаксические нули и их референциальные свойства // Типология и грамматика. М., 1990. С. 110—118.
28. *Вечорек Д.* Несогласованные асимметричные русские предложения в сопоставлении с польским. Wrocław, 1982. С. 15.
29. *Золотова Г. А.* О принципах классификации простого предложения // Актуальные проблемы русского синтаксиса. М., 1984. С. 15—16.
30. *Распопов И. П.* Строение простого предложения в современном русском языке. М., 1970.
31. *Адмони В. Г.* Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. Л., 1988. С. 16, 110—112, 165—168.
32. *Попов А. С.* Грамматическое и стилистическое своеобразие современных русских предложений с количественными подлежащими // Синтаксис и стилистика. М., 1976.
33. *Козинский И. Ш.* О категории «подлежащее» в русском языке. М., 1983.
34. *Шмелев Д. Н.* Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. М., 1976. С. 40.
35. *Попов А. С.* Русские отрицательные безличные предложения с родительным падежом существительного и проблемы подлежащего // Русский синтаксис. Воронеж, 1977.
36. *Золотова Г. А.* Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 1988. С. 154.
37. *Mrázek R., Žaža S.* Pojem subjektu vzhledem k typologii slovanské věty // Československá slavistika. Praha. 1983. S. 52—53.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1991

© 1991 г.

ШАЛЯПИНА З. М.

ГРАММАТИКА И ЕЕ СООТНОШЕНИЕ СО СЛОВАРЕМ ПРИ СЛОВОЦЕНТРИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ЯЗЫКУ

(На опыте формализованного лингвистического описания)

Проблема соотношения словаря и грамматики представляет собой одну из наиболее кардинальных языковедческих проблем, и от того, как она решается в рамках конкретных лингвистических описаний, существенно зависят их состав и строение. Особенно важное значение это имеет для формализованных описаний языка, составляемых в прикладных целях, поскольку к такому описанию предъявляются более высокие, чем в иных случаях, требования последовательности, непротиворечивости и согласованности между собой всех его компонентов, как лексических, так и грамматических, и необходимые предпосылки реализации этих требований должны быть в явном виде заложены уже в самом способе организации соответствующего описания и в структуре используемых при этом формальных средств. Предметом настоящей статьи является теоретическое осмысление и обоснование, а также рассмотрение некоторых прикладных и общеязыковедческих импликаций одного из возможных здесь подходов. В основных своих чертах этот подход сформировался в связи с задачей создания системы англо-русского автоматического перевода (АРАП), разрабатывавшейся в МГПИИЯ им. М. Тореза в 1969—1977 гг. (см. [1—7]). В настоящее время он развивается применительно к лингвистическому обеспечению системы японско-русского автоматического перевода (ЯРАП), работа над которой начата в Институте востоковедения АН СССР [8—10].

Обе названные системы базируются на том общем принципе (часто называемом лексикографическим), что центральным компонентом их лингвистического обеспечения должен быть словарь и ему должна принадлежать определяющая роль по отношению ко всем прочим частям этого обеспечения, включая грамматику.

Принцип этот, в теоретическом плане тесно связанный с так называемым *словоцентрическим* [11] направлением в языкознании, активно применялся в прикладной лингвистике по существу с самого начала разработок в области автоматического перевода. Однако вначале он нередко получал неоправданно упрощенную интерпретацию, искажающую его лингвистический смысл, и сводился на практике к заведомо безуспешным попыткам отказаться при обработке текстов от анализа их синтаксической структуры, ограничившись выявлением фигурирующих в них лексических единиц [12]. Бесперспективность этого пути привела к появлению иной трактовки рассматриваемого принципа, наиболее четко представленной в модели «Смысл ⇔ Текст»: «необходим словарь, в систематической форме задающий закономерности употребления всех содержащихся в нем слов» [13, с. 31], т. е. описывающий лексику языка в неразрывной связи с ее сочетаемостными потенциями. На такое понимание лексикогра-

фического принципа мы и опирались при решении вопросов организации лингвистического обеспечения систем АРАП и ЯРАП.

Ориентация на указанный принцип поставила перед нами задачу пересмотреть тот взгляд на соотношение словаря и грамматики в формализованном лингвистическом описании, который был широко распространен (во многом, видимо, под влиянием школы Н. Хомского) в структурной лингвистике 60 — нач. 70-х годов и который эксплицитно выражен, например, в одной из работ Е. В. Падучевой: «...словарь должен служить дополнением грамматики до исчерпывающего описания соотношения „смысл ↔ текст", т. е. задавать для каждого слова значения всех признаков, упоминаемых в грамматике» [14]. Легко видеть, что данная точка зрения вступает в противоречие с тезисом о центральной роли словаря: согласно цитируемому утверждению, состав и структура словарных описаний принципиально зависят от того, как (с помощью какого набора признаков) описана грамматика соответствующего языка, и, стало быть, именно грамматика, а не словарь оказывается центральным, определяющим компонентом всего описания. Чтобы избежать этого противоречия, необходимо было найти какой-то иной способ согласования словаря и грамматики, при котором не требовалось бы в качестве предварительного условия для составления словаря иметь полный перечень признаков, возможных в грамматике данного языка.

В поисках такого способа было естественно обратиться к опыту, накопленному в интересующей нас области теоретической лингвистикой.

В общем языкознании выделен целый ряд критериев противопоставления в лингвистическом описании грамматического и неграмматического (лексического): семантический критерий, предполагающий различие в характере значений грамматических и лексических единиц, соответственно; критерий ограниченности/неограниченности инвентаря тех и других единиц; критерий обязательности/необязательности их употребления и т. п. (см., например [15, с. 200—210]). Из них для разграничения и согласования между собой словаря и грамматики в системе АРАП (и позже ЯРАП) был выбран критерий общности — наиболее традиционный и, на наш взгляд, наиболее универсальный [1].

Суть этого критерия сводится, как известно, к тому, что в отличие от лексических описаний, фиксирующих индивидуальные особенности отдельных единиц словаря, грамматика носит обобщенный характер, описывая свойства, относящиеся к целым классам однородных единиц. Впрочем, строго говоря, лексика также есть некоторое обобщение, именно — обобщение множества словоформ данного языка, для многих языков являющееся достаточно нетривиальным. Поэтому более корректным будет здесь, по-видимому, утверждение не о бинарном противопоставлении индивидуального и общего, но о различии в степени достигаемого обобщения: по сравнению со словарем, грамматика основана на обобщении существенно более высокого уровня, которое во многих случаях можно считать вторичным по отношению к словарному обобщению. В той мере, в какой имеет место такая вторичность, можно говорить, что г р а м м а т и к а е с т ь о б о б щ е н и е с л о в а р я.

---

[1] В противоположность авторам [15, с. 209], рассматривающим общий и регулярный характер грамматических правил как следствие свойства обязательности выражения грамматических значений, мы полагаем, что само это свойство возникает в результате объединения в один грамматический класс тех и только тех единиц, которые обладают общим для всех них признаком регулярного выражения при них определенного значения.

В рамках формализованного лингвистического описания критерий общности легко интерпретируется в операционных терминах: возможность обобщения каких-то элементов такого описания должна проявляться, очевидно, в повторяемости соответствующих языковых фактов в языке и речи (тексте), и простейшим способом этого обобщения оказывается построение грамматики путем выделения и, так сказать, «вынесения за скобки» при описании индивидуальных языковых единиц всей той информации, которая достаточно часто повторяется в отношении различных единиц и/или их разных текстовых употреблений.

Если требуемую степень повторяемости обнаруживает некоторая конкретная единица как таковая, в грамматику выносится сама эта конкретная единица вместе с описанием всех ее свойств (ср. традиционно включаемые в грамматику служебные слова, отличающиеся именно той особенностью, что частотность их употребления в текстах всегда существенно выше частотности в тех же текстах знаменательных слов, независимо от стиля или тематики самих текстов). Если же повторяются отдельные структурные свойства различных единиц: внутренние (= касающиеся набора образующих ту или иную единицу составных компонентов и их организации в ее пределах) или внешние (характеризующие место и роль данной единицы в построении более крупных единиц текста),— сведения о таких совпадающих для группы единиц свойствах в описании каждой из них заменяются некоторым условным символом, выполняющим две взаимосвязанные функции: по отношению к заменяемым им лингвистическим сведениям он выступает как их сокращенное обозначение; по отношению к тем единицам, в описаниях которых такие сведения выявлены,— как имя грамматического класса, объединяющего эти единицы по признаку общности для них данной группы сведений. В грамматике каждому подобному символу сопоставляется при таком подходе собственное описание, содержащее рассматриваемые сведения в полном виде, т. е. дается, так сказать, расшифровка введенного для них «сокращенного обозначения» [3, с. 10].

В обоих случаях основным способом лингвистического обобщения и формирования на его основе грамматических описаний, или, как они названы в [3] (где впервые эксплицитно излагается и иллюстрируется данный подход к грамматике), а затем в [4], «грамматических словарных статей», является, как видим, операция теоретико-множественного пересечения в своей обычной математической интерпретации. Это создает, очевидно, достаточно серьезные предпосылки для формализации и в перспективе — автоматизации на этой базе самих соответствующих процессов.

Необходимо оговорить, однако, что применение названной теоретико-множественной операции как средства грамматического обобщения характеризуется одним важным ограничением, не вытекающим из ее математического определения. Именно: пределы применения здесь данной операции диктуются не только самим фактом наличия/отсутствия в описываемых текстах или в информации к имеющимся в них единицах тех или иных повторов, но и соображениями оптимальности результирующего лингвистического описания в целом, т. е. требованиями, во-первых, его максимальной компактности и, во-вторых, максимальной простоты его применения при обработке текстов.

Выполнение первого требования — обеспечение максимальной компактности составляемого лингвистического описания при сохранении полноты охвата в нем описываемого языкового материала — сопряжено,

с одной стороны, с возможно более полным устранением в этом описании случаев дублирования одной и той же информации и, с другой стороны, с минимизацией того исходного инвентаря единиц, на который оно опирается. Изложенный выше метод грамматического обобщения посредством операции теоретико-множественного пересечения служит для решения только первой из названных двух задач — устранения дублирования информации. Напротив, инвентарь исходных единиц описания при этом, вообще говоря, увеличивается, так как, кроме конкретных единиц, в него включаются также имена грамматических классов. Для минимизации этого инвентаря требуется, по-видимому, учет взаимосвязей, имеющихся между разными элементами обобщаемой информации, с тем чтобы во всех случаях, когда релевантность для некоторой языковой единицы одного из взаимосвязанных в этом смысле элементов информации влечет за собой релевантность для нее также другого из них и наоборот, в лингвистическом описании оба эти элемента соотносились, по возможности, с одной и той же единицей исходного инвентаря.

Важнейшим типом взаимосвязей такого рода является нередко наблюдаемая корреляция между наличием у рассматриваемых единиц общих внешних (сочетаемостных) свойств и присутствием общего компонента в определенной позиции их внутренней структуры. В этом случае для выделения общих свойств таких единиц можно не вводить специальный объединяющий их грамматический класс, а задавать все их общие свойства в описании, сопоставленном общему компоненту их структуры, наряду с собственными свойствами последнего, отметив только, что указанные сведения относятся не к самой той единице, в описании которой они фигурируют, а к единицам более крупным (относящимся к более «высокому» уровню синтагматического членения текста), в состав которых она может входить в качестве их структурного компонента. Единицы, свойства которых полностью представимы при этом через сведения об их структурных компонентах, можно, очевидно, исключить из исходного инвентаря, оставив в нем только эти компоненты. В той мере, в какой лингвистическое описание может быть сведено этим способом к описанию отдельных слов и их классов, и можно, по-видимому, говорить о «словоцентрическом» подходе к языку в полном смысле данного термина.

В формализованном лингвистическом описании изложенный метод позволяет, в частности, строить исчисление всех не идиоматических единиц, больших, чем отдельное слово,— словосочетаний, предложений, сверхфразовых единств, теоретически даже целых текстов — в виде описания словоформ, допустимых в их составе. Описание же словоформ может, в свою очередь, представляться как описание их морфологических компонентов: лексических корней и основ, образующих словарь такого описания, и служебных элементов (прежде всего словоизменительных и стандартных словообразовательных показателей), которые, будучи значительно более частотными, должны, по нашим принципам, включаться в грамматику.

Понятно, что во всех случаях такое покомпонентное описание возможно, как уже оговорено выше, только при условии неидиоматичности описываемых единиц: если какая-то сложная единица — будь то сочетание лексического корня со словообразовательным аффиксом или целое предложение — имеет свойства, не выводимые из свойств составляющих ее единиц, она должна, естественно, включаться в словарь целиком. Однако указывать в ее словарном описании достаточно при этом лишь тот минимум ее свойств, который, действительно, идиоматичен; все остальные свой-

ства такой единицы могут быть опять-таки перенесены в описания, сопоставляемые ее компонентам.

Основным средством характеризации внешних свойств единиц всех отражаемых в таком описании языковых уровней: уровня морфологии слова, уровня синтаксиса предложения, уровня синтаксиса сверхфразовых единств и т. п. — становятся в нем **валентности** соответствующих уровней — resp. морфологические, синтаксические, сверхфразовые и пр., — приписываемые непосредственно отдельным морфологическим элементам — как лексическим, так и грамматическим, — а также другим нечленимым (хотя бы в отношении той или иной части их свойств) языковым единицам (таким, как, например, фразеологические сочетания).

Скажем, английской граммеме *pass(ive)* — показателю страдательного залога — на морфологическом уровне должна быть приписана при этом валентность на основу переходного глагола (переходного в широком смысле — т. е. допускающего трансформацию пассивизации), на синтаксическом же — валентности на субъект (агенс) и объект (пациенс) действия, задаваемого этой глагольной основой, с уточнением, что первая из них (субъектная, или агентивная) при ее непосредственной реализации в тексте должна оформляться в нем в виде косвенного дополнения с предлогом *by*, а вторая (объектная, пациентивная) — в виде подлежащего той словоформы, в состав морфологического представления которой входит данная граммема.

Другой пример: лексеме *similar* («аналогичный, подобный») будет приписано в рамках рассматриваемого подхода три валентности синтаксического уровня: валентность на объект, применительно к которому проводится аналогия с другим объектом (валентность реализуется определяемым существительным или — при предикативном употреблении описываемого прилагательного — подлежащим); валентность на объект, с которым проводится требуемая аналогия (реализуется на синтаксическом уровне дополнением с предлогом *to*), и валентность на признак, служащий основанием для проведения данной аналогии (реализуется дополнением с предлогом *in*). Кроме них эта лексема получит и ряд валентностей сверхфразового уровня, в частности, валентность, имеющую ту же содержательную интерпретацию, что и вторая из трех названных синтаксических (внутрифразовых) валентностей, но выражаемая рематическим компонентом предложения, предшествующего предложению со словом *similar* (ср.: *We use a magnetic amplifier essentially similar in operation to that used by our colleagues.* vs.: *Our colleagues use the F-1 type of magnetic amplifier. We use an essentially similar amplifier type.*), а также валентность на конкретизацию проводимой аналогии (реализуемую предложением/предложениями, следующим(и) за предложением со словом *similar* и уточняющим(и), в чем именно аналогичны сопоставляемые объекты и/или каковы границы проводимой аналогии, т. е. в чем эти объекты, несмотря на их сходство в других отношениях, различны) и т. д. [2].

Помимо самих валентностей и возможных способов их реализации, в словарных статьях описываемых единиц должны указываться и все прочие особенности синтагматических конструкций, в которые они могут входить, — в той части, естественно, в какой соответствующие особенности обусловлены свойствами именно этих единиц. Такие особенности практически всегда могут быть определены в терминах реализуемых в той или

---

[2] Подробнее о понятии сверхфразовых валентностей и условиях их релевантности для структуры конкретного текста см. в [16].

иной конструкции валентностей ее компонентов. Это могут быть, например, ограничения на совместную реализацию разных валентностей самой описываемой единицы; ограничения на реализацию каких-то из ее валентностей одновременно с теми или иными валентностями других единиц, связанных с ней в рассматриваемой конструкции; требования определенных модификаций в оформлении валентностей этих других единиц; условия эллипсиса единиц, реализующих валентности тех или иных компонентов конструкции; закономерности, позволяющие восстанавливать эллиптированные единицы при ее обработке, и т. д. [3].

Например, в статье японского союза *кацу* («и, а также») будут не только указаны две его валентности и способы реализации каждой из них (одна его валентность реализуется при используемом представлении синтаксической структуры единицей, подчиняющей себе данный союз и стоящей непосредственно слева от него; если это глагол, он должен иметь при этом так называемую срединную форму; вторая валентность реализуется единицей, подчиненной союзу *кацу*, стоящей от него справа и, возможно, отделенной от него какими-то другими единицами), но будут также даны и правила согласования единиц, реализующих указанные две валентности в тексте, по части речи и по семантическому классу.

В статье английской граммемы *part*(*iciple*) — показателя причастия — будет, в частности, даваться указание о том, что одна из валентностей, вводимых в статьях других компонентов той же глагольной словоформы,— та, для которой в соответствующей статье (скажем, в статье граммемы *pass*) предусматривается ее реализация в виде подлежащего данного глагола,— в присутствии описываемой граммемы *part* не может реализоваться в указанном виде, но получает те возможности реализации, которые характерны для первой валентности прилагательного (в виде определяемого данной словоформой существительного или в виде подлежащего при подчиняющем ее глаголе-связке).

Для слов, образующих конструкции с предикатными актантами, должна даваться, помимо прочего, информация о том, как соотносятся в таких конструкциях валентности главного (описываемого) и подчиненного предикатов — т. е., в частности, каковы условия и возможности кореферентности и эллипсиса реализующих эти валентности единиц в тех случаях, когда это зависит от ограничений, налагаемых самой конструкцией [4]. Такая информация релевантна, например, для английских глаголов типа *consider*, *think*, *find*, *want*, *make*, *see*, *feel* и т. п., имеющих то общее свойство, что в качестве одного из их актантов может выступать прилагательное или глагол [ср.: *We consider their amplifier* (*to be*) *essentially similar to ours*; *She was found guilty by the jury*; *I want him to specialize in electronics*; *They saw us enter*(*ing*) *the building* и т. д.]. Данное свойство может служить основанием для объединения их в общий лексико-грамматический класс, которому будет сопоставлена словарная статья, содержащая указание о том, что единица, реализующая первую валентность прилагательного (resp. «подлежащную» валентность глагола), подчиненного описываемому в этой статье слову (= члену описываемого в ней класса), всегда кореферентна его объекту (= пациенсу; синтаксически он может выражаться и подлежащим — см. второй из приведенных здесь примеров) и в синтаксической структуре эллиптируется.

---

[3] Попытка исчисления основных типов синтагматических сведений подобного рода сделана в [2] в виде описания «общей структуры» словарных статей, используемых в системе АРАП.

[4] О типах кореферентности такого рода см., например, в [17].

Другие типы сложных синтагматических сведений, помещаемых при нашем подходе в словарные статьи лексических и грамматических единиц, а также способы их формальной записи иллюстрируются, например, в работах [18—20].

Как видим, в рамках такого подхода для любой неидиоматичной единицы определенного языкового уровня, не являющейся внутренне элементарной (т. е. допускающей синтагматическое членение на более мелкие единицы), все основные аспекты ее сочетаемости на этом уровне могут быть адекватно представлены в виде суммы [5] валентностей данного уровня, приписанных в лингвистическом описании элементарным компонентам рассматриваемой единицы, вкупе со сведениями о способах реализации и соотношении этих валентностей, также фиксируемых при соответствующих элементарных единицах. Тем самым, используя понятие валентности и дифференцируя валентности на типы в зависимости от того, сочетаемость единиц какого языкового уровня они характеризуют, можно обеспечить практически исчерпывающее описание языка и его функционирования на всех таких уровнях. В этом смысле «словоцентрический» подход к языку при данной его интерпретации можно называть также «валентностным» подходом к лингвистическому описанию.

Другой тип взаимосвязей, учет которых имеет существенное значение для минимизации инвентаря исходных единиц лингвистического описания,— это взаимосвязи, объединяющие такие свойства языковых единиц, которые относятся либо только к их внешней сочетаемости, либо только к их внутренней структуре. Поскольку при отсутствии корреляций между сочетаемостью и структурой разных единиц обобщение их повторяющихся свойств может идти лишь путем формирования соответствующих грамматических классов, учет подобных взаимосвязей должен служить для минимизации инвентаря уже самих этих классов. Для этого сведения обо всем множестве свойств, которые предстают как взаимосвязанные в указанном выше смысле в пределах одной и той же группы единиц, следует включать в описание (статью) одного и того же грамматического класса, охватывающего всю эту группу единиц.

Здесь возникает, однако, та проблема, что при образовании того или иного класса языковых единиц и вынесении в озаглавленную его именем грамматическую статью всех общих для них сведений зачастую обнаруживается немало сходных с ними единиц, для которых большинство из этих сведений также справедливы, но отдельные из них (чаще всего разные для разных единиц) — ложны [6] (скажем, ряд слов, по большинству своих свойств примыкающих к глаголам, может не допускать некоторых глагольных категорий, другие могут не сочетаться с обычным типом подлежащего и т. д.).

Формировать для описания общих свойств таких единиц самостоятельные грамматические классы, увеличивая тем самым их инвентарь, в свете требований компактности не всегда может быть целесообразно. Не вполне удовлетворителен при словоцентрическом подходе и традиционный спо-

[5] Слово «сумма» употреблено здесь не совсем в том смысле, который оно имеет в математике: как было показано выше (см. пример с граммемой причастия), при формировании требуемой «суммы» некоторые из ее «слагаемых» могут в отдельных случаях модифицироваться под влиянием других, так что процедура «суммирования» оказывается осложненной соответствующими модифицирующими операциями. Однако чаще всего речь идет действительно о сумме — как теоретико-множественном объединении исходных лингвистических сведений.

[6] Ю. А. Шрейдер говорит в этой связи о «почти-правилах», которые верны «почти для всех» единиц определенного класса и «почти верны» для всех этих единиц [21].

соб перечисления в грамматическом описании «исключений из правил», так как это противоречит основному принципу данного подхода («от словаря к грамматике», а не наоборот). С точки зрения этого принципа, более последовательно не в грамматике указывать, какие конкретные единицы не подчиняются данному общему правилу, а в словаре отмечать, какие элементы информации из релевантных для данной единицы грамматических статей к ней не относятся (или относятся в модифицированном виде).

Скажем, сведения о том, что в конструкции, где русское существительное сочетается с числительным *два*, *три* или *четыре*, стоящим в именительном падеже, для определяющих это существительное прилагательных не действует стандартное правило согласования с определяемым существительным по числу (и теряет свою обязательность правило согласования по падежу: падеж прилагательного может быть здесь как родительным, так и именительным), имеет смысл включать не в статью грамматического класса «прилагательное», которая будет содержать только стандартные согласовательные правила, но либо в статьи данных конкретных числительных, либо в статью очень частного лексико-грамматического класса, объединяющего ровно эти три числительных.

В формальном отношении возможность такого размещения информации об «исключениях из правил» — как и отмечавшаяся выше возможность модификации сведений, приписанных одному из компонентов некоторой неэлементарной единицы, при наличии соответствующих указаний в статье другого ее компонента (см. выше о свойствах граммемы *part*), — это прежде всего возможность включения в словарные статьи, помимо прочих типов сведений, также требований об «отмене» тех или иных правил, содержащихся в других статьях. Чтобы обеспечить такую возможность, достаточно ввести в формализованный язык, используемый для записи лингвистической информации, специальный метасимвол (в последней версии лингвистического обеспечения системы АРАП в этой роли выступает символ *СНЯТЬ*), требующий игнорировать правила, отвечающие указанному при данном метасимволе образцу, при их обнаружении среди информации, релевантной для той единицы, в описании которой этот метасимвол фигурирует.

Второе из двух выделенных нами требований оптимальности формализованного лингвистического описания — требование максимальной простоты обращения с ним при обработке с его помощью конкретных текстов — применительно к интересующему нас соотношению словаря и грамматики подразумевает прежде всего простоту их соотнесения между собой, согласования заданной в них информации при релевантности ее для одной и той же реальной текстовой единицы. Излагаемый подход к грамматике как к набору лингвистических сведений, отличающихся от словарных только большей степенью повторяемости, позволяет обеспечить это следующим образом.

Любое правило, будь оно словарным или грамматическим, при рассматриваемом подходе можно формулировать так, как если бы оно относилось к одной конкретной словоформе — той, которая при обработке текста окажется содержащей данный лексический, словоизменительный и т. п. элемент или получит признак данного грамматического класса. Соответственно, как словарные, так и грамматические статьи могут строиться при этом по единому образцу, опираясь на одну и ту же символику (в прикладных описаниях — на один и тот же формальный язык и один и тот формат правил), а также на одну и ту же схему структурирования лингвистической информации (определяемую требуемым способом ис-

пользования этой информации при обработке текстов). В результате вся грамматика может быть представлена в виде своего рода «грамматических словарей»: словаря словоизменительных и словообразовательных показателей (описываемых вполне аналогично лексическим единицам); словарей грамматических классов разных типов и т. д. [7].

Таким образом, при нашем подходе описание лексики и грамматики оказывается полностью единообразным, и соотнесение разных лексических и грамматических статей, релевантных для той или иной текстовой словоформы, в стандартных случаях может быть сведено просто к теоретико-множественному объединению имеющейся в них информации в рамках отдельных зон и разделов общей для всех типов статей структурной схемы. Применительно к прикладным задачам это означает, среди прочего, что для процедуры и результатов функционирования системы, опирающейся на данный способ организации лингвистического описания, вообще говоря, безразлично, из словаря или из грамматики извлечена та или иная конкретная информация: для обработки этой информации в обоих случаях смогут использоваться одни и те же управляющие и интерпретирующие алгоритмы. Тем самым создается также принципиальная возможность автоматической оптимизации соотношения лексического и грамматического компонентов лингвистического описания непосредственно в ходе работы системы (например, по мере накопления количественных данных об обрабатываемых текстах) путем перераспределения имеющейся информации между двумя компонентами описания.

Несколько более сложным будет при описываемом подходе соотнесение между собой словарной и грамматической информации для тех единиц, для которых в силу их лексических особенностей действительны не все сведения из релевантных для них грамматических статей (см. выше). В подобных случаях требование компактности лингвистического описания и требование простоты работы с ним вступают между собой в конфликт, оптимальный способ разрешения которого во многом зависит от технических условий реализации всей системы и в этом отношении входит скорее в компетенцию математиков и программистов, а не лингвистов.

Итак, с позиций словоцентрического подхода к лингвистическому описанию не словарь дополняет грамматику, задавая значения грамматических признаков, а грамматика содержит в себе расшифровку тех сокращенных обозначений, которые вводятся в словаре во избежание дублирования информации. Как мы показали, такая смена угла зрения дает ряд преимуществ прикладного плана. Назовем в заключение еще некоторые следствия из этого подхода, имеющие, на наш взгляд, также определенное общеязыковедческое значение.

Прежде всего следует отметить, что рассматриваемый подход расширяет сферу применимости и словаря, и грамматики: в словаре при этом вполне допустимы, например, синтаксические правила, если они специфичны только для отдельных лексем; в грамматику естественным образом включается, среди прочих, семантический отдел, описывающий общие свойства лексико-семантических классов слов, и т. д.

---

[7] В таком формате было последовательно представлено уже лингвистическое обеспечение системы АРАП [2—6]. В настоящее время он принят также в ряде других прикладных систем, разрабатываемых в СССР. В области «человеко-ориентированных» лингвистических описаний аналогичный подход предложен для описания русского словообразования В. В. Лопатиным и И. С. Улухановым в докладе «Мотивированное слово в описательной грамматике и в словаре служебных морфем», сделанном на Всесоюзной конференции «Слово в грамматике» (Звенигород, 1981 г.).

Обогащается и методическая основа описания лексики и грамматики, поскольку любое лингвистическое средство, выработанное в какой-либо из данных двух сфер, применимо при этом и к другой сфере. Например, понятия толкования, модели управления и т. п., возникшие первоначально как инструмент описания лексики, естественным образом переносятся и на описание морфолого-грамматических категорий. Выше мы уже показывали на примере английского пассива, что в описания залоговых морфем, в частности, удобно непосредственно включать синтаксическую модель управления для первых двух глагольных валентностей — т. е. сведения о допустимых для них способах их поверхностного оформления при реализации в тексте. В статье компаратива, как это демонстрировалось в [5], должна указываться, помимо синтаксической, также специфическая для компаративных форм прилагательных семантическая модель управления (определяемая набором переменных в толковании компаратива как такового). При этом в подобном описании может использоваться классификация языковых единиц как по частям речи, так и по членам предложения (такого рода классы, т. е. понятия типа *подлежащее*, *дополнение*, *определение* и т. п., уже фигурировали в приводившихся выше примерах описания способов реализации в тексте тех или иных глагольных синтаксических валентностей, описываемых в статьях, сопоставленных залоговым морфемам),— что позволяет шире привлекать в целях формализованного лингвистического описания результаты, сформулированные в терминах «человеко-ориентированной» лингвистики.

Повышается при излагаемом подходе также гибкость грамматического описания, так как рассмотренный метод грамматической классификации не предполагает таких ограничений, как, скажем, требуемая некоторыми авторами обязательная иерархичность грамматических классов или их обязательная противопоставленность по общему признаку. Так, в области семантической грамматики классификация слов может вестись не только по известному родо-видовому принципу, но и, например, по сходству семантических интерпретаций их валентностей.

Если первый способ классификации удобен преимущественно для описания селекционных ограничений и правил стандартной полисемии (таких, как приобретение смысла «единицы измерения» словами, обозначающими вместилище или замкнутое пространство, в контекстах типа *стакан чаю*, *воз сена*, *мы видели целую поляну таких цветов* и т. п.), то сочетание его с валентностно-семантической классификацией позволяет задавать также общие правила восстановления эллипсиса, стандартные синонимические трансформации и т. п., в том числе и для таких случаев, которые, казалось бы, с трудом поддаются обобщению и формализации.

Так, этими средствами можно описать разницу в семантической обработке (в частности, при переводе) японских фраз:

(1)	*Кэганин*	*ва*	*тоатэ*	*га*	*окурэтэ симатта*	
	Раненый	показатель темы или им. падежа	(медицинская) помощь	показатель ремы и/или им. падежа	опоздал	

⇒ *Раненому опоздали оказать помощь*, но не * *Раненый опоздал с помощью* (как это предлагается в словаре [22]).

(2)	*Гакусэй*	*ва*	*сакубун*	*но*	*тэйсюцу*	*га*	*окурэта*
	Студент	показатель темы или им. падежа	сочинение	род. падеж	подача, предъявление	показатель ремы и/или им. падежа	опоздал

⇒ *Студент опоздал подать сочинение* (но не * *Студенту опоздали подать сочинение*).

Здесь применимы, например, следующие правила (в рамках настоящего изложения они приводятся, естественно, в неформальном виде):

1. В японской конструкции *X ва Y га Z*, где *X* — непредикатная именная группа, *X* — именная группа с предикатным значением, *Z* — группа глагола, единица *X* семантически заполняет ту из валентностей предиката *Y*, семантическая интерпретация которой наиболее полно согласуется с толкованием единицы *X*. При отсутствии оснований для предпочтения какой-либо из валентностей предиката *Y* считается, что *X* заполняет его субъектную валентность.

2. Семантическая интерпретация валентности W_i согласуется с толкованием единицы *X* более полно, чем семантическая интерпретация валентности W_j, если при сопоставлении лексико-семантических классов, включающих единицу *X*, с одной стороны, и валентностно-семантических классов, включающих валентности W_i и W_j, с другой стороны, с учетом степени конкретности/абстрактности сопоставляемых классов, обнаруживается, что для валентности W_i совпадение соответствующих классов имеет место на более конкретном уровне, чем для валентности W_j.

В примере (1) *X* = *кэганин*, *Y* = *тэатэ*. Лексему *кэганин* «раненый» можно истолковать, например, как «человек, находящийся в таком состоянии, особенности которого препятствуют его нормальной жизнедеятельности (и нуждаются в устранении)»; лексему *тэатэ* «(медицинская) помощь» — как «действия человека W_1 (субъекта), имеющие целью устранить или уменьшить те особенности состояния человека W_2 (объекта), которые препятствуют его нормальной жизнедеятельности».

Если эти толкования представить в терминах формализованного семантического языка, предложенного в [7], то по ним с помощью имеющихся в [7] формальных правил можно построить описания интенсионалов всех семантических классов, в которые могут, при данных толкованиях, входить толкуемые единицы и/или их валентности. В частности, лексема *кэганин* входит при этом в лексико-семантические классы, неформально описываемые как (а) «человек», (б) «человек, особенности состояния которого препятствуют его нормальной жизнедеятельности и должны быть устранены (= нуждаются в устранении)» и др. Валентность W_1 лексемы *тэатэ* входит в валентностно-семантические классы (а′) «человек» и (в) «человек, осуществляющий действия, имеющие целью устранить...»; валентность W_2 — в классы (а′) и (б′) «человек, особенности состояния которого препятствуют его нормальной жизнедеятельности и должны быть устранены (или уменьшены, согласно целям действий человека W_1)».

Легко видеть, что для валентности W_1 совпадение включающих ее валентностно-семантических классов с лексико-семантическими классами, в которые входит лексема *кэганин*, наблюдается лишь на уровне наиболее общих из имеющихся классов — (а) и (а′). Что же касается валентности W_2, то здесь совпадают (с точностью до компонентов, стоящих в скобках) значительно более конкретные классы (б) и (б′). Таким образом, по правилу 1, лексема *кэганин* в разбираемом примере семантически соответствует объектной, а не субъектной валентности лексемы *тэатэ*, что и эксплицируется в русском переводе.

Для второго примера, где в роли *X* выступает лексема *гакусэй* «студент», а в роли *Y* — группа *сакубун но тэйсюцу* «подача сочинения», таких четких семантических предпочтений не прослеживается. Поэтому действует вторая часть правила 1, и *гакусэй* интерпретируется как субъект предиката *тэйсюцу* («подача»).

В описании нашего типа находит свое место большинство понятий,

широко используемых в современных структурно-семантических исследованиях, в том числе «глубинные падежи» Ч. Филлмора [23] (если учесть связь смысловой синтагматики слова с его толкованием [7, с. 249—251], это по существу условные обозначения очень общих валентностно-семантических классов слов), аппарат лексических функций [13, с. 19—26] и др.

Существенно для описываемого подхода также то, что в его рамках отсутствует абсолютизация границы между словарем и грамматикой и можно говорить о большей или меньшей грамматичности того или иного явления в зависимости от количественных, объективно измеримых данных о его повторяемости в текстах или в системе языка. Тем самым, поскольку повторяемость, частотность языковых фактов служит одним из важных критериев их лингвистической нормативности, этот подход в явном виде утверждает и обосновывает то традиционное представление, что понятие грамматики тесно связано с понятием языковой нормы. Вместе с тем постепенность перехода между словарем и грамматикой и значимость здесь статистических факторов согласуется, по-видимому, с некоторыми механизмами языкового развития, объясняя, например, бóльшую устойчивость по отношению к процессам грамматической аналогии тех слов, которые характеризуются также и большей частотностью, возможность влияния на грамматический строй языка массовых заимствований в него однотипной лексики и т. д.

Таким образом, предложенная трактовка противопоставления словаря и грамматики с позиций словоцентрического подхода к лингвистическому описанию оказывается достаточно универсальной и продуктивной, позволяя охватить и непротиворечивым образом увязать между собой как различные формализованные средства и методы построения структурно-грамматических описаний преимущественно прикладной направленности, так и многие традиционные лингвистические взгляды и понятия, выработанные в связи с соответствующими проблемами теоретическим языкознанием, ориентированным на человека, а не машину. Думается, что такую совместимость в рамках данной трактовки собственно прикладных и общеязыковедческих принципов можно считать доводом в ее пользу, так как оптимальной для прикладных целей может быть, очевидно, лишь та методология, которая в полной мере использует достижения фундаментальных исследований в той же области науки — в нашем случае, в области общего языкознания, — и наоборот, серьезные теоретические разработки не могут игнорировать проблемы, выдвигаемые прикладными задачами, но должны включать в себя принципиальные основы их решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Кулагина О. С., Мельчук И. А., Эрастов К. О.* Об одной возможной системе машинного перевода // Предв. публ. проблем. группы по экспериментальной и прикладной лингвистике. Вып. 21. М., 1971.
2. *Шаляпина З. М.* Англо-русский многоаспектный автоматический словарь (АРМАС) // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 17. М., 1974.
3. Отчет № 1 по теме «Создание англо-русского словаря по радиоэлектронике с грамматическим обеспечением» хоздоговора между ВИНИТИ ГКНТ при СМ СССР и АН СССР и МГПИИЯ им. М. Тореза. Отв. исп. З. М. Шаляпина. М., 1973.
4. *Шаляпина З. М.* Семантико-синтаксический анализ в системе англо-русского автоматического перевода (АРАП) // Предв. публ. проблем. группы по экспериментальной и прикладной лингвистике. Вып. 47. М., 1974.
5. *Шаляпина З. М.* Система АРАП: словарь, грамматика, и их использование при автоматическом анализе // Международный семинар по машинному переводу. Москва, 25—27 ноября 1975 г.: Тез. докл. и сообщ. М., 1975.

6. *Шаляпина З. М.* Многоаспектный автоматический словарь с грамматическим обеспечением и его использование при автоматическом анализе текстов // Вопросы кибернетики. Формализация языковых данных. Вып. 17. М., 1977.
7. *Шаляпина З. М.* Формальный язык для записи толкований слов и словосочетаний // Проблемы кибернетики. Вып. 36. М., 1979.
8. *Шаляпина З. М.* Макет лингвистического обеспечения системы японско-русского автоматического перевода ЯРАП: общая структура и основные компоненты. М., 1980.
9. *Shalyapina Z. M.* Automatic translation as a model of the human translation activity // Intern. forum on information and documentation. 1980. V. 5. № 2.
10. *Shalyapina Z. M.* Problems of formal representation of text structure from the point of view of automatic translation // COLING 80: Proc. of the 8th Intern. conf. on computational linguistics. Sept. 30 — Oct. 4, 1980. Tokyo, 1980.
11. *Апатов В. М.* О двух подходах к выделению основных единиц языка // ВЯ. 1982. № 6.
12. *Richens R. H., Booth A. D.* Some methods of mechanized translation // Machine translation of languages. N. Y., 1955. P. 49 ff.
13. *Жолковский А. К., Мельчук И. А.* К построению действующей модели языка «Смысл ⇔ Текст» // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 11. М., 1969.
14. *Падучева Е. В.* Некоторые проблемы моделирования соответствия между текстом и смыслом в языке // ИАН СЛЯ. 1975. № 6. С. 557.
15. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.
16. *Шаляпина З. М.* Коммуникативная организация предложения: функциональное содержание и средства выражения // Восточное языкознание: грамматическое и актуальное членение предложения. М., 1984.
17. *Шаляпина З. М.* О двух типах условий кореферентности валентностей в предикатно-актантных конструкциях // Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985.
18. *Чехов А. С.* Местоимение *it* в англо-русском многоаспектном автоматическом словаре // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 17, М., 1974.
19. *Афонасьева Л. А., Никанорова Т. Г.* Синтаксическое представление абсолютной конструкции для целей англо-русского перевода // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 19. М., 1981.
20. *Афонасьева Л. А., Никанорова Т. Г.* Синтаксическое описание глагольных *-ing* форм для целей автоматического анализа английского текста // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 20. М., 1980.
21. *Шрейдер Ю. А.* Что такое математическая модель языка. М., 1971.
22. Новый японско-русский словарь. Токио (Хакуюся), 1974.
23. *Fillmore Ch.* The case for case // Universals in linguistic theory. N. Y., 1968.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1991

© 1991 г.

МИГАЧЕВ В. А.

О РЕКОНСТРУКЦИИ МОРФОНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

(*На материале германских языков*)

Со времени появления термина «морфонология» прошло более полувека, однако само это понятие все еще нуждается в более четкой дефиниции. Достаточно сравнить несколько представленных в разное время определений, чтобы убедиться, что в понятие «морфонология» разные авторы вкладывают не всегда одно и то же. Общим, что связывает все толкования этого феномена, является, по-видимому, следующее: морфонология — это нечто между фонологией и морфологией. Неопределенность термина «морфонология» способствовала размыванию границ исследуемых объектов: под морфонологическими объектами сегодня понимается любое чередование — коррелятивы и дивергенты, просодика и акцентные отношения, внешнее и внутреннее сандхи и др.

Предметом нашего рассмотрения являются морфонологические процессы, имевшие место в диахронии германских языков. Прежде всего хотелось бы остановиться на некоторых общих проблемах морфонологии.

В настоящее время идею уровневого моделирования языка, кажется, можно признать общепринятой. Этот метод характерен для всех направлений науки — от моделирования процессов управления до моделирования Вселенной в астрономии и генетического кода в биологии. Не оспаривая онтологического характера уровневой модели, мы все же склонны рассматривать ее как один из методов анализа такого сложного и противоречивого феномена, каким является язык. К методике уровневого моделирования мы обратились не случайно: результаты многочисленных исследований в рамках этого направления свидетельствуют о достаточной оперативности указанной модели в диахронических изысканиях (ср. работы Э. Бенвениста, К. Куриловича, Ф. ван Кутсема, Г. Хёнигсвальда и пр.). Кроме того, исследуя морфонологические процессы в диахронии [в отличие от синхронных динамических процессов в описательной технике (item and process)], нам пришлось дополнить эту модель введением понятий межуровневых «прямых» и «опосредствованных» связей, превращающих структуру языка в функционирующую систему. Рассматривая морфонологию как взаимодействие двух близлежащих уровней с вычленением в диахроническом морфонологическом процессе активного и пассивного агенсов, мы не считали необходимым использование понятия «модуль», оперативность которого в диахронических исследованиях весьма проблематична [1].

Несмотря на простоту и элегантность построения, уровневая модель неоднократно подвергалась критике, особенно со стороны исследователей-синхронистов [2]. Основными недостатками этой модели в том виде, какой она была кодифицирована в работах Э. Бенвениста, С. Лема и других лингвистов [3—7], являются следующие: 1) неопределенность инвентаря

уровней, составляющих стратификацию модели; 2) спорный характер взаимоотношений между единицами уровней; 3) композиционная недостаточность модели, не способной отразить сложную картину взаимообусловленности горизонтальных уровней. Первый пункт не подлежит обсуждению в данной работе, т. к. уровни фонологии и морфологии вычленяются всеми без исключения авторами. Предметом дискуссии является вычленение уровней, находящихся выше лексемного: фраземного (греч. φράσις «предложение») и логемного (греч. λόγος «текст, высказывание») [8].

Проблема включения тех или иных уровней в стратификационную модель упирается в конечном счете в проблему вычленения внутриуровневых единиц и их межуровневых отношений. Положение о том, что в иерархически организованной структуре уровней каждая единица состоит из единиц низшего уровня и является одновременно строительным материалом для единиц вышестоящего уровня, основано на выделении конститутивных, репрезентативных и интеграционных отношений в качестве определяющих. С точки зрения синхронной дескриптивистики трудноразрешимыми оказываются целый ряд проблем. Речь идет, в частности, о членимости текста, идентификации морфем, поиске инварианта морфемы и исходного алломорфа, о вопросах фонологических границ алломорфирования, о соотношении уровневых значений и др. Неоднозначно решаются эти проблемы и в рамках иных теорий и школ [3—15]. Изменение целей исследования и терминологии («модулярность», «модуль», «интерфейс», «естественность» и пр.) пока не приблизило нас к решению этих чрезвычайно важных для синхронных и общетеоретических исследований проблем [1].

Для диахронической морфонологии, где непосредственным объектом изучения является морфонологический процесс взаимодействия двух агенсов — фонологии и морфологии, указанные проблемы синхронной дескриптивистики оказываются несущественными: конкретные реализации межуровневой взаимосвязи, сами морфонологические альтернации отходят на второй план, о чем пойдет речь ниже. Любые чередования, вызванные проведением определенных фонологических тенденций на определенном синхронном срезе языкового развития, меняются и трансформируются от среза к срезу, от ареала к ареалу, от этноса к этносу. Поэтому не субстанции альтернаций, не их диахронические корреспонденции, не границы варьирования алломорфов должны занимать мофонолога-диахрониста, а лишь процессы 1) втягивания фонологических альтернаций в морфологию; 2) использования этих альтернаций для дифференциаций и маркирования грамматических значений; 3) устранения «пустых», грамматически незначимых альтернаций по всему парадигматическому ряду; 4) возникновения или исчезновения грамматических категорий, если это связано со взаимодействием уровней.

Указанные моменты представляют собой цель и объект морфонологии диахронической в отличие от морфонологии синхронной. Наиболее «работающей» в этом отношении оказывается у р о в н е в а я м о д е л ь структуры и системы языка с учетом последующих модификаций.

Рассмотрение двух первых недостатков уровневой модели подвело нас к мысли о композиционной недостаточности модели. Каждому уровню соответствует своя уровневая единица — меризм, фонема, морфема, лексема, фразема (единица синтаксиса) и логема (единица текста). Это абстрактные единицы уровня, обладающие определенным уровневым значением. Внутри уровней наличествуют конкретные реализации указанных единиц — фоны, морфы, лексоны, фразоны, логоны, а также набор реализаций, со-

храняющих уровневое значение, но с варьирующимися формами — аллофоны, алломорфы, аллолексы, аллофразы, аллологи (в «онической» — терминологии — аллолексоны, аллофразоны, аллологоны).

Внутриуровневое значение определяется тактическими правилами: не всякая последовательность меризмов, фонем, морфем, лексем, логем значима. К примеру, набор меризмов + диффузность,+ прерванность,— напряженность,+ велярность не есть фонема; последовательность фонем /p, t, k/ не является морфемой русского языка. В свою очередь русск. **столой*, нем. **des Löwes*, англ. **childs* являются нарушением правил морфотактики; аналогичное можно сказать в отношении сюрреалистических примеров о «зеленых идеях», которые «яростно спят», т. е. примеров с явным нарушением лексотактики. Диалог типа: «Какая сегодня погода? — Нет, я не приду!» в принципе может иллюстрировать несоблюдение правил фразотактики. Нетрудно заметить, что правила тактики любого уровня детерминируются значением уровня, расположенного на ступень выше. Именно оно определяет «отмеченность»/«неотмеченность» любой последовательности единиц предыдущего уровня.

Так или иначе, представляя структуру языка как строгое архитектурное сооружение, состоящее из горизонтальных уровней, мы не можем не задать себе вопроса о том, что же обеспечивает устойчивость и функциональность этой конструкции. При исследовании материала по горизонтальным уровням всегда остается что-то неуловимое, не поддающееся описанию в привычных терминах традиционного представления о языке. Логически следует утверждение: эти уровни должны быть детерминированы, обусловлены внутренними связями. Эти связи проявляются уже в тактических правилах. Очевиден и тот факт, что для познания феномена языка важнее оказываются не внутриуровневые отношения, а отношения межуровневые [16]. Следует указать на наличие иных связей, которыми пронизана вся структура языка и которые как бы «оживляют» структуру, превращая ее тем самым в функционально значимую систему.

Детерминация двух близлежащих уровней очевидна. Типы отношений между двумя близлежащими уровнями можно назвать прямыми. Существуют с очевидностью и опосредованные, непрямые связи, скажем, между фонемным и лексическим уровнями, морфемным и фраземным и т. д., т. е. между уровнями, которые находятся на некотором удалении друг от друга в пространственной модели языка. Интересна реализация этих связей в диахронии: достаточно проанализировать такие примеры, как русск. *челюсть — челн — клык — колоть*, восходящие к одному индоевропейскому корню **kel-/ kol-*, где чисто фонетические альтернации использованы системой для создания новых лексических единиц. Аналогично: русск. *коса — чесать* от **kes-/*kos-*. Подобными явлениями (как в синхронии, так и в диахронии) могла бы заниматься лексофонология. Следует особо подчеркнуть важность морфонологических, лексофонологических и фразоморфемных связей и в диахронии. Их исследование позволяет проследить процесс совершенствования самой системы, ее диахроническую экономность, обусловленную переориентацией единиц горизонтальных уровней под влиянием прямых и опосредствованных связей [17].

Наличие в структуре языковой модели прямых и опосредствованных связей функционально «оживляет» ее и превращает в систему, подобную той, которая характерна для функционирования живого организма, состоящего в принципе из неживых структурно организованных элементов и частей; лишь эти связи (а для нас это в первую очередь морфонология) делают модель функционально значимой. В этом и заключается вся важ-

ность изучения этих связей, их особенностей, т. к. только они превращают языковую структуру в реальный объект.

Определяя подобным образом место морфонологии в структуре и системе языка и тем самым ее системный паспорт, мы можем перейти к исследованию этого феномена непосредственно. Итак, морфонология — это тип прямых, детерминированных, функционально значимых связей и отношений между уровнями фонологии и морфологии. Это элемент системы языка, а не структуры. Однако исследование не может остановиться на констатации взаимодействия уровней, ибо остается невыясненной сама природа этих взаимодействий. Установление взаимосвязи лишь предваряет анализ. Под взаимодействием уровней следует понимать в з а и м н ы е изменения на обоих уровнях, которые выступают как две противоположные стороны одного процесса. Этот процесс поддается разложению на однонаправленные составляющие: при этом возможным оказывается определение особенностей каждой из сторон, вскрытие характера и направления их взаимодействия [18].

Взаимодействие всегда предполагает активную и пассивную стороны. Следует отметить, что эти качества уровней не константны: в различных условиях пассивный уровень может стать активным и наоборот. Различная активность взаимодействующих сторон является одним из основных источников диахронического развития языка: в процессе развития потенциал сторон может изменяться: морфологический уровень, будучи ведущим, может стать относительно пассивным, уступая приоритет фонологии.

Интересно отметить, что взаимодействие уровней с синхронной точки зрения характеризуется относительным равновесием. В диахронии эти уровни оказываются факторами, обусловливающими движение и развитие самих себя. Этим, по-видимому, и объясняется феномен диахронического процесса в языке — творящей и разрушающей силы. Исследование этого процесса изменений в обоих уровнях предполагает ответы на следующие вопросы: почему возникает новое, чем оно обусловлено, чем определяется его существование, почему это новое исчезает или сохраняется, какова его функциональная значимость, что является импульсом морфонологического процесса и т. д. Подобное представление процесса взаимодействия уровней фонологии и морфологии в системе языка практически снимает основной тезис младограмматиков о конструктивном начале грамматики и деструктивности фонетики.

Все эти положения можно проиллюстрировать многочисленными примерами. Остановимся на одном из них, а именно на проблеме утраты простого прошедшего в некоторых южнонемецких диалектах. Исследователи южнонемецких диалектов неоднократно отмечали, что основной особенностью формообразования глагола является утрата простого прошедшего с заменой его сложной описательной формой перфекта, образуемой с помощью вспомогательных глаголов *haben*, *sein* или описательными формами с *tun*. Исчезновение форм простого прошедшего на диалектологической карте не имеет общей границы, но образует с юга на север несколько ступеней от полного отсутствия этих форм до их полного сохранения [в Швейцарии, Эльзасе, Баден-Вюртенберге, Лотарингии целиком утрачено простое прошедшее; в Рейнпфальце, Рейнгессене, Штаркенбурге эти формы сохраняются лишь от некоторых вспомогательных глаголов; в более северных диалектах (средне- и нижнефранкский, верхне- и нижнегессенский, тюрингский, верхнесаксонский) простое прошедшее сохранилось полностью].

В разное время давались неодинаковые объяснения этого явления:

Г. Нагль усматривал здесь элементы определенной ментальности, Г. Вундерлих — семантическую близость категорий перфекта и претерита. Г. Райс предполагал чисто фонетическое объяснение: закономерный процесс выпадения безударного гласного *-e-* привел к совпадению многих форм индикатива претерита с формами индикатива презенса. Эта точка зрения была принята и В. М. Жирмунским: «Как показывает географическое распространение этого явления, его причиной следует, по-видимому, считать отпадение конечного *-e*. Результатом этого отпадения явилось фонетическое совпадение прошедшего и настоящего прежде всего в слабых глаголах в ед. 3: срв. наст. *spielt* = прош. *er spielt*» [19]. Аналогичное объяснение было повторено в работе И. Даль [20].

Представляется, что ни психологическая, ни грамматическая, ни чисто фонетическая интерпретации рассматриваемого явления не вскрывают его системной сути. При объяснении его причин следует исходить из системы языка, из взаимодействия его фонологической и морфологической структур, иными словами, необходимо рассмотреть проблему с точки зрения морфонологических процессов, имевших место в диахронии германских языков.

Все предыдущие исследователи отмечали, что исчезновение простого прошедшего с самого начала охватывало в большей степени слабые глаголы. Позднее эта тенденция распространилась и на сильные глаголы, по-видимому, под влиянием контекста. Речь идет об унификации временных форм в однородном тексте. В одной из своих работ мы пытались показать, что во всех южнонемецких диалектах имела место унификация глагольных парадигм. Это выразилось прежде всего в выравнивании вокализма и консонантизма основ, в нивелировании разнобоя в гласных и согласных, вызванного иррелевантными с точки зрения морфологии ассимилятивными процессами [21].

Тенденция к распространению основообразующих суффиксов вторичных глаголов на презентную парадигму, на весь парадигматический ряд, получившая столь широкое распространение в готском и древнеисландском, была практически элиминирована в южнонемецких диалектах. Претеритальные формы слабых глаголов (как краткосложных, так и долгосложных основ) были представлены в западногерманских языках как архетип без основообразующего элемента [22]. В основах с исходом на согласный произошел стык согласного с дентальным формативом, что привело к образованию большого количества алломорфов, а это в свою очередь вело к «разрыхлению» парадигмы.

Особенно следует остановиться на глаголах с основой на дентальный: здесь произошло упрощение групп «дентальный + дентальный», что вызвало обезличивание плана выражения форматива прошедшего времени. Др-в.-нем глагол *ambahten* «служить» (гот. *andbahtjan*, *andbahtida*, *-dēdun*) имеет следующие формы: презенс — *ambahtiu*, претерит — *ambahta*, оптатив претерита — *ambahti*. Нередки формы с основообразующим суффиксом (*ambahtita*). В образованиях типа *ambahta* — *ambahti* морфологическую нагрузку несет не дентальный форматив, а флексия.

Подобное положение сложилось в парадигматических рядах глаголов типа *bereiten* «готовить», *bluoten* «цвести», *brahten* «звучать» и др. По нашим подсчетам, в словаре Ф. Равена [23] содержится около 150 основных, чрезвычайно частотных глаголов с исходом на дентальный, не считая префиксальных производных (число глагольных префиксов также велико: *ana-*, *bi-*, *inbi-*, *gi-*, *anagi-*, *ingi-*, *zuogi-*, *hinanazi-*, *zusamene-*, *zusamenegi-*, *zuo-heften*).

Ситуация, сложившаяся в результате «обезличивания» дентального форматива как показателя прошедшего времени, могла иметь следствием или разрушение претеритальной парадигмы слабых глаголов, или усиление морфонологических характеристик показателя прошедшего времени. Оба эти процесса имели место в истории западногерманских языков. Южные диалекты избрали первый путь — элиминирование категории слабого прошедшего времени и замену его описательными конструкциями. Иными словами, в сложном морфонологическом процессе взаимодействия фонологического и морфологического уровней активной оказалась фонология, приведшая к устранению тенденции и распространению основообразующих элементов на весь парадигматический ряд и к синкопированию этих элементов в тех случаях, где они ранее появились в претеритальных формах (из презентных парадигм). В средне- и севернонемецких диалектах (шире — в древнеанглийском, древнесаксонском, древнефризском) развитие пошло по второму пути: в этих диалектах была более отчетливо дифференцирована морфологическая значимость дентального форматива: *ratta* > *ratita* > *retita*; *ahta* > *ahtitun*. Так была сохранена категория простого прошедшего. В этих диалектах активной оказалась морфология: языковое развитие пошло на морфологическом уровне.

Пример с утратой прошедшего в некоторых южнонемецких диалектах убеждает в том, взаимодействие фонологического и морфологического уровней ведет к существенным изменениям в структуре языка и что у системы языка всегда есть альтернатива выбора в морфологическом процессе: результаты развития зависят от степени активности или пассивности того или иного уровня.

Результаты межуровневых отношений фонологии и морфологии реально наблюдаемы в языке: речь идет о разнооформленности морфем типа русск. *князь — княжна — княгиня*, нем. *ziehen — zog — gezogen* и др. Традиционно называемые альтернациями, такие формы обычно со времен И. А. Бодуэна де Куртенэ классифицируются как значимые и незначимые. Это разделение очень важно: игнорирование его привело к превращению морфонологии в нечто бескрайнее с точки зрения объекта исследования. В качестве морфонологических рассматриваются практически все чисто фонологические трансформации лишь только потому, что эти фонологические процессы происходят внутри морфем и некоторым образом касаются их формы. Но форма морфемы — это еще не морфология, это лишь реализация тактических репрезентативных правил фонологии, т. е. фонотактика, по правилам которой строятся морфемы. Не всякие изменения фонотактики могут быть «охвачены» и «осмыслены» морфологией. Кроме того, фонемы вне морфем, лексем, фразем не существуют, они реализуются и функционируют только внутри единиц вышележащих уровней в структуре языка. Поэтому изменение лишь формы морфемы еще нельзя назвать морфонологическим процессом в нашем понимании этого термина.

Из этого следует сделать вывод, что не всякая альтернация формы-морфемы есть явление морфонологическое. Здесь мы позволим себе не согласиться с И. А. Бодуэном в том, что морфемы чередуются независимо от дивергентного или коррелятивного характера альтернаций. Возможно, столь безбрежному расширению границ морфонологии относительно объектов ее исследования способствовало недостаточно четкое формулирование ее задач Н. С. Трубецким [24]. Как мы указывали выше, морфонология изучает детерминативные связи между фонологией и морфологией. Эти уровни одновременно и интегральны и автономны. Возможно их двоякое изучение — подход «снизу» и подход «сверху». Исследование

языковых данных с точки зрения фонологии, включающее, по Трубецкому, учение о фонологической структуре морфем и учение о комбинаторных изменениях в межморфемных швах, а также перечисленные выше проблемы синхронной морфонологии мы предлагаем впредь именовать фономорфологией; исследование же альтернаций, выполняющих морфологическую функцию,— это, по нашему мнению, истинная морфонология. Это разделение в диахронии обусловлено активностью/пассивностью того или иного уровня взаимодействия в зависимости от этапа морфонологического процесса. К необходимости подобного разграничения независимо от нас [25] пришел В. Б. Касевич [11], правда, сделано это им с иных принципиальных позиций. Подобное разграничение не только терминологическое: оно позволяет чеко очертить круг проблем, объектов и методик фономорфологических и морфонологических исследований.

Принципиальное разграничение морфонологии и фономорфологии связано еще с одним обстоятельством: если первая обслуживает в основном диахронию и реализуется в ней, то вторая ориентирована в первую очередь на синхронию. Разумеется, морфонологические явления также можно рассматривать с синхронной точки зрения, но это так или иначе всегда будет так называемая «снятая диахрония», т. е. результат морфонологического процесса, а не сам процесс. Объектами синхронной фономорфологии, таким образом, становятся фонологическая структура морфем и все грамматически иррелевантные комбинаторные изменения, вплоть до определения «классных» (т. е. гносеологических) дополнительных диакритик. Методики такого исследования известны из работ генеративного и дескриптивного направлений как в области парадигматики, так и деривации: принципы морфемного членения словоформ, идентификация морфем, определение направления альтернирования и исходного варианта, фонологические границы алломорфирования, усечение и наложение морфов, инфиксация и синкопирование и мн.др.

Явление умлаута, к примеру, в современном немецком языке синхронно анализируется как грамматическое средство выражения мн. числа (нем. *Vater — Väter*) или маркер степени сравнения (*alt — älter — der älteste*) и пр. Однако истинно морфонологическая природа этого явления проясняется только в диахронии. Будучи чисто фонетической перегласовкой основы корня и флексии, это явление перешло в разряд фономорфологических. Морфология немецкого языка использовала это фонетическое явление в своих целях, подняв его до собственного уровня (ср. также использование умлаута как показателя сослагательного наклонения на фоне флексии, которая под влиянием фонологических процессов в значительной мере утратила способность маркировать грамматическое значение).

Германский умлаут во всех своих видах (веляризация, палатализация, лабиализация, *R*-умлаут, *k*/*g*-умлаут) рассматривается нами как многослойное явление не с точки зрения его гетерохронности, а под углом зрения морфонологии. Первый пласт включает в себя позиционно обусловленные явления типа др.-в.-нем. *gast — gesti*, н.-в.-нем. *Gast — Gäste*, др.-в.-нем. *ih faru, du feris*, н.-в.-нем *du fährst, er fährt*. На современном уровне позиционная обусловленность уже исчезла, но альтернации сохраняются в языке как добавочная (вторичная) грамматическая характеристика, чаще в силу давления традиции или школьного образования, ибо функция дополнительного маркера грамматического значения в данном пласте спорна — ср. примеры образования мн.числа у существительных того же типа: *Sohn — Söhne, Platz — Plätze, Baum — Bäume*, но *Tag —*

Tage, *Schuh* — *Schuhe*. Сравнение этих примеров говорит об избыточности умлаута как грамматического средства (аналогично *du fährst*, но *du schaffst* и др.).

Второй пласт умлаута включает в себя такие явления, как *Väter*, *Mütter*, *Mäntel*, *Nägel* и др. Эти явления не обусловлены позицией ни синхронно, ни диахронически: они облечены определенным грамматическим значением и являются продуктом определенных морфонологических процессов.

Первый пласт умлаутных чередований относится нами к разряду фономорфологических и выводится за рамки морфонологии. Многие альтернации, вызванные действием умлаута, не были использованы морфологией и были устранены, что говорит о морфологической пустоте первоначальных перегласовок. Особенно часто это происходило там, где внутри парадигмы или в лексическом ряду родственных слов возникали формы с перегласованным гласным, нарушающие регулярность этой парадигмы или ряда. Морфонологический процесс выравнивания вокализма был неоднозначным даже внутри одного диалекта; унификация могла проходить как в пользу перегласованного, так и в пользу неперегласованного гласного, могли возникать как территориальные, так и хронологические дублеты, ср. др.исл. *fliúga* «летать»: формы индикатива наст. времени — *flýg*, *flýgr* вм. **fliúg*; др.-исл. *ferþ* «поездка», род. п. *ferþar* вм. закономерного **farþar*; др.-исл. *vinþr* < **viniþr* «ожидание», род. п. *vinþa* вм. фонетически закономерного **venþa*; др.-исл. *staþr* «город», мн.ч. *staþer* вм. **steþer* и т. д.

Первый пласт умлаутных чередований может интересовать морфонолога лишь в том случае, если происходит выравнивание вокализма, ибо здесь мы снова имеем дело с «игрой» морфонологических связей, с морфонологическим процессом, где активной выступает морфология. Устранение фонетических альтернаций косвенно свидетельствует об их грамматической пустоте.

Сопоставление таких примеров, как др.исл. *gestr* — *gests* — *gest* — *gestir* — *gesta* — *gestum* — *gest* (парадигматический ряд) и др.-исл. *staðr* — *staðar* — *stað* — *staðir* — *staða* — *stǫðum*, наглядно демонстрирует синхронную иррелевантность возникших в результате палатальной перегласовки чередований. Но эти же примеры при историческом рассмотрении свидетельствуют о большой диахронической ценности морфонологии. И палатальный, и велярный умлаут существенно повлияли на морфологическую систему северных и западных германских языков. Включенными в этот процесс и переориентированными оказались такие грамматические категории, как оппозиции множественного/единственного числа, оппозиции внутри падежной парадигмы, оппозиция презенс/претерит, оппозиция лица и числа внутри глагольной парадигмы, оппозиция степеней сравнения, оппозиция индикатив/оптатив, многие деривации и др.

Следует согласиться с чрезвычайно важным замечанием Э. А. Макаева и Е. С. Кубряковой [26] о том, что носителями определенной грамматической значимости оказываются не сами чередования перегласованных/неперегласованных элементов (*a* : *e*), а их конкретное противопоставление в определенных парадигмах. Процессуально наличие этих чередований способствовало созданию четких временны́х, личных и модальных оппозиций или укреплению уже имевшихся противопоставлений за счет других средств.

Причины морфонологического процесса втягивания перегласовок и форм, возникших в результате их альтернаций, в морфологическую

ткань германских языков достаточно прозрачны. Первой, по-видимому, следует назвать переинтеграцию конца слова, которая привела к разрушению флексии. Грамматическая система как раз нуждалась в таком новом средстве, которое бы подкрепило грамматическую значимость слабо маркированной флексии.

Следующей причиной морфологизации умлаута можно считать, по-видимому, то обстоятельство, что корреляция *e* : *a* (палатальная перегласовка) структурно или хотя бы внешне начинает ассоциироваться с уже имевшейся в германских языках моделью чередований по аблауту. Вполне возможно поэтому рассматривать германский умлаут как типологическую модель, становление которой происходит уже в лингвистически обозреваемом (т. е. зафиксированном в памятниках) времени как модель того процесса, который некогда привел к возникновению индоевропейского аблаута. Типологическая ценность умлаута в этом отношении очень велика.

Необходимо отметить, что аблаутные чередования захватили лишь временные оппозиции (если не учитывать деривационные процессы) и в силу этого очень четко морфологизировались; однако диапазон действия умлаута, с грамматической точки зрения, гораздо шире. Возможно, что именно эта широта распространения умлаута и привела к морфологической иррелевантности умлаута во многих категориях, что в конечном итоге выразилось в значительном свертывании этих явлений в ареальном и хронологическом планах. Следует отметить также, что умлаут как бы наложился на систему аблаута (ср. сильные глаголы III, IV, V, VI рядов), нарушив тем самым его традиционную стройность и устойчивость. С другой стороны, возникшие альтернации в системе слабых глаголов (типа др.-сакс. *sellian — salda*, *tellian — talda* и др.) подняли грамматическую значимость самого умлаута.

Продолжая мысль о том, что поздние трансформации конца слова, обезличивая флексию как таковую, привели к переориентации грамматических показателей, упомянем диахронический процесс морфологизации умлаута в системе оппозиции индикатив/оптатив. Уже простое сравнение форм оптатива в древневерхненемецких и средневерхненемецких памятниках наглядно показывает те огромные изменения в показателях этой категории, которые были вызваны явлениями конца слова. Если в др.-в.-нем. парадигме *nami — namis — nami — namim — namit — namin* показатель оптатива *-i-* четко проведен по всему парадигматическому ряду и действительно маркирует грамматическую категорию, то в ср.-в.-нем. *neme — nemest — neme — nemen — nemet — nemen* морфологическая категория оптатива ассоциируется уже не с *-i-*, которое под воздействием явлений конца слова перешло в *-e-*, а с его рефлексом, т. е. с умлаутированным гласным основы. Флексия же отступила на второй план, взяв на себя функции выражения числовых и личных оппозиций, но уже не модальных.

Таким образом, наш материал подтверждает сделанный некогда Э. А. Макаевым вывод о том, что морфологизации любого фонетического явления должны сопутствовать благоприятные морфологические условия — так называемые морфологические опоры. Не везде эти морфологические опоры существовали (ср. др.-исл. *staðr*), и это обстоятельство приводило к иррелевантности умлаута во многих категориях и к последующему его элиминированию. Но все же процесс элиминирования носил морфонологический характер. Вот почему явления типа др.-в.-нем. *gesti*, *du feris*, *er ferit* мы включаем в первый пласт германского умлаута

и выводим их за рамки морфонологии, признавая за процессом выравнивания вокализма морфонологический статус, ибо процесс этот всегда был обусловлен наличием или отсутствием морфологических опор, активностью или пассивностью того или иного уровня.

Будучи втянутым в морфологические оппозиции, умлаут становится грамматическим признаком в тех формах, где он фонологически некорректен, ибо в этих случаях он возникает тогда, когда действие этого явления исторически уже завершилось. Примеры таких процесссов богато представлены в древневерхненемецком [ср. также *o*-основы существительных муж. рода в средневерхненемецком: *stab — stebe*, *halm — helme*; только в нововерхненемецком появляется умлаут в *Höfe*, *Frösche*, *Hüte*; для того же периода характерно включение существительных муж. рода в 3-й класс образования мн. числа (*Ränder*, *Männer*, *Würmer* и др.)]. Объяснение этих процессов как «развитие по аналогии» [27] представляется нам недостаточным, ибо все они обретают строго научную интерпретацию в рамках реконструкции системных морфонологических процессов в германских языках. В этой связи можно указать на довольно спорное объяснение этих явлений, предложенное Е. Куриловичем [28], с которым мы никак не можем согласиться.

У древневерхненемецких существительных склонения на *-n* (*haso* «заяц», *garto* «сад», *scado* «тень», *namo* «имя», *samo* «семя» и пр.) в род. и дат. падежах ед. ч. отмечалось чередование флексии *-en*/*-in* (*hanen*/*hanin*). Формы с *-in*, особенно частотные у Ноткера и Исидора, должны были бы теоретическим иметь палатальные перегласовки. И действительно, в ранних текстах мы встречаем *nemin* (< * *namin*), *scedin* (< **scadin*). Возникшее таким образом чередование гласных и оппозиция им., вин. падежей, с одной стороны, и род., дат.— с другой, в пределах одной парадигмы (*hano*, *hanun — henin*, *henin*) «сопровождали» уже имевшуюся в распоряжении морфологии оппозицию флексии и оказалось избыточным. Результат был легко предсказуем: в более поздних памятниках умлаут в этих формах практически элиминирован. Интересно отметить, что в деривациях, где существенными оказываются не морфологические, а лексические условия (лексофонология), умлаут был повсеместно сохранен: *erbo* «наследник», *reccho* «богатырь», *scepfo* «творец», *gisello* «подмастерье» и пр.

Совершенно противоположный морфонологический процесс, нежели тот, что мы отмечали выше для *n*-склонения, можно наблюдать при становлении форм мн. числа типа *Gärten*, *Väter*, *Töchter*, *Mäntel* и пр. Древневерхненемецкая парадигма: им., род., дат., вин. падежи ед. ч.— *muoter*, мн. ч.— *muoter*, *muotero*, *muoterum*, *muoter* (также *tohter*, *bruoder*). Древние рукописи еще фиксируют аналогичную парадигму для ед. числа и от *fater*, но мн. число образуется уже только по образцу *a*-склонения. Таким же образом у Ноткера находим форму *tohtera*. Трехсложная структура словоформ на *-er*, *-el*, *-en* не допускала традиционных способов образования мн. ч. (*-e*, *-en*, *-er*). По-видимому, это обстоятельство и послужило тому, что система языка воспользовалась уже имеющимся в ее распоряжении пока еще фономорфологическим средством — умлаутом, закрепив за диакритическими функциями палатальных альтернаций морфологические значения. Этот морфонологический процесс втягивания фонологических чередований в морфологию, подтверждающийся еще и тем, что они немыслимы здесь ни фонологически, ни морфологически, породил такие формы, как нем. *Väter*, *Brüder*, *Mütter*, *Mäntel* и др.

Основным типом образования мн. числа существительных муж. рода в немецком языке является, как известно, морфема *-e*. Однако фонетичес-

кая тенденция к редукции безударной флексии сопровождалась в средневерхненемецком и особенно в нововерхненемецком переорганизацией всей грамматической системы образования мн. числа существительных. Особенно отчетливо эта тенденция выражена в немецких диалектах, которые не связаны грамматической нормой и письменной традицией. Согласно общим правилам редукции, конечное *-e* могло частично сохраняться только в нижненемецких и восточносредненемецких диалектах. Как же реагировала система языка на этот фонологический процесс? Результаты морфонологического процесса не были однозначны в различных ареалах. В южных диалектах морфология оказывается пассивной перед фонологической редукцией и прибегает к иным средствам маркирования категории мн. числа: вместо окончания *-e* показателем грамматического значения становится фонологическое средство — умлаут. Так возникают формы типа *täg, händ, ärm* и т. д. Умлаут получают и формы на *-u*, закономерно не имевшие его ранее в ед. числе по фонологическим правилам южнонемецких дилектов: *lug — lüg*. Естественно, что перегласовка в этих формах не является фонологическим явлением.

В арсенале морфонологических средств выражения мн. числа наряду с окончанием *-e*, сохранившимся в некоторых диалектах, и умлаутом, оказались еще некоторые ранее чисто фонологические средства. И если умлаут сохранился как категорийный маркер и в литературном немецком языке, то другие описанные ниже явления остались на уровне ареальных феноменов, свидетельствующих о поисках системой языка оптимальных показателей грамматического значения. Вторичная фонологическая дифференциация, связанная с различиями развития ударного гласного и конечного согласного корня, имела место в нижненемецких и средненемецких диалектах. Гласный корня, сохраняя краткость в закрытом слоге, мог удлиняться в открытом; в восточнонемецких диалектах удлинение могло происходить в односложных словах перед группой согласных [19. с. 177]. Эта альтернация кратких и долгих гласных корня начинает использоваться морфологией для противопоставления ед. и мн. числа после редукции конечного *-e*: ср. восточнофранкские формы *fīš — fiš* «рыба», *šdrīk — šdrik* «веревка», *flēk — flek* «пятно», *dīš — diš* «стол» и т. д. Этот новый показатель мн. числа мог для усиления оппозиции подкрепляться умлаутом: *šūs — šüs* «выстрел», *nūs — nüs* «орех», *sǭk — sek* «мешок», *khōpf — khepf* «голова» и т. д.

Использование альтернации долгого и краткого гласного в морфологических целях отмечается во всех немецких диалектах (кроме верхнесаксонского) с различной степенью интенсивности. Причина неустойчивости этого показателя мн. числа и отсутствия его в литературном немецком языке достаточно прозрачна: это связано в первую очередь с его полифункциональностью (ср. использование того же показателя для маркирования дат. падежа в парадигме существительных тех же диалектов).

Следующей возможностью дифференциации форм мн. числа была фонологическая альтернация, возникшая в результате различной судьбы исходных корневых согласных в интервокальном и конечном положениях: несмотря на отпадение конечного *-e* и исчезновение интервокальной позиции морфология сохраняет в формах мн. числа звонкий вариант согласного (нейтрализация). Позиция отступает перед активной морфологией. Возникшие таким образом альтернации спирант / смычный *k*; *r* (после ротацизма)/смычный *d* (*t*); *ŋ* (< *ng*)/*nk*; *l*, *n* (< *ld*, *nd*)/*lt*, *nt* (чисто фонологические чередования) начинают использоваться морфологией для маркирования оппозиции ед./мн. числа. Особенно широко это явление пред-

ставлено в нижненемецких и средненемецких диалектах: *hond — hon* «собака», *riŋk — rin* «кольцо», *bärk — bär* «гора», *šuk — šū* «башмак» и т. д. Таким образом, после редукции конечного *-e* в распоряжении морфологии оказались следующие средства дифференциации ед./мн. числа: 1) альтернация краткого/долгого гласного; 2) альтернация глухого/звонкого согласного в исходе корня; 3) альтернация перегласованного/неперегласованного гласного корня; 4) нулевая морфема (типа мекленбургских образований *fiš — fiš* «рыба», *dēl — dēl* «долина», *šo — šo* «башмак», *knē — knē* «колено» и т. д.).

Как указывалось выше, все эти средства использовались в диалектах с различной степенью интенсивности: будучи пассивной в этом морфонологическом процессе, морфология как бы ведет активный поиск новых выразительных средств маркирования категориального значения. Теоретически морфология имела еще один выход: активное противодействие фонологической тенденции, что можно наблюдать в мекленбургском диалекте: с целью избежать Ø-морфемы во мн.числе сохраняется *-e*, хотя бы в форме факультативного неударного *-ə*: *dēl — dēlə* «часть», *diš — dišə* «стол».

Во многих случаях формы мн. числа приобретают новое средство — окончание *-s*: *kerl — kerls* «парень», *börger — börgers* «горожанин», *moder — moders* «мать» и т. д. Несмотря на спорные предположения относительно происхождения этого *-s*, время его интенсивного использования в этой роли непосредственно связано с редукцией *-e*. Таким образом, можно предположить, что это еще один пример реакции морфологии на реализацию фонологической тенденции. Разумеется, все вышеуказанные метаморфозы образования лишь одного типа мн. числа существительных находят свое объяснение не иначе как в рамках морфонологических процессов. Отдельно взятые фонологические, морфологические, наконец, аналогические толкования оказываются бездоказательными, ибо морфонологические процессы становления системы мн. числа, отражающие «игру» межуровневых связей, нередко непредсказуемое переключение диахронического развития с одного уровня на другой (оно зависит в конечном счете от активности или пассивности того или иного уровня), являются живыми для современного состояния немецкого языка. Активность указанных выше морфонологических процессов в диалекте достаточно ярко оттеняет консерватизм письменной традиции литературного языка, сохраняющего громоздкую, непоследовательную, логически противоречивую систему образования мн. числа.

Отметим некоторые морфонологические особенности германского аблаута. Как известно, система сильного глагола в германских языках отражает общую модель индоевропейских языков. Даже не прибегая к реконструкциям, а пользуясь только данными письменных памятников, можно проследить поистине «трагическую» судьбу этой системы. Являясь древнейшим пластом глагольной парадигматики, она постоянно находится под давлением более регулярного слабого спряжения глагола и фонетических тенденций. Для «выживания» необходимо было придать регулярность рядам чередований, усилить морфологическую маркированность структурных элементов. Анализируя состояние этой системы на уровне наиболее ранних памятников и современных германских языков, можно заключить, что количество сильных глаголов значительно уменьшилось, регулярность чередований в системе окончательно не установилась.

Вся динамика развития системы германского аблаута морфонологична. Рассмотрим конкретный материал. Чисто фонетическое явление так на-

зываемое «грамматическое чередование» — рефлексы закона Вернера — вызвало в германских языках многочисленные изменения облика морфем в рамках одного парадигматического ряда. Речь идет о чередованиях *s—r, d—t, h—g, þ—ƒ, обусловленных акцентным фактором: ср. др.-в.-нем. *kiosan — kos — kurum — gikoran*; *hwerƒan — hwarƒ — hwurbum — hworban*; *ƒindan — ƒand — ƒuntum — ƒuntan*; *werdan — ward — wurtum — wortan*. На уровне древневерхненемецких памятников примеры подобного рода еще чрезвычайно многочисленны; однако уже тогда процесс устранения чередований практически заканчивался в некоторых диалектах. Во франкском диалекте выравнивание консонантизма закончилось раньше, чем в алеманском, баварском, лангобардском: чередования еще четко прослеживаются в глаголах типа др.-в.-нем. *lidan* «страдать», *gilidan* «идти», *midan* «избегать», но у Отфрида находим *midan — meid — midun — gimidan*. Сильный глагол первого ряда чередований (*j*-презентный) *intrihhan* «открывать» в формах 2 л. ед. ч. наст. времени обнаруживает согласный 3-й и 4-й ступеней: *intrigi*, причастие *intrigan*. Глагол II ряда *hiofan* «жаловаться» имеет презентные формы *hiuban*, что свидетельствует об устранении чередований в пользу 3-й и 4-й ступеней: **houƒ — hubum — gihoban*. Глагол III ряда *ƒindan* «находить» у Отфрида имеет формы *ƒindu — ƒand — ƒuntum*. В других диалектах чередование уже устранено (ср. у Тациана *ƒundum, ƒundan*). Однако встречаются интересные формы с глухим дентальным в презентной парадигме и в ед. ч. претеритальной парадигмы (*ƒintis, ƒant*), которые могут свидетельствовать о неустоявшейся традиции выравнивания консонантизма 1-й и 2-й ступеней по 3-й и 4-й или наоборот. Этот вывод подтверждает глагол III ряда *swelhan* «глотать» (*swilhu — swalh — swulgum — giswolgan*); однако у Тациана и в Парижских глоссах неоднократно находим: *farswilgit, swelgenti*, т. е. формы с согласным 3-й и 4-й ступеней в презентной парадигме. Ср. также средневерхненемецкий глагол III ряда *swelgan*, где $h > g$ в презентной парадигме (т. е. во всей парадигме остается согласный 3-й ступени). Этот случай мы считаем достаточно показательным для общей картины динамики сильной парадигматики.

Чередование /f/ — /b/ встречается в ранних памятниках в формах глагола *hwerƒan* «обращаться» (*hwirƒu — hwarƒ — hwurbum — hwórban*), а позднее у Исидора — *hwerƒandi, chihwurfi* (3-я ступень) и в Монзейских фрагментах — *gihworƒan* (4-я ступень). Однако у Тациана выравнивание консонантизма проходило в ином направлении — *werban, hwerban, arwerpant* (глоссы из Райхенау). У глагола *heben* «поднимать» (*hob — hoben — gehoban*) выравнивание консонантизма произошло только в нововерхненемецком по претеритальным формам мн. числа. Звонкий смычный попал в формы претерита ед. числа, а затем и в презентную парадигму и инфинитив: ср. др.-в.-нем. *heƒƒen — huop — huobum*.

Глаголы V класса еще на уровне древневерхненемецкого имели чередование /r/ — /s/: *lesan — las — larumgileran* (аналогично: *jesan, gesan, nesan, kresan, wesan* и пр.). С IX в. /r/ в ступенях 3 и 4 регулярно заменяется на /s/. В глаголах II ряда *frieren, verlieren* наблюдается противоположная картина: здесь /r/ из формы претерита мн. числа проникло в формы ед. числа и затем в презентную парадигму.

В готском языке выравнивание консонантизма произошло в пользу глухого согласного: *haƒƒan — hoƒ — hoƒum — haƒans* (ср. др.-сакс. *heƒƒian — hoƒ — hobum — habans*), гот. *wairþan — warþ — waúrþum — waúrþans*. Примеры морфонологического процесса унификации консонантизма можно умножить. Однако общая тенденция видна уже из вышеприведенного.

Индуцирующими были как презентный консонантизм, так и консонантизм претеритальный мн. числа. В период средневерхненемецкого в качестве индуцирующего члена аблаутного ряда оказалась презентная парадигма. Причина этого достаточно прозрачна, ибо формы настоящего времени связаны не только с грамматическим, но и с лексическим полем, в то время как в формах мн. числа претерита основную роль играет вокализм, а не консонантизм.

Начиная с XIV в. в претеритальной парадигме сильных глаголов происходит устранение вокалических чередований, мало значимых для морфологии. Процесс этот проходил неоднозначно. В I ряду гласный форм мн. числа проник в формы ед. числа: *greifen — griff — griffen*. Аналогичный процесс имел место в IV ряду: *-a-* из форм мн. числа распространилось на ед. число. Противоположная по направленности тенденция проявилась во II ряду: здесь *-o-* из форм ед. числа проникло во мн. число: *schoz — schussen, schoz — schossen* (аналогично *fliesen, geniesen, giesen, kriechen, riechen, biegen, bieten* и др.); гласный *-a-* форм ед. числа глаголов III ряда также оказался (правда, двумя веками позднее) в формах мн. числа: ср. ср.-в.-нем. *binden — bant — bunden, band — banden, sprang — sprangen*. Иными словами: modus vivendi системы сильных глаголов включал и устранение чередований в претеритальной парадигме, что привело к свертыванию четырехчленной оппозиции аблаута в трехчленную. Морфонологические процессы скорректировали систему аблаута, сделали ее более стабильной и регулярной.

Следующим шагом развертывания системы сильных глаголов в сторону большей регулярности стало, по-видимому, превращение трехчленной оппозиции в двухчленную. В современном немецком языке из 150 сильных глаголов двухчленную оппозицию имеют 106 глаголов. Из них — 34 глагола типа *braten — briet — gebraten* (презенс + причастие/претерит) и 72 глагола типа *frieren — fror — gefroren* (презенс / претерит + причастие). И только 44 глагола (29%) сохраняют еще трехчленную оппозицию типа *treffen — traf — getroffen*.

Отметим еще одну интересную особенность морфологических процессов, протекавших в системе германских сильных глаголов. В I ряду аблаута существует антропофоническое правило, известное каждому германисту: звонкий исход корня сопровождается долгим гласным в претерите, а глухой исход корня — кратким гласным. Это обстоятельство привело к возникновению среди 24 сильных глаголов этого класса типа *bleiben — blieb — geblieben* оппозиционной группы из 9 глаголов типа *reiten — ritt — geritten*. Возникает вопрос: возможен ли долгий гласный претерита перед глухим исходом корня? Теоретически такой ситуации не должно быть. Однако в VII классе у глаголов *braten, raten, stoßen, rufen, heißen* это оказывается возможным, т. е. в определенной морфологической ситуации указанное антропофоническое правило нейтрализуется.

Возможной оказывается и противоположная картина: звонкий исход корня сопровождается кратким гласным в основе претерита — глаголы типа *fangen* подтверждают это, несмотря на всю аномальность парадигм этих глаголов. Следовательно: одно и то же фонетическое правило действует различно в различных морфологических контекстах. Если глаголы I и II класса характеризуются четкой дифтонгической структурой, а структура III и IV классов — исходом «сонант + согласный» (или чистый сонант), то новации V, VI, VII классов требуют дополнительной интерпретации. Первая и четвертая ступени в этих классах оказываются малоинформативными в отношении классной принадлежности: *geben — gegeben*,

tragen — getragen. Единственным членом оппозиции, маркирующим классную принадлежность, а также парадигму, является *-ā-* в претерите V класса, *-ū-* в претерите VI класса, *-ī-* в претерите VII класса. Иными словами: для морфологии важен классный показатель парадигматики, а не фонетические правила исхода корня. Этот морфонологический процесс убедительно подтверждает так называемый закон дифференциации В. А. Богородицкого.

Аналогичные морфонологические процессы протекали и в четвертой ступени аблаута: ср. нулевую ступень I—IV рядов типа гот. *fruþans*, *bundans* и продленную ступень в причастиях типа нем. *geblieben*, *gepriesen*, где Dehnstufe ни фонологически, ни морфологически просто немыслима.

Морфонологические процессы унификации системы аблаута были особенно интенсивными в германских диалектах периода средневековья, незадолго до широкого распространения письменности и книгопечатания. Зародившись в верхненемецких диалектах, они постепенно захватили всю территорию. Если у Лютера они еще носят латентный характер, то у Г. Сакса они уже актуализированы. Многочисленные территориальные дублеты с унифицированным и неунифицированным вокализмом и консонантизмом, с отклонениями от ряда аблаута, с колебаниями между сильной и слабой парагматикой, т. е. примеры, отражающие актуализацию живых морфонологических процессов в языке средневековья, настолько обильны, что не представляется возможным привести их в данной работе [29]. Отметим, однако, что все они подтверждают интенсивность протекания морфонологических процессов в германских языках в разное время. Позднее они в значительной мере были приостановлены письменной и литературной традицией, которая продолжается и сегодня в менее фиксированной диалектной речи.

Попробуем реконструировать морфонологический процесс, но уже на ином материале. Известно, что германский дентальный претерит представлен шестью алломорфами: /t/, /d/, /þ/, /đ/, /s/, /ø/.

Морфонологический процесс становления системы слабого прошедшего времени в германских языках можно разбить на четыре этапа: 1) символизация морфемы прошедшего времени определенной формой, в данном случае с /t/; 2) фономорфологический этап; 3) морфонологический этап; 4) процесс стабилизации.

Возникновение новой грамматической категории требовало не новой фонологической единицы, а лишь новой условности, новой символизации средств, уже имевшихся в языке. Процесс символизации был связан с «перепрофилированием», с «конверсией» плана содержания семантически близких морфов. Это по сути первоначальный процесс закрепления семантической единицы морфологии за определенным символом, за определенной формой в определенных условиях (в нашем случае /t/). Под определенными условиями следует понимать то обстоятельство, что «морфемность» данной фонетической единицы реализуется не в любой дистрибуции, а только в линейной последовательности «основа глагола + морф прошедшего времени + морф лица, числа».

Процесс (2) представляет собой схему развертывания морфонологического ряда: t > /t/, /d/, /þ/, /đ/, /s/, /ø/. Мы называем этот процесс «фономорфологическим», отмечая при этом, что если бы это была чисто фонетическая процедура, то реконструкция его не представляла бы сложности и мы должны были бы отвергнуть понятие морфологических опор. Но этого, как показал анализ материала, сделать нельзя. Процесс развертывания морфонологического ряда проходит на фономорфологическом

уровне. Именно морфологические условия способствуют реализации фонетических потенций этого морфонологического ряда. Взаимодействие уровней морфологии и фонологии на данном этапе реально ощутимо, но доминирует (активен) уровень фонологии. Итак, на втором этапе столько же морфологического, сколько и фонологического. В случае с морфемой прошедшего времени мы имеем уникальное явление, когда в письменных памятниках можно встретить все теоретически расчетные варианта аллофонов — от одного до пяти с дифференциальным признаком + дентальность. На этапе (2) грамматическая основа пассивно включила в себя все аллофоны, сделав их алломорфами. Все они семантически равнозначны, т. е. сама отдельно взятая альтернация незначима. Это обстоятельство способствовало тому, что на грамматическом уровне открылась возможность выравнивания парадигматического ряда. В связи с этим хотелось бы еще раз заметить, что будь эти чередования облечены какими-то дополнительными диакритическими функциями, то морфологический уровень, видимо, сохранил бы их, а не устранил. Дополнительные диакритики имеют здесь «классный» характер: имеется в виду определенная группа глаголов с определенным исходом основы.

Этап (3) проходил также на морфонологическом уровне. Излишние для морфологии чередования, вызванные процессом (2), целенаправленно устранялись по всем диалектам. Следует отметить, что процесс этот был также неоднозначным, но морфология была здесь активной. Вот почему многие формы не укладываются в рамки фонологической реконструкции. В северном ареале (включая готский) морфология пошла по пути проведения в претеритальные парадигмы презентных суффиксов. Любой алломорф дентального форматива, оказавшись в интервокальном положении, унифицировался (ср. гот. **sohta* > *sokida*: реконструкция на основании др.-исл. *sotta*, др.-англ. *sohte*, др.-сакс. *sohta*, др.-в.-нем. *suohta*). Этим же обстоятельством обусловлена пестрая картина обобщения центральных и маргинальных алломорфов по диалектам. В западной группе германских языков морфонологический процесс распространения основообразующих суффиксов по всей парадигме был реализован фрагментарно, с различной региональной интенсивностью и вскоре был приостановлен действием противоположной тенденции — ослаблением безударных слогов с синкопированием.

Все это привело к заключительному этапу — процессу стабилизации: современные германские языки унифицировали план выражения морфемы прошедшего времени, укрепив тем самым план ее содержания.

Подобная схема реконструкции морфонологических процессов носит типологический характер, ее можно применить при анализе любых морфонологических процессов в диахронии. Следует отметить, что не каждому морфонологическому процессу присущи все этапы: иногда этап символизации и фономорфологический этап могут совпадать (привлечение различных альтернаций к дифференциации категорийных значений).

В принципе морфонологический процесс в диахронии всегда отражает нарушение зыбкого равновесия между означающим и означаемым лингвистического знака. Причем развитие обоих планов происходит не однолинейно, что и осложняет реконструкцию процессов. Поэтому двухмерная морфонологическая реконструкция, предлагаемая всякий раз индивидуально, ad hoc, является более надежной, нежели одномерные сравнительная или внутренняя реконструкции.

Представляется, что морфонологический, лексофонологический и морфосинтаксический процессы, отражающие прямые и опосредованные функ-

циональные связи системы, представляют собой три основных составляющих глобального языкового диахронического процесса. Исследование этого глобального диахронического процесса предполагает тщательный анализ этих трех его компонентов с последующим синтезом результатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Dressler W.* Morphonology: the dynamic of derivation. Ann Arbor, 1985.
2. *Арутюнова Н. Д.* О значимых единицах языка // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.
3. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1964. С. 129.
4. *Lamb S.* Outline of stratificational grammar. Washington, 1966.
5. *Gleason H.* The organisation of language: a stratificational view. Georgetown, 1964.
6. *Lockwood D.* Introduction to stratificational linguistics, København, 1972.
7. *Schreyer R.* Stratificationsgrammatik // Anglistische Arbeitschetfe. 1977. № 11.
8. *Климов Г. А., Булыгина Т. В.* Уровни языковой структуры // Общее языкознание (внутренняя структура языка). М., 1972.
9. *Кубрякова Е. С.* Основы морфологического анализа. М., 1974.
10. Славянское и балканское языкознание: проблемы морфонологии. М., 1981.
11. *Касевич В. Б.* Морфонология. Л., 1986.
12. *Кубрякова Е. С.* Морфология в теоретических и типологических исследованиях последнего времени. М., 1988.
13. *Bybee J.* Morphophonemic change from inside and outside the paradigm // Lingua. 1980. № 50.
14. Leitmotifs in natural morphology // Studies in language companion series / Ed. by Dressler W. V. 10. Amsterdam, 1987.
15. *Scalise S.* Generative morphology // Studies in generative grammar. 1986. 18.
16. *Клычков Г. С.* Теория верификации в сравнительно-историческом языкознании // Теория и методология языкознания: методы исследования языка. М., 1989.
17. *Мигачев В. А.* Единицы структуры языка // Системные свойства языковых единиц и их реализация в речи. Белгород, 1988. С. 4.
18. *Парнюк М. А.* Концепция детерминизма в диалектическом материализме // Современный детерминизм и наука. Т. I. Новосибирск, 1975. С. 7.
19. *Жирмунский В. М.* Немецкая диалектология. М.; Л., 1956. С. 452.
20. *Dal I.* Zur Frage des süddeutschen Präteritumschwundes // Indogermanica. Festschrift für W. Krause. Heidelberg. 1960.
21. *Мигачев В. А.* О морфонологическом статусе германских слабых глаголов // Историко-типологические и синхронно-типологические исследования. М., 1972. С. 68.
22. *Мигачев В. А.* Германский дентальный претерит и его морфонологический статус // ВЯ. 1972. № 4.
23. *Raven Fr.* Die schwachen Verben des Althoschdeutschen. Giessen, 1963.
24. *Trubetzkoy N. S.* Gedanken über Morphologie // TCLP. 1931. IV.
25. *Мигачев В. А.* Об одной концепции стратификационной модели языка // Взаимодействие формы и содержания лингвистических единиц различных уровней. Белгород, 1985.
26. *Макаев Э. А., Кубрякова Е. С.* Диахроническая морфонология древних германских языков // Историко-типологическая морфонология германских языков. М., 1977. С. 38.
27. *Kienle R. von.* Historische Laut- und Formenlehre des Deutschen. Tübingen, 1960. S. 30.
28. *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962. С. 98.
29. *Paul H.* Deutsche Grammatik. Bd II. T. 3. Halle, 1954. S. 199—245.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1991

© 1991 г.

КРАВЕЦКИЙ А. Г.

К ИЗУЧЕНИЮ ТЕКСТА БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ

(Паримейная версия книги пророка Ионы)

Знание истории русского и других славянских литературных языков жестко обусловливается знанием истории текстов, написанных на этих языках. Текстология перестает быть чисто вспомогательной дисциплиной, вторгаясь в лингвистику и предлагая последней те или иные интерпретации. Издание текста оказывается необходимым этапом в познании его лингвистического устроения.

Научному изданию славянской Библии должно предшествовать изучение всего рукописного предания Св. Писания. Необходимо проанализировать сотни рукописей и выяснить место каждого списка в истории библейского текста. Изучение текстов, которые дошли до нас в значительном числе списков, естественно начинать с анализа небольших фрагментов. Наш выбор пал на книгу пророка Ионы, т. к., во-первых, книга невелика по объему, что дает возможность рассмотреть ее полный текст по большому числу списков, во-вторых, она целиком читается во время богослужения, а также полностью входит в хорватские глаголические бревиарии. Непаримейные версии книги Ионы более или менее изучены. В 1918 г. появилось критическое издание толковой редакции книги Ионы, выполненное Н. Л. Туницким [1], а в 1987 г. Зд. Рибарова издала глаголическую версию книги Ионы [2] [1]. Наличие этих изданий существенно облегчает нашу задачу. В паримейнике книга Ионы — это целый, представляющий собой одну паримью текст, читающийся на вечерне Великой Субботы.

Паримейник — богослужебный сборник, содержащий фрагменты библейских книг (преимущественно Ветхого Завета), читающихся в навечерие больших церковных праздников, а также в дни Великого поста. Паримейник — славянский переводной памятник, греческим оригиналом которого является профитологий [2]. Считается, что паримейник был переведен Кириллом и Мефодием. Древнейший из дошедших до нас рукописных паримейников датируется концом XII — нач. XIII вв. Являясь необходимой богослужебной книгой, паримейник был очень широко распространен. В библиотеках СССР сохранилось более 60 списков этой книги [3].

---

[1] Пользуюсь случаем поблагодарить Зд. Рибарову, давшую нам возможность ознакомиться с этим изданием.

[2] Имеется критическое издание греческого профитология, в аппарате которого использовано около 80 списков [3].

[3] Работа выполнена на материале 45 списков паримейника рукописных собраний Москвы и Ленинграда. Список использованных рукописей и их обозначений см. в конце статьи. Сведения о рукописях приводятся по каталогу А. А. Пичхадзе [4]. Даты паримейников собрания ЦГАДА уточнены по [5].

Надо отдавать себе отчет в том, какая ничтожная часть от общего числа созданных на Руси рукописей дошла до нас. Паримейник входил в число книг, без которых не могло совершаться богослужение. Следовательно, экземпляр этой книги имелся в каждом храме. Таким образом, на 10 000 церковных зданий, построенных на Руси в XI—XIII вв. [6, с. 64], приходится порядка 10 000 списков паримейника. Судя по Сводному каталогу [7], от XI в. не дошло ни одной рукописи, а от XII—XIII вв. дошло 11 списков, в число которых входят и незначительные фрагменты, которые не дают материала для исследования текста. Но даже если мы будем считать эти фрагменты полноценными рукописями, окажется, что мы имеем не более 0,11% от созданных в XI—XIV вв. паримейников. Мы не настаиваем на точности этой цифры, но утверждаем, что дошедшие до нас списки представляют собой случайные фрагменты огромной рукописной традиции, которую едва ли возможно восстановить на основе имеющегося матриала.

I

Для средневековой книжной традиции проблема сохранения традиционной структуры текста и его языка стояла очень остро [4]. При ручном способе копирования книг в тексте в принципе должны были стремительно накапливаться разночтения. Случайные описки и сознательные исправления, переосмысления и вносимые в текст глоссы, пропуски и добавления, накапливаясь при массовом копировании, рано или поздно должны были значительно изменить исходный текст.

Особенно остро эта проблема должна была стоять для богослужебных книг, так как это были наиболее переписываемые книги, и изготовление большого числа рукописных копий (по данным Б. В. Сапунова [6], на Руси были переписаны сотни тысяч томов основных богослужбеных книг), естественно, ускоряло процессы распада текста.

Однако рассматривая реальные рукописи, мы обнаруживаем удивительную стабильность и устойчивость текста. Вариации оказываются крайне незначительными. Для объяснения высокой стабильности богослужебных и библейских текстов А. А. Алексеев предположил, что переписчики библейских и богослужебных книг «...в большинстве случаев работали с двумя-тремя протографами, сверяя чтения основного протографа с дополнительными источниками и на основе рационалистической критики текста выбирая „лучший“ вариант из нескольких возможных» [8, с. 8]. Книги, переписанные таким образом, составляют контролируемую рукописную традицию. Понятно, что далеко не все паримейники создавались таким образом. Часто встречалась ситуация, когда только одна рукопись A служила протографом для рукописи B, только одна рукопись B служила протографом для рукописи C и т. п. Такая цепочка может быть достаточно длинной, однако в какой-то момент одна должна пересечься с другой цепочкой, в результате чего протографом для рукописи $Д$ будет не только рукопись C, но и рукопись Z (обозначения A, B, . . . Z условны). Поскольку до нас дошла ничтожная часть от общего числа переписанных на Руси паримейников, представляется совершенно невероятным, что среди них окажутся непосредственно сцепленные звенья подобной цепочки.

[4] Может быть, корректнее было бы говорить не о сохранении структуры, а о стремлении к абсолютно точному воспроизведению исходного текста. Это стремление, в свою очередь, вело к появлению специфических ошибок.

Задача изучения славянских рукописей контролируемой традиции была поставлена А. А. Алексеевым в 1984 г. [9]. С тех пор появился ряд работ, рассматривающих историю отдельных книг Св. Писания как контролируемую традицию [8; 10—12]. Была разработана соответствующая методика, позволяющая группировать рукописи. Однако представление о том, что создание новых рукописей осуществлялось с использованием нескольких оригиналов, является не более чем гипотезой, хотя и отвечающей текстологической эмпирии. В дальнейшем мы также будем исходить из этой гипотезы.

Изучение текста контролируемой традиции представляет значительные трудности, т. к. любые группировки списков, любые попытки выделить редакции и группы оказываются тщетными. В рукописях подобного рода, в силу особенностей их природы, отсутствует система текстологических примет [13, с. 84; 14, с. 3—47], т. е. устойчивые наборы текстовых особенностей, характерных для определенной редакции памятника [15, с. 221—229].

Допустим, что в результате исправления списка *А* по греческому оригиналу возникает список *В*, характеризующийся определенной системой особенностей. В дальнейшем *В* наряду с другими рукописями служит одним из антиграфов при создании новых списков. В результате для каждого списка мы получаем достаточно случайный набор черт, а не систему признаков, которая может явиться текстологической приметой. Следовательно, по отношению к текстам с контролируемой традицией нужно с большой осторожностью пользоваться приемами, используемыми в классической текстологии. Д. С. Лихачев, анализируя случаи использования древнерусскими книжниками в процессе работы нескольких рукописей [15, с. 92—95], не привлекает сакральных рукописей, по отношению к которым контроль над текстом должен был проявляться наиболее последовательно. Использование же нескольких оригиналов при переписывании летописей преследовало совершенно иные цели. Летописец мог ставить перед собой задачу достоверной передачи событий, мог решать те или иные художественные, публицистические и т. п. задачи, но едва ли перед ним могла стоять задача сохранения или реконструкции древнейшего облика текста.

Иная ситуация обнаруживается, когда мы имеем дело с богослужебными книгами. Конфессионально-литургическая литература, занимающая высшее положение в пирамиде жанров средневековой книжности, отличается высокой устойчивостью. Литургические тексты «...относились к древней общеславянской литературе: ни один из них не имел „национальных", локальных специфических черт» [16]. Священный текст (совокупность реальных списков) воспринимался как идеальный с точки зрения содержания и языка. Для средневекового книжника речь шла не об улучшении сакрального текста, а о возвращении к его идеальному древнему облику. Стремление к архаизации текста или реконструкции архетипа на практике могло вести к радикальному пересмотру и модернизации. Не надо забывать, что филологические представления средневековых книжников отличались от современных.

Исходя из этого, мы считаем целесообразным рассматривать текстологию рукописей традиционного содержания как отдельный раздел текстологии древнеславянской литературы, имеющий самостоятельный набор приемов и исходящий из иных принципов критического издания текстов. Так, например, говоря об издании памятников древнерусской литературы, Д. С. Лихачев пишет, что «для издания должен предпочтительно выбираться древнейший текст данного памятника...» [15, с. 177]. В случае

кирилло-мефодиевских переводов это требование едва ли окажется приемлемым. Отсутствие отчетливых текстологических примет лишает исследователя возможности выбора рукописи, содержащей древнейший текст. Использование одного из древнейших списков, содержащих массу индивидуальных особенностей, делает необычайно громоздким критический аппарат, в то время как использование в качестве основного того списка, который дает наиболее типичное чтение, позволяет точнее отразить существующую рукописную традицию.

II

Метод исследования текстов контролируемой традиции был разработан Э. Колвеллом на материале греческого текста Св. Писания [13]. К славянскому материалу методика Колвелла впервые была применена А. А. Алексеевым [8, 9], который исследовал с ее помощью текст славянского перевода Евангелия. Позже этой методикой пользовались Н. В. Коссек [11], Е. А. Афанасьева [10], А. А. Пичхадзе [12, 17].

Одной из особенностей текстов, объединяемых контролируемой традицией, являются смешанные чтения, которые возникали в тех случаях, когда писец не знал, чтение какого из имеющихся в его распоряжении оригиналов предпочесть [9, с. 35; 11, с. 107]. Случаи такого рода встречаются и в анализируемой нами паримье из книги Ионы. Так, например, в 10 стихе I главы профитологий дает следующий пассаж: ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτοῖς. В большей части славянских списков это выражение переводится как *яко повѣда имъ*. Встречаются также варианты: *вѣдѣ, повѣдаѥтъ имъ* (СК), *заповѣда* (Тх-3). А Пб-3 дает чтение *вѣдѣ и повѣдѣ имъ*. Видимо, в оригиналах, которыми пользовался книжник, в этом месте обнаружились разные варианты. Критериев для выбора не было, и в результате возник смешанный вариант. Аналогичным образом в 8 стихе III главы: ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς в соответствии с πονηρᾶς большинство списков дают *неприязньскаго* (*-нина*), встречается вариант *лоукаваго*. В Кл обнаруживается смешанный вариант: *неприязнина и лоукаваго*. Такие примеры можно умножить.

Метод Колвелла основывается на наблюдении, что разночтения, как правило, концентрируются в определенных точках текста, в то время как остальные участки его оказываются тождественными практически во всех рукописях.

Участки текста, которые по спискам дают варианты, Колвелл называет variation units (узлы разночтений). Именно эти фрагменты содержат информацию о взаимоотношении рукописей между собой. При анализе узла разночтений учитываются только варианты, встречающиеся хотя бы в двух рукописях. Индивидуальные чтения списка в расчет не принимаются, так как они содержат информацию лишь о данном списке, а не соотношении списков между собой [9, с. 88]. Например, в книге Ионы в I главе стих 6 в соответствии с греческим καὶ προσῆλθε πρὸς αὐτὸν ὁ πρωρεύς читается и *пристоупи къ нему* (ὁ πρωρεύς). Большая часть рукописей в соответствии с ὁ πρωρεύς дает *носникъ*, однако встречаются также варианты *корабльникъ* и *кръмникъ*, т. е. мы имеем узел разночтений, который выглядит следующим образом:

Греческий текст	Церковнославянский текст	Сиглы рукописей
ὁ πρωρεύς	*корабльникъ*	Ф-1, Нк-2, Мх, См-2, Сн-1
	кръмникъ	Пб-1, Verb
	носникъ единъ	Тх-1
	носникъ	остальные рукописи

При этом чтение, представленное в Тх-4 (*носникъ единъ*), считается совпадающим с чтением *носникъ*, ибо индивидуальные чтения в расчет не принимаются. Каждому варианту присваивается номер. В результате каждая рукопись оказывается описанной определенным набором чисел. При помощи компьютера эти наборы сравниваются между собой, т. е. выясняется количество одинаковых чтений для каждой пары рукописей [5]. Результат выражается в процентах. При этом учитывается то обстоятельство, что в рукописях встречаются лакуны и число узлов разночтений в разных списках оказывается разным. Так, в паримейной версии книги Ионы мы выделили 224 узла разночтений [6]. Однако в конкретном списке число узлов разночтений из-за лакун часто оказывается меньшим.

Итак, в результате обработки данных при помощи компьютера мы узнаем процент общих чтений для каждой пары рукописей. Следующим шагом должна быть группировка рукописей. На первый взгляд, здесь не возникает проблем. Кажется, что операция группировки рукописей может быть основана на утверждении типа: «Две ркописи, для которых процент общих чтений оказывается выше заранее заданного числа (порогового значения), относятся к одной группе». Однако А. А. Алексеев и Е. Л. Кузнецова [18, с. 115] указывают, что было бы некорректно при группировке рукописей опираться на пороговые значения, так как строго обосновать величины этих значений невозможно. Действительно, трудно объяснить, почему две рукописи, имеющие, например, 70% совпадений, относятся к одной группе, а совпадающие на 69% — к разным.

Предлагаемая авторами статьи [18] процедура группировки рукописей выглядит следующим образом: «ЭВМ рассматривает пары списков в порядке убывания процента общих чтений. Две рукописи, имеющие наибольшую степень сходства, образуют первый кластер. Затем рассматривается следующая пара рукописей: если одна из них уже вошла в первый кластер, то к нему приписывается и вторая; если обе рукописи „новые", то они объединяются во второй кластер. Таким образом, рукописи либо приписываются к уже существующим кластерам, либо образуют новые кластеры» [18, с. 115]. А. А. Алексеев предлагает таблицу, из которой виден процент совпадений для каждых двух рукописей. При этом рукописи, дающие высокий процент совпадений, оказываются записанными рядом. Полученная таким образом таблица информативна, однако воспринимать и анализировать заключенную в ней информацию очень трудно [7]. К тому же остается неясным положение рукописей, дающих невысокий процент совпадений со всеми остальными; непонятно, как соотносятся между собой рукописи, относящиеся к разным кластерам.

Мы поступим иначе, а именно, рассмотрим наши рукописи как систему объектов, между которыми устанавливаются связи разных типов [8]. В результате мы получим не статическую характеристику некоторого числа

---

[5] Программу сравнения рукописей любезно составил Л. В. Иванов. Приносим ему за это свою благодарность.

[6] Количество выделяемых узлов разночтений зависит от того, какие уровни языка берутся за основу при текстологическом анализе. В нашей работе фиксируются лишь разночтения лексические и синтаксические.

[7] Таблицы, полученные в результате группировки рукописей по методике, предложенной А. А. Алексеевым, см. в [9, с. 89; 8, с. 11—14; 10, с. 175—178; 11, с. 103; 12, с. 190—194; 17, с. 129—130].

[8] Под связью здесь понимается иерархия отношений, объединяющих элементы системы.

объектов, а модель текста, понимаемого как инвариант, к которому сводятся все реальные списки [9].

Наши списки можно рассматривать как пятьдесят объектов, которые каким-то образом связаны между собой. Введем понятие сильной, слабой и условной связи. Будем считать, что между списками имеется сильная связь в том случае, если они совпадают более чем на 75%; для интервала 70—75% будем говорить о слабой связи; и, наконец, интервал 60—70% рассматривается как условная связь.

Указывая числовые значения, отделяющие сильные связи от слабых, а слабые от условных, мы основываемся в первую очередь на интуиции. Однако в нашем случае допустить при выборе порогового значения серьезную ошибку практически невозможно. Неудачный выбор этих значений может лишь затемнить картину, но не исказить ее [10].

Совпадение менее 60% в расчет не принимается. Введя соответствующие условные обозначения, можно составить таблицу, позволяющую проследить взаимоотношения и достаточно удаленных друг от друга списков (см. табл. 1 на с. 78).

Таблица построена следующим образом: по горизонтали отмечаются связи списка. При этом мы следуем правилу, что для каждого списка должно быть указано не менее пяти [11] связей, т. е. отмечаются все сильные связи, и, если последних оказывается менее пяти, то отмечаются и слабые, а в случае необходимости — условные. Например, для Тх-2 выделяются только сильные связи (их 15), в то время как Ф-2 имеет только одну сильную связь, и, следовательно, для этой рукописи указываются слабые связи. Среди рукописей отбираются те, которые дают больший процент совпадений. Таковыми являются Ляп (73,52%), Тх-2 (73,53%), Стр (73,04%), Григ (72,55%), Пб-3 (72,55%) [12]. Если учет и слабых связей не дает нам возможности довести число связей до пяти, привлекаются условные связи.

Таким образом описываются все рукописи. В результате получаем таблицу, где каждый список охарактеризован в двух отношениях: по горизонтали указываются связи с теми списками, к которым тяготеет данная рукопись, а по вертикали — степень ее инвариантности.

Чем больше связей отмечено в вертикальном столбце, тем выше степень инвариантности списка. Например, о рукописи Ст можно сказать, что она связана сильными связями с Тро-2 и Ляп, слабыми — с Тро-3, Григ,

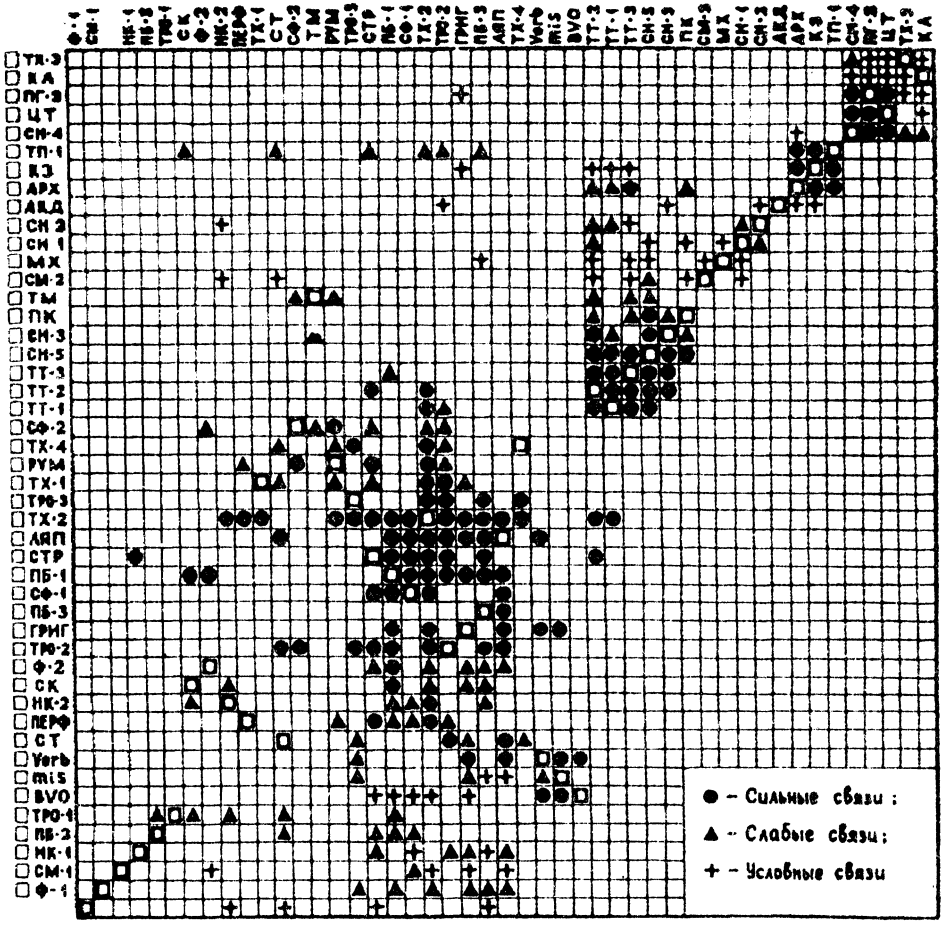
---

[9] Четкое противопоставление лингвистических построений, имеющих дело с моделями языка, и статистической лингвистики см. [19].

[10] Если бы мы взяли иные числа, то таблица стала бы более (или менее) информативной, но группировка рукописей не изменилась бы. Действительно, неудачный выбор числовых значений, характеризующих конкретный тип связи, может, в предельном случае, привести к следующим результатам. 1) Интервал существенно больше оптимального. При этом практически все клеточки таблицы окажутся заполненными и анализировать ее станет очень трудно. Увеличение интервала, описывающего вид связи, приводит к тому, что каждый список оказывается охарактеризованным с максимальной полнотой, но возрастает «шум в канале связи». 2) Интервал числовых значений, описывающих конкретный тип связи, существенно меньше оптимального. В этом случае каждая рукопись оказывается описанной крайне незначительным числом связей, таблица легко читается («шум» минимален), но значительная часть рукописей оказывается неохарактеризованной.

[11] Если мы возьмем иное число, то таблица станет менее (или более) информативной, но группировка рукописей не изменится. Ситуация здесь аналогична описанной в примеч. 10.

[12] Указываются пять рукописей вместо четырех, так как Ляп и Пб-3 дают одинаковый процент совпадения с Тх-2; в таких случаях приводятся обе рукописи.



Тх-4, в то время как с ней оказываются связанными слабыми и условными связями такие непохожие друг на друга списки, как Ф-1, Пб-2, Тро-1, Тх-1, Тх-4, См-2, Тп-1, и сильными связями, соответственно, Тро-2 и Ляп. Таким образом, можно видеть, что если сильные связи оказываются симметричными, то слабые и условные связи, как правило, имеют направление: т. е. если Тт-2 объединяется с Тх-2 сильной связью, то Тх-2 связан с Тт-2 такой же связью; если же, например, Срд связан с Тх-2 условной связью, то для Тх-2 условная связь с Срд оказывается незначимой.

Предложенная таблица является не формой записи результатов статистического исследования средневековых рукописей, а м о д е л ь ю т е к с т а. При этом под текстом понимается инвариант, к которому сводятся реальные рукописи. Текст описывается как система списков, в которой каждый список занимает свое место. Характеристикой каждого списка в системе являются его связи. Мы отдаем себе отчет в условности предложенной классификации связей, так как объективного критерия для проведения границы, видимо, не существует [18, с. 115]. Тем не менее мы выделяем виды связей, основываясь на проценте совпадения

списков между собой, поскольку это позволяет перейти от статистического описания текста к модели.

Центральное место в таблице занимает достаточно большая группа рукописей, относящихся к XII—XVI вв. Основное ядро ее составляют такие списки, так Тх-2, Григ, Тро-2, Пб-3, Ляп, Пб-1, Сф-1, Стр, Тро-3, Рум. Со списками, входящими в это ядро, связаны также глаголические бревиарии. Ряд списков (Ф-1, См-2, Срд, Нк-1 и т. д.) оказывается на периферии, однако их принадлежность к данной группе несомненна, так как эти рукописи почти не имеют связей с другими группами.

Другая четко обособленная группа, центром которой являются такие списки, как Тт-2, Тт-1, Тт-3, Сн-5, Сн-3, Нк, безусловно связана с предыдущей. Нужно сказать, что находящиеся на периферии этой группы списки (См-2, Мх, Сн-1, Сн-2) довольно тесно связаны между собой, и, может быть, их целесообразно рассматривать как самостоятельную группу. К этой группе также примыкают Арх, Кэ, Тп-1 — три достаточно близких между собой рукописи.

И, наконец, особое место занимают списки Сн-4, Пг-2, Тх-3, Кл, легшие в основу старопечатных триодей (ЦТ). Образуя компактную группу, эти списки имеют слабые и условные связи со списками, входящими в основную группу, в то время как другие группы практически не имеют связей с данной группой.

III

Итак, мы получили некую группировку рукописей. Следующий шаг кажется очевидным — обосновать полученные результаты методами традиционной текстологии. Однако не следует ожидать, что в результате мы сможем четко установить характерные особенности выделенных групп [13]. Дело в том, что при переписывании текста в результате использования нескольких оригиналов число особенностей, возникших в результате той или иной справы, уменьшается, что весьма затрудняет выделение редакций паримейника. Текстологических особенностей, характерных для выделенных при статистическом анализе групп рукописей, оказывается очень немного. «Наполнение» полученной нами классификации списков собственно текстологическим материалом едва ли позволит нам достоверно воссоздать историю возникновения этих групп.

Вообще попытка выделения текстологических примет, характеризующих группы рукописей, установленные при помощи статистического анализа, не является корректной операцией. Ведь само обращение к достаточно трудоемким статистическим методикам связано с тем, что в некоторых типах текстов не удавалось обнаружить системы достаточно устойчивых текстологических примет [14, с. 347], которые позволили бы выделить редакции памятника. Отсутствие текстологических примет было объяснено тем, что в процессе создания рукописи книжник, осуществляя контроль за правильностью переписываемого текста, пользовался несколькими оригиналами. Бесполезно пытаться обнаружить устойчивые текстологические приметы в рукописях, созданных таким образом [14], и, следовательно, приходится обращаться к статистическим методам.

---

[13] Эти группы соответствуют тому, что Э. Колвелл называет text-type. Под текстовым типом у Колвелла понимается наибольшая группа источников, которая может быть строго отождествлена (речь идет о группе рукописей, а не о наборе особенностей, характеризующих ее (см. [13, с. 9]).

[14] Напомним, что представление о том, что книжники использовали в своей работе более одного оригинала, является гипотезой, а не надежно установленным фактом.

Именно отсутствие текстологических примет заставило исследователей обратиться к статистике. Попытки обнаружить текстологические приметы, характеризующие группы, выделенные при помощи статистических методов, на первый взгляд, кажутся бессмысленными. Однако поиск этих примет часто приводит к положительному результату [15]. При разработке концепции текста с контролируемой традицией необходимо понять, какая реальность стоит за выделяемыми текстологическими приметами и как соотносится понятие «текстологическая примета» при традиционном и статистическом подходах.

IV

Выше были высказаны некоторые соображения относительно методов группировки рукописей, содержащих один и тот же текст. Здесь стоит пояснить, что именно понимается в данной работе под текстом. Подобно фонеме, объединяющей множество вариантов и вариаций, под текстом с контролируемой рукописной традицией целесообразно понимать не знаковый состав конкретной рукописи или группы рукописей, а инвариант, вариантами которого являются все дошедшие и не дошедшие до нас рукописи. Этот инвариант отражает общую тенденцию, которой следовали переписчики и редакторы наших рукописей.

Понимая под текстом инвариант, соответствующий системе реальных списков, можно заключить, что текст характеризуется, с одной стороны, тенденцией к дезорганизованности, распаду (энтропия), а с другой — тенденцией к большей организованности [20, 21]. Первая тенденция может быть связана со стремлением книжника сделать свой текст более понятным читателю (оно ведет к внесению в переписываемую рукопись элементов, характерных для местного извода церковнославянского языка), попытками вернуться к древнему облику текста, а также ошибками и описками, возникающими при переписывании. Вносимые исправления, независимо от образованности и филологического чутья книжника, вели к появлению новых вариантов и, следовательно, к распаду, дезорганизации текста. Одновременно действовала тенденция, обеспечивающая диахроническое единство текста. Эта тенденция связана в первую очередь с использованием нескольких оригиналов при переписывании рукописей. Использование нескольких протографов предотвращало тиражирование и закрепление в рукописной традиции вносимых в рукописи изменений и в конечном счете обеспечивало тождество текста самому себе.

Необходимо учитывать функциональную противопоставленность паримейника, с одной стороны, четьему и толковому текстам, а с другой — тексту, входящему в состав глаголических бревиариев. Эти тексты могли каким-то образом влиять друг на друга, но мы не рассматриваем эти влияния как результат контроля над текстом и считаем, что в качестве антиграфов могли использоваться только рукописи, содержащие один текст. Антиграфом для паримейника мог служить только паримейник. А. А. Алексеев, отмечая случаи бессистемного смешения евангелий разных типов, приходит к выводу, что «контроль за стабильностью текста мог осуществляться поверх текстологических группировок рукописей и типологических рубрикаций...» [8, с. 18—19]. Безусловно, тексты разного типа оказывали влияние друг на друга. Однако, на наш взгляд, подобное влияние логичнее считать не контролем над текстом, а редак-

[15] Успешная попытка охарактеризовать полученную при помощи метода Колвелла группировку рукописей паримейника методами традиционной текстологии была предпринята А. А. Пичхадзе.

турой, подобно исправлениям по иноязычному оригиналу. Редакторские исправления сакральных текстов — дело наиболее образованных и квалифицированных книжников, в то время как контроль за переписываемым текстом, видимо, носил массовый характер. Использование в качестве протографов рукописей разных типов должно было чрезвычайно усложнить работу книжника. Трудно предположить, что такая трудоемкая работа могла осуществляться слишком часто.

Понимание текста как инварианта, к которому сводятся рассматриваемые списки, предполагает соответствующий метод текстологического анализа этих списков. Можно попытаться охарактеризовать инновации, вносимые в текст на протяжении его истории, соотнести имеющиеся в рукописях разночтения с известными книжными справами. При этом объектом исследования будут не отдельные группы рукописей, а текст.

V

Результатом текстологического исследования должно стать критическое издание исследуемого текста. Одной из существеннейших проблем, стоящих перед издателями текстов, которые дошли до нас во многих списках, является выбор рукописи, которая должна лечь в основу издания. Для текстов, составляющих контролируемую рукописную традицию, таким списком должен быть список, максимально близкий инварианту [9, с. 93], т. е. список, для которого средний процент совпадений с другими рукописями окажется наивысшим. Этот средний процент должен показывать, так сказать, степень инвариантности рукописи. Подчеркнем, что речь идет о списке, наиболее близком инварианту, а не архетипу. Видимо, наиболее инвариантным должен оказаться список, соответствующий представлению средневекового книжника об идеальном тексте. Естественно, необходимо также учитывать количество индивидуальных чтений, отсутствие механических повреждений рукописи и т. п.

Для нашего текста рассмотренные списки дают следующий средний процент совпадений друг с другом.

1. Григ 68,6	17. Сн-5	33. Сн-1 60,01
2. Тх-2 68,56	18. Пб-1 } 64,02	34. Кз 59,24
3. Тро-2 66,96	19. Тт-3 63,83	35. Ф-1 59,13
4. Ляп 66,82	20. Ф-2 63,75	36. Пг-1 58,83
5. Тро-3 66,85	21. Сн-3 63,62	37. Кл 58,75
6. Стр 66,77	22. Тт-1 65,59	(38. BVO 57,66)
7. Пб-3 66,34	23. Пк 63,54	39. См-2 57,07
8. Сф-1, 66,19	24. Тх-4 63,39	40. Акд } 55,92
9. Ст 65,79	25. Арх 62,62	41. Мх }
10. Тт-2 65,44	26. См-1 62,49	42. Пг-2 55,07
11. Нк-2 65,05	27. Сф-2 61,92	43. Сн-4 54,20
12. Тп-1 64,80	28. Тм 61,75	44. Тх-3 53,5
13. Ск 64,35	29. Нк-1 61,7	45. Тро-1 52,48
14. Рум 64,28	30. Verb 61,03	46. Цт 51,75
15. Тх-1 64,09	31. Срд 60,71	(47. Mis 46,41)
16. Перф 64,06	32. Сн-2 60,46	(48. Nov 44,80)[15]

Нас интересует не числовое значение среднего процента, а порядковый номер рукописи в списке, который указывает степень инвариантности списка (чем меньше номер, тем ближе оказывается рукопись к тому по определению не реализуемому идеалу, к которому стремились в своей работе книжники).

[16] Напоминаем, что данные глаголических бревиариев привлекались для сравнения и для них средний процент совпадений едва ли можно считать показателем степени инвариантности.

Таблица 2

№	Паримьи									
	Ляп	Нк-2	См-2	Сн-3	Сн-5	Тм	Тт-2	Тх-4	Ф-1	Пг-2
1	7	1	8	3/4	2	5	3/4	9	6	10
2	7	1	9	3	5	6	10	2	4	8
3	10	2	3	6	9	7	5	1	4	8
4	6	10	4	3	5	8	7	9	1	2
5	1	3	9	5	4	7	2	6	8	3

Предлагаемая форма записи позволяет сравнить наши данные с результатами, полученными А. А. Пичхадзе при анализе паримий из книги Исход. Сравнивать непосредственно проценты совпадений, полученные разными исследователями при анализе разных текстов, нельзя, т. к. эти числа зависят от принципов выделения узлов разночтений, которые у разных исследователей оказываются неодинаковыми.

Для сравнения нами были взяты 10 рукописей, в которых целиком читаются следующие паримьи: 1) Исход I. 1—20 (Страстной понедельник); 2) Исход XIV. 15—29$_1$ (Великая суббота); 3) Исход XIV. 15—29$_1$ (Богоявление); 4) Исход X. 1—3, 4, 5, 9—10, 16, 34—35 (Введение) [17]; 5) Иона I—IV (Великая суббота). Относительно каждой паримьи рукописи были расположены в порядке убывания степени инвариантности. Таким образом, наиболее инвариантная рукопись обозначается цифрой 1, а наименее — цифрой 10 (см. табл. 2).

Степень инвариантности рукописи относительно разных чтений оказывается разной. Это означает, что результаты изучения отдельных чтений не могут быть экстраполированы на весь памятник. Установление списка, наиболее близкого к инварианту для каждого текста, должно представлять собой самостоятельное исследование.

Если степень близости к инварианту чтения колеблется от списка к списку, то общая группировка рукописей более или менее стабильна. Результаты группировки рукописей, полученные на основании анализа текста книги Ионы, почти совпадают с группировкой А. А. Пичхадзе, исследовавшей текст книги Исход [12].

VI

Разделение текста на участки, в которых все дошедшие списки дают одинаковое чтение [18], и участки, в которых разные списки дают разные варианты (узлы разночтений), может иметь значение для решения ряда вопросов, касающихся особенностей переводческой техники Кирилла и Мефодия. Исследователи текстов, восходящих ко времени деятельности солунских братьев, чаще сосредотачивали свое внимание на том, чем дошедшие до нас списки отличаются друг от друга, т. е. на тех участках текста, которые мы называем узлами разночтений. В результате возникла достаточно обширная литература, посвященная проблеме лексической вариативности.

Между тем для суждений о деятельности Кирилла и Мефодия естественнее обращаться к тем фрагментам текста, о которых с уверенностью

[17] Данные, касающиеся книги Исход, приводятся по [12, с. 190—193].

[18] Напомним, что индивидуальные чтения, т. е. чтения, имеющиеся только в одной рукописи, в расчет не принимаются.

можно сказать, что именно они являются результатом деятельности солунских братьев. Видимо, целесообразно было бы составить славяно-греческие параллели к тем участкам текста, в которых нет разночтений. Эта работа также была бы полезна для реконструкции греческого оригинала кирилло-мефодиевских переводов. Понятно, что при столь значительном числе узлов разночтений речь пойдет не о связных фрагментах, а об отдельных лексемах и синтаксических конструкциях. В нашем случае более крупные фрагменты обнаруживаются лишь в книге Ионы II.2—10 (Молитва Ионы во чреве китово) — наиболее стабильной части текста. Мы видим, что извлекаемый таким образом материал должен содержать информацию не о тексте, а о языке кирилло-мефодиевских переводов.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Акд — БАН, 331721. Паримейник, XVI в.
Арх — ЦГАДА, ф. 181, МГАМИД № 570/1071. Паримейник, XVI в.
Григ — ГБЛ, ф. 87, Григор. № 2/М. 1685. Григоровичев паримейник, XII—XIII в.
Кз — ЦГАДА, ф. 381 оп. 1, Тип. № 61, Козминский паримейник, 1313 г.
Кл — ГПБ, Колобов. № 467. Паримейник. XV—XVI в.
Ляп — ГБЛ, ф. 270 раздел II. Севост. № 2/М. 1439. Ляпуновский паримейник, 1511.
Мх — ЦГАДА, ф. 381 оп. 1, Тип. № 57. Михайловский паримейник, пер. пол. XV в.
НК-1 — ЦГАДА ф. 381 оп. 1, Тип. № 49. Никифоровский I паримейник, 2-я пол. XIV в.
Нк-2 — ЦГАДА ф. 381 оп. 1, Тип. № 54. Никифоровский II паримейник, 2-я пол. XIV в.
Пб-1 — ГПБ, Q. п. I. 51. Паримейник, XIII в.
Пб-2 — ГПБ, Q. 1.178. Паримейник, XV в.
Пб-3 — ГПБ, Q. 1.179. Паримейник, XV в.
Пг-1 — ГПБ, Погод. № 57. Паримейник, XIV в.
Пг-2 — ГПБ, Погод. № 451. Паримейник, XV в.
Перф — ГБЛ, ф. 310 Ундол. № 1207. Перфирьевский паримейник, 1378 г.
Пк — ЦГАДА, ф. 381 оп. 1, Тип. № 63. Покровский паримейник, сер. XIV в.
Рум — ГБЛ, ф. 256, Рум. № 304. Паримейник, XV в.
Ск — ЦГАДА, ф. 381 оп. 1, Тип. № 50. Сковородский паримейник, 1-я пол. XIII в.
См-1 — ЦГАДА, ф. 381 оп. 1, Тип. № 51. Семеновский I паримейник, 2-я пол. XIV в.
См-2 — ЦГАДА, ф. 381 оп. 1, Тип. № 62. Семеновский II паримейник, нач. XIV в.
Си-1 — ЦГИАЛ, ф. 834 оп. 1, Син. № 156. Паримейник, 1-я пол. XV в.
Си-2 — ЦГИАЛ, ф. 834 оп. 1, Син. № 157. Паримейник, XV—XVI вв.
Си-3 — ЦГИАЛ, ф. 834 оп. 1. Син. № 158. Паримейник, XV—XVI вв.
Си-4 — ЦГИАЛ, ф. 834 оп. 1, Син. № 159. Паримейник, 1585 г.
Си-5 — ЦГИАЛ, ф. 834 оп. 1, Син. № 160. Паримейник, XVII в.
Срд — ЦГАДА, ф. 381 оп. 1. Тип. № 56. Середкинский паримейник, 2-я пол. XIV в.
Ст — ГБЛ, ф. 256, Рум. № 303. Стефановский паримейник, XIV в.
Стр — ГПБ, Q. п. 1.14. Строгановский паримейник, XIV в.
Сф-1 — ГПБ, Соф. № 53. Паримейник, XIII в.
Сф-2 — ГПБ, Соф. № 433. Паримейник, XIV в.
Тм — ГПБ, Q. 1.177. Тимохинский паримейник, 1506 г.
Ти-1 — ЦГАДА, ф. 381 оп. 1, Тип. № 52. Паримейник, 1348 г.
Тро-1 — ГБЛ, ф. 304, 1, Тр.-Серг. № 4. Паримейник, XIV в.
Тро-2 — ГБЛ, ф. 304, 1, Тр.-Серг. № 64. Паримейник, XV в.
Тро-3 — ГБЛ, ф. 304, 1, Тр.-Серг. № 65. Паримейник, 1530 г.
Тт-1 — ГПБ, Тит. № 927. Паримейник, 1-я пол. XV в.
Тт-2 — ГПБ, Тит. № 953. Паримейник, XVI в.
Тт-3 — ГПБ, Тит. № 3325. Паримейник, XVI в.
Тх-1 — ГБЛ, ф. 299. Тихонр. № 202. Паримейник, к. XIV/?/ — нач. XV в.
Тх-2 — ГБЛ, ф. 299. Тихонр. № 203. Паримейник, к. XIV — нач. XV в.
Тх-3 — ГБЛ, ф. 299. Тихонр. № 205. Паримейник, XVI в.
Тх-4 — ГБЛ, ф. 299. Тихонр. № 297. Паримейник, к. XV — нач. XVI в.
Ф-1 — ЦГАДА, ф. 381, оп. 1, Тип. № 55. Федоровский I паримейник, 2-я пол. XIV в.
Ф-2 — ЦГАДА, ф. 381 оп. 1, Тип. № 60. Федоровский II паримейник, XIII в.
Цт — Старопечатные Цветные триоди собрания Научной б-ки МГУ им. А. М. Горького: 1. Триодь цветная. М., 1591; 2. Триодь цветная. М., 1604; 3. Триодь цветная. Вильна, 1609.

Verb — II Vrbnički brevijar, 1391 г. [22, с. 84—88].
BVO — Brevijar Vida Omišljanina, 1396 г. [2, с. 138—153].
Mis — Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483 г. [23].
Nov — II Novljanski brevijar, 1495 г. [24].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Туницкий Н. Л.* Книги Малых пророков. Сергиев Посад, 1918.
2. *Ribarova Zd.* Knjiga proroka Jone // Slovo. 1987. № 37.
3. Monumenta musicae Byzantinae. Lectionaria. V. 1: Prophetologium. Fasc. 1—6. Hauniae, 1939—1970; Pars 2: Lectiones anni immobilis. Fasc. 1—2. Hauniae, 1980—1981.
4. *Пичхадзе А. А.* Типология паримейных чтений книги Исход // Старобългаристика. 1986. № 1. С. 29—34.
5. Каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в ЦГАДА СССР. М., 1988.
6. *Сапунов Б. В.* Книга в России в XI—XIII вв. Л., 1978. С. 64.
7. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. М., 1984.
8. *Алексеев А. А.* Опыт текстологического исследования славянского Евангелия (по спискам библиотек Болгарии) // Старобългаристика. 1986. № 3.
9. *Алексеев А. А.* Проект текстологического исследования кирилло-мефодиевского перевода Евангелия // Советское славяноведение. 1984. № 2.
10. *Афанасьева Е. А.* К истории текста и языка древнейшего славянского перевода книги Иова: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1988.
11. *Коссек Н. В.* К вопросу о текстологии кирилло-мефодиевских переводов // ВЯ. 1988. № 2.
12. *Пичхадзе А. А.* К лингвистическому изучению славянского паримейника (на материале паримейных чтений книги Исход): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1988.
13. *Colwell E. C.* Studies in methodology in textual criticism of the New Testament. Leiden, 1969.
14. *Михайлов А. В.* Опыт изучения текста книги Бытия пророка Моисея в древнеславянском переводе. Ч. I.: Паримейный текст. Варшава, 1912.
15. *Лихачев Д. С.* Текстология. Л., 1983.
16. *Толстой Н. И.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988. С. 169.
17. *Пичхадзе А. А.* Применение статистики при текстологическом исследовании памятников с контролируемой традицией // Лингвистические задачи и обработка данных на ЭВМ. М., 1987.
18. *Алексеев А. А., Кузнецова Е. Л.* ЭВМ и проблемы текстологии славянских текстов // Лингвистические задачи обработка данных на ЭВМ. М., 1988.
19. *Бар-Хиллел И.* Некоторые новые результаты в теоретической лингвистике // Математическая логика и ее применение. М., 1985. С. 272.
20. *Топоров В. Н.* Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 228.
21. *Винер Н.* Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М., 1983. С. 56.
22. *Berčič J.* Ulomci Svetoga Pisma obojeja ujeta. D. 3. Praha, 1865. P. 84—88.
23. Misal po zakonu rimskoga dvora (1483). Zagreb, 1971. P. 96—97.
24. II Novljanski brevijar. Fototip. izd. Zagreb, 1977. P. 256c — 257a.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

Помещаемая ниже статья вышла из-под пера одного из самых авторитетных и оригинальных современных славистов.

Однажды при мне кто-то дал выразительную характеристику Гельмута Кайперта: ganz deutsch. И действительно, профессор Боннского университета — это олицетворение лучших национальных черт того образа немецкого ученого, который сложился в мире. Он отменно знает источники; он владеет всей литературой вопроса; ему свойствен основательный и филигранный филологический анализ и приверженность к позитивным фактам; в то же время он оправданно сдержан в генеральных заключениях; его стиль изложения — теснота словесного ряда при максимальной насыщенности содержанием; для него характерно разнообразие научных поисков, покоящееся на владении всеми славянскими языками. Наконец, Г. Кайперт — исследователь плодовитый. У него давняя и прочная репутация выдающегося европейского ученого, в центре интересов которого стоит проблемы русистики.

И между тем как раз в нашей стране Г. Кайперт, к сожалению, известен явно недостаточно. В обширном списке его трудов — всего одна публикация, вышедшая в СССР, да и то это не полновесная статья, а тезисы доклада. Вот почему нижеследующую статью, представляющую собой перевод одной из весьма характерных для позиции ученого работ, надо расценить как желанное, хотя и несколько запоздалое, событие.

Г. Кайперт получил фундаментальную университетскую подготовку в Бонне и в Марбурге (по специальностям: славистика, латинская филология, общее и сравнительное языкознание). Среди своих учителей он называет на первом месте проф. Маргарете Вольтнер и далее профессоров Г. Бройера, Й. Кноблоха, Ф. Мунари, Г. Ротэ, В. Шмида, К. Шмидта, Л. Вайсгербера и Э. Штурмс. Его первая диссертация была посвящена истории текста и морфологии имени «Временника» Ивана Тимофеева, вторая — церковнославянскому словообразованию (с исчерпывающим охватом прилагательных на *-тельнъ*); обе книги опубликованы (вторая — в двух частях). Г. Кайперт является профессором Славистического семинара Боннского университета. Он участвует во многих национальных и международных совещаниях славистов, бывал, в частности, и в Советском Союзе.

Дать представление обо всем круге научных интересов Г. Кайперта в краткой заметке совершенно невозможно. Даже если оставить в стороне его публикации, посвященные болгарскому, сербскому, польскому и другим славянским языкам, и сосредоточиться лишь на русистской проблематике, придется ограничиться выборочным перечислением. Лексика церковнославянского и древнерусского языков, словообразование и морфология этих же языков, история отдельных слов и выражений, история грамматической мысли и терминологии, история рифмы и вообще риторики, история славянской филологии (в том числе в неславянских странах), переводы литературных текстов на немецкий язык и с немецкого на русский, а также в меньшей мере и отдельные вопросы современного русского литературного языка и его преподавания иностранцам — такова, пожалуй, тематика основных напечатанных трудов. Г. Кайперт исследовал язык множества выдающихся деятелей славянской и русской книжно-письменной культуры: первоучителя Мефодия, Владимира Мономаха, летописца Нестора, Нила Курлятева, Ивана Тимофеева, Епифания Славинецкого, Поликарпова, Ломоносова, Адодурова, Шванвица, Гренинга, Новикова, Орнатского, Востокова, Гнедича... Он постоянно работает над переводными славянскими текстами (опубликованы разыскания о языке Супрасльской рукописи, гомилий Афанасия из Клоцова сборника, гомилий Григория Богослова, жития Григория Синаита патриарха Каллиста, легенды о сорока мучениках севастийских и т. д.).

На мой взгляд, самое интересное в научном творчестве Г. Кайперта — это его концепция истории русского литературного языка, социолингвистическая по своему характеру и многоаспектная по исследовательским методам. Подготавливая настоящую вступительную заметку и желая быть аутентичным, я в свое время попросил ученого представить эту концепцию в немногих словах. В письме от 19 сентября

1990 г. он ответил: «Мне нелегко изложить свое лингвистическое кредо. Я не скрываю, что в своих историко-лингвистических взглядах придерживаюсь пражской теории литературного языка. Впрочем, я не теоретик, а исследователь, который с удовольствием погружается во все многообразие обращавшихся у славян текстов, но отнюдь не всегда стремится подключить прочитанное к определенной теоретической модели». Что ж, эти строки — отчетливая позиция. Пусть, таким образом, о концепции Г. Кайперта касательно истории русского литературного языка,— а она, вне всякого сомнения, очень интересна, плодотворна и перспективна,— читатель сам судит по его нижеследующей обстоятельной статье.

Статья публикуется по инициативе редколлегии журнала «Вопросы языкознания». Для перевода на русский язык Г. Кайперт выбрал именно ее. Перевод осуществила аспирантка Института русского языка АН СССР Л. П. Медведева (под моей редакцией). Г. Кайперт ознакомился с ним и его авторизовал.

Верещагин Е. М.

КАЙПЕРТ Г.

КРЕЩЕНИЕ РУСИ И ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

На вопрос о том, какие задачи подобает решать истории языка как научной дисциплине, в русистике отвечают по-разному. Впрочем, сегодня, пожалуй, почти все согласны с тем, что следует различать историческую грамматику русского языка как его внутреннюю историю и историю языка в узком смысле как частную дисциплину, занимающуюся прежде всего внешними условиями развития русского литературного языка[1]. Но о конкретном наполнении последней все еще имеются значительные расхождения во мнениях. Так, советские учебники под названием «История русского литературного языка» традиционно исследуют — как правило, в хронологической последовательности — язык главным образом тех текстов, которые рассматриваются и в обычных курсах истории русской литературы. При этом прежде всего принимается во внимание роль поэтов, писателей и публицистов в обогащении и стабилизации норм русского литературного языка. Эта точка зрения была недавно еще раз подробно обоснована [2].¶ Тщательное комментирование языка и стиля как можно большего числа произведений русской литературы, начиная с ее истоков и до современности, может быть весьма интересным и ценным, однако этот путь оказывается непродуктивным, если мы хотим выяснить, когда и каким образом русский язык приобрел те отличительные черты, которые в современной лингвистике связываются с понятием «литературный язык»

© *Keipert H.* Die Christianisierung Rußlands als Gegenstand der russichen Sprachgeschichte // Tausend Jahre Christentum im Rußland. Zum Millennium der Taufe der Kiever Rus' / Hrsg. von Felmy K. Ch., Kretschmar G., von Lilienfeld F., Roepke C.- J. Göttingen, 1988. S. 313—346.

[1] Может показаться, что этому утверждению противоречат опубликованные в последнее время учебники, в которых сделана попытка слить обе области (ср. [1—3]). Между тем не случайно такие труды появляются только за пределами СССР и адресуются нерусскому читателю, проявляющему интерес к истории русского языка. Кроме того, нельзя однозначно ответить на вопрос, насколько удалось это соединение.

[2] Ср. монографию [4] и рецензии на нее, частью одобрительные, частью скептические [5—8], а также вышедший впоследствии обобщающий труд того же автора [9], основанный на теоретических принципах предыдущей работы [4].

(или «стандартный язык»), а именно: поливалентность, стилистическую дифференциацию, кодификацию норм и их надрегиональное значение (или общеобязательность) [3]. Кроме того, и на вопрос (конечно, не только в связи с тысячелетием крещения поставленный): какое значение имело принятие христианства на Руси и каковы культурно-исторические последствия этого события для развития русского языка,— на этот вопрос в подобных традиционных трудах можно найти, как правило, только краткие и к тому же весьма общие ответы. Многочисленные языковые проблемы более чем тысячелетней христианской истории восточных славян находят в них весьма незначительное отражение.

Разумеется, в последние годы при описании внешней истории русского литературного языка развивались и другие концепции, авторы которых выходят за тематические рамки истории литературы и стремятся придать большее значение вопросам, относящимся прямо к лингвистике. К таким методологическим альтернативам принадлежит попытка описать языковую ситуацию средневековой Руси по образцу разработанной Ч. Фергусоном модели диглоссии и представить современный русский литературный язык как результат исторического развития ситуации двуязычия, следующего за ситуацией диглоссии [13, 14]. Как известно, эта концепция встретила не только одобрение, но и скептические возражения, и отрицание, поскольку история восточнославянской культуры обнаруживает некоторые особенности, которые вряд ли согласуются с моделью Фергусона (да и модель эта как таковая, пожалуй, слишком проста). Это, например, другие — социолингвистически релевантные — условия просвещения в Древней Руси или до сих пор не доказанное с достаточной полнотой дополнительное распределение функций между языками восточнославянской области, находящимися в диглоссийных взаимоотношениях [4]. Однако при всех возможных возражениях против этой концепции не следует забывать, что благодаря ей привлечено внимание ко многим аспектам в развитии русского литературного языка, находившимся до этого в пренебрежении, и на обширном новом материале убедительно доказана необходимость пополнения традиционного набора текстов, рассматриваемых в курсах истории русского литературного языка. Можно только приветствовать стремление к более серьезной лингвистической теории, поскольку благодаря применению такого рода социолого-типологических критериев история русского литературного языка осмысляется уже не как явление sui generis, а как процесс, в котором, несмотря на его историческое своеобразие, можно увидеть немало общего с историей литературных языков в других частях Европы. Так как, по теории диглоссии, церковная переводная книжность, перенесенная на Русь со славянского юга, доминировала в сложившейся языковой ситуации, от этой теории можно ожидать детальных конкретных разысканий [5], которые позволят глубже проникнуть в языковые аспекты крещения Руси,— по сравнению с тем, что мы имеем в обычных учебниках, которые почти полностью ограничены рассмотрением восточнославянских, или русских, оригинальных произведений.

Лингвистической сопоставимости истории русского литературного

---

[3] Ср. вслед за позицией А. В. Исаченко [10] современный взгляд на проблематику стандартного языка с той же (пражской) точки зрения [11]; и, кроме того [12].

[4] Ср. вслед за [15] сборник [16], посвященный прежде всего этому вопросу (статьи А. А. Алексеева, Л. П. Клименко, В. В. Колесова и др.).

[5] Ср. учебник Б. А. Успенского [17], вышедший в свет после написания этой статьи.

языка в еще большей степени может способствовать попытка последовательно интерпретировать ее, в духе пражской теории литературных языков, как историю уже упомянутых признаков, обладающих свойством обязательности для понятия «литературный язык». Это означает, что характерную для современного состояния языка поливалентность следует описывать как итог предшествующего постепенного развития полифункциональности и что нынешняя стилистическая дифференциация должна быть объяснена как продиктованный новыми функциями результат становления и разграничения специфических средств выражения. Это означает также, что современную кодификацию норм необходимо выводить из предшествующих кодификаций и что, наконец, прослеживая постепенное надрегиональное или социальное признание данных норм, из которого вытекает синхронный признак общеобязательности, можно учитывать в истории литературных языков социально-исторические факторы (ср. [18, с. 69 и сл.]). Применительно к истории русского литературного языка подобное «расчленение» комплексного процесса на ряд отдельных,— а это, на первый взгляд, производит странное впечатление,— имеет по крайней мере то эвристическое преимущество, что побуждает к более тщательному анализу процессов и событий, которые в данной области имели значение для олитературивания языка. Пожалуй, можно скорее понять своеобразие каждой отдельной области и функциональной сферы с ее специфическими культурно-историческими предпосылками, особенностями развития языковых средств и характерной периодизацией, если разделить объект исследования на несколько отдельных процессов, которые четко разграничены, хотя и не протекают совершенно независимо друг от друга. Это лучше, чем давать привычное цельное изложение, построенное на движении от века к веку. Исходя из данной концепции, в истории становления полифункциональности русского языка выделяются такие сферы, как «управление, военное дело, дипломатия», «наука, ремесла и техника», «беллетристика, театр и декламация», «публицистика и публичная речь», «частные записки» или «устная речь». Среди функциональных сфер необходимо уделить особое внимание сфере «религия и церковь», тем более что она отличается от других рядом ярких особенностей:

— благодаря традиции бытования текстов, насчитывающей почти тысячу лет, церковная книжность у восточных славян засвидетельствована в глубокой древности, и притом для старшей поры самым большим числом рукописей;

— практически только в церковно-религиозной книжности одни и те же тексты употребляются до настоящего времени, модифицируясь в языковом отношении; именно здесь в новейшее время наблюдается систематическая русификация древних церковнославянских текстов, похожая на перевод;

— только в этой функциональной сфере, в православном богослужении, в России до сего дня обязательно употребление не своего языка, а именно церковнославянского, который в основе является южнославянским; во всех других сферах применения возобладал русский язык, так что процесс становления его полифункциональности завершился (ср. [19]).

Но и независимо от этих особенностей крещение Руси с его лингвистическими последствиями заслуживает большего внимания, чем ему обычно уделяется в учебниках по истории русского литературного языка.

Шесть нижеследующих тезисов отражают, на мой взгляд, взаимозависимость между развитием церковной жизни России и образованием русского литературного языка.

Историческая русистика по традиции изучает две формы языка: русский (восточнославянский народно-разговорный) язык и церковнославянский, и применение гипотезы диглоссии к культуре Древней Руси, быть может, еще более упрочило впечатление о некоем языковом дуализме. Поэтому нелишне будет с самого начала определенно сказать, что в истории Руси, при распространении христианского учения, сыграли свою посредническую роль и другие языки, которые, помимо церковнославянского, оказали влияние на образование норм восточнославянских языков.

К невыясненным проблемам истории крещения восточных славян (а из-за отсутствия источников они едва ли когда-либо прояснятся) относится вопрос о статусе греческого языка. Речь идет не о том, насколько, по предположениям, было распространено владение этим языком (о чем уже собран ряд свидетельств, ср. Э. Хёш [20, с. 250—260]), но скорее о выявлении сфер, в которых было принято употребление греческого. Нельзя точно сказать, в каком объеме (т. е. конкретно когда, где и кем) богослужение в Древней Руси совершалось по-гречески, но все же маловероятно, что греческие епископы, и тем более многочисленные греческие митрополиты, служили литургию не на своем родном языке. Из свидетельства митрополита Никифора I (или II) (ср. [21] и [22]) недвусмысленно следует, что эти архипастыри иногда даже проповеди говорили по-гречески. На греческом языке, вероятно, первоначально составлялись и многие документы митрополичьей канцелярии, которые лишь в дальнейшем были переведены на славянский язык и в таком виде дошли до нас. Небольшие фрагменты греческих записок митрополита Феогноста 1328—1347 гг. сохранились, благодаря счастливой случайности, в Ватиканской библиотеке (ср. [23]). Невозможно, далее, точно установить, в течение какого времени на Руси в церковно-правовых делах применялся греческий текст Номоканона (появившиеся же довольно рано его славянские переводы привлекались лишь для справок) (ср. [20, с. 251 и сл.]). Насколько я могу судить, первая открытая жалоба на то, что митрополиты, поставляемые от Константинополя, не владеют местным языком, появляется лишь при Василии Темном в середине XV в., в связи со спорами о политике митрополита Исидора (ср. [18, с. 81—83]).

Но христианские идеи неоднократно доходили до русской церкви и ее верующих и через посредничество западных языков. Я могу это проиллюстрировать опять-таки лишь небольшим количеством примеров. Если говорить о латыни, заслуживает внимания тот факт, что в конце XV в. в Новгороде учились грамоте по латинской Псалтыри с прибавленным русским (!) подстрочным переводом. Аналогично этому в приложении к переводу грамматики Доната, сделанному Дмитрием Герасимовым в 1522 г., встречаются переписанные кириллицей латинские молитвы с параллельным русским текстом (ср. [24, 25]). Самый известный случай, конечно, тот, что для пополнения текста Ветхого Завета в Геннадиевской Библии 1499 г. среди прочих источников использовалась и Вульгата (ср. [26—28]). И все же рядом с этим единичным событием, видимо, гораздо большего внимания заслуживает преподавание догматики в духовных учебных заведениях России XVIII в. и начала XIX в., которое, несмотря на неоднократные жалобы, под влиянием киевской учебной традиции велось на латинском языке (ср. [29, 30]). На западе восточнославянской языковой области к началу XVII в. эффективным коммуникативным средством оказался польский язык, который использовался не только

для пропаганды католицизма и идеи унии, но и для защиты православия; характерно, что Петро Могила напечатал свой православный катехизис в 1645 г. в Киеве сначала на польском языке [6]. Что касается немецкого языка, можно было бы упомянуть созданные в начале XVIII в. переводы церковных песнопений Е. Глюка и И. Науз(е), которые, может быть, способствовали решению Тредиаковского применить в стихосложении на русском языке силлабо-тонический принцип [7]. Весьма значителен, но в противоположность этому мало изучен яркий след, оставленный в России «Библейскими историями» И. Хюбнера. «Истории», переведенные на русский язык первоначально в 1770 г. (а позднее и еще раз) и издававшиеся неоднократно [8], использовались в качестве учебников в Петербургской Академической гимназии. Образованные русские в начале XIX в. более охотно читали Библию на французском языке, чем на трудном для понимания церковнославянском, и этим объясняется, почему Российское (!) Библейское общество издало в 1815 г. Новый Завет, а в 1817 г. полную Библию во французском переводе с Вульгаты (см. [38]).

Все эти примеры должны доказать только то, что даже в той сфере, которая в рассуждениях о прошлом России обычно считается исконнейшей сферой церковнославянского языка,— даже в ней можно столкнуться с поразительным многообразием языков. Тот, кто захочет описать «языковую ситуацию» в восточнославянской области, охватит лишь часть проблемы, если ограничится известным антагонизмом между народным языком и церковнославянским.

2

Итак, своеобразный спектр — от церковнославянского до восточнославянского — историку языка лучше знаком. Но, говоря о языковых проблемах, связанных с крещением Руси, вряд ли можно утверждать, что они изучены уже достаточно. Значительные пробелы не могут не обнаруживаться хотя бы потому, что в существующей до сих пор практике написания истории русского литературного языка утвердился априорный канон изучаемых текстов, в котором переводная книжность и памятники церковно-религиозного содержания, осторожно выражаясь, недопредставлены (unterrepräsentiert) [9]. Тому, кто интересуется ролью христиан-

[6] Вышедшая в том же году украинская редакция является в значительной степени кириллической транскрипцией польского текста (ср. [31]). Ср. также напечатанное в Москве в 1649 г. церковнославянское издание катехизиса, которое рассматривают А. С. Зернова [32, с. 69, № 215] и П. Гауптман [33, с. 21 и сл.].

[7] Ср. тексты этих песнопений у В. Н. Перетца [34, прил. с. 7—84]. Для истории лексикографии в России интересен тот факт, что И. Науз(е) был первым составителем словаря русских рифм (1706—1708 гг.) (см. [34, с. 257, 287—289], предназначенного, вероятно, прежде всего для сочинения церковных песнопений.

[8] См. [35], а также [36, 37]. С русского языка «Истории» в 1825 г. были переведены на болгарский.

[9] Сколь поразительна отмеченная несоразмерность между оригинальными произведениями (которым отдается такое предпочтение в концепции А. И. Горшкова) и дошедшей в рукописной традиции письменностью, видно, например, из замечания Н. А. Мещерского о том, что среди 1493 рукописей «Предварительного списка славянорусских рукописей XI—XIV вв.», изданного в 1966 г., памятники восточнославянского содержания или происхождения составляют менее 1% (см. [39]). Такое же показательное суждение встречается у этого ученого и ранее [40]. По его оценкам, в архивных фондах, хранящихся в СССР, одни лишь гимнографико-литургические рукописи составляют более половины, так что этот огромный массив текстов должен был бы занять достойное место и в исследованиях по истории языка. Но этого, вследствие чрезмерного внимания к светской и (более или менее) оригинальной письменности, не происходило.

ства в истории русского языка, необходимо прежде всего выработать свой собственный взгляд на то, какие именно тексты должны быть при этом исследованы.

Хотя о языковых отношениях прошлого мы узнаем благодаря лишь письменным свидетельствам, нельзя оставлять без внимания тот факт, что во время богослужения (несмотря на наличие культовых книг) язык употребляется в устной форме. Быть может, уже в ранний период какие-то особенности отличали устную форму церковного языка от разговорного, будничного языка, но установить это нелегко, поскольку письменная традиция лишь в исключительных случаях позволяет делать выводы о фонетическом своеобразии lectio solemnis и литургического пения (см. [41]). Однако некоторые древние формы произношения еще сохраняются в консервативной среде староверов [42]. В некоторых русских источниках имеются даже недвусмысленные замечания о характерных особенностях произношения церковных текстов, например, в Предисловии к Псалтыри Нила Курлятева 1552 г. [43]; именно на такие свидетельства следовало бы обращать больше внимания. Нужно осознать и то, что тексты, предназначенные для домашнего круга, читались громко вслух гораздо чаще, чем мы это предполагаем, исходя из сегодняшней практики. Не так давно вновь специально было подчеркнуто [44], что в середине XVIII в. для декламации на русском языке был заимствован ряд орфоэпических норм из церковнославянской литургической традиции.

Говоря о текстах, дошедших до нас от древних времен, мы имеем в виду главным образом рукописи и лишь с XVI в.— также и печатные издания. Пока даже в первом приближении нельзя сказать, какие именно памятники из этой чрезвычайно обширной книжности имеют особое значения для оценки языковых аспектов крещения Руси. Для общей ориентации в том, какие тексты в прошлом России были наиболее важными, надо было бы иметь историю богословской (или церковно-религиозной) литературы,— но таковой пока не имеется. Основательный компендиум Г. Подскальского ограничивается, к сожалению, оригинальной письменностью Киевского периода и оставляет в стороне переводную литературу, весьма обширную и к тому же вызывающую множество затруднений у исследователя [10]. Между тем на перестройку языческого восточнославянского языка в духе христианства, по-видимому, повлияла в значительно большей степени именно переводная литература (это ясно уже по количеству сохранившихся рукописей), а не то небольшое число богословских трудов, которые вышли из-под пера восточнославянских авторов. Имеющийся проект «Сводного каталога славяно-русских рукописей» [11] дает определенное представление о характере христианской литературы, которая в Древней Руси была доминирующей. В истории русского книгопечатания вплоть до конца XVII в. также очевиден перевес книг, издаваемых для нужд церкви (см. [32]).

Обобщающая языковая характеристика этого громадного письменного наследия едва ли возможна, поскольку подробно исследованы лишь некоторые памятники и остается открытым вопрос, в какой степени полученные при этом результаты характерны для общей картины. Благодаря палеографической классификационной работе мы, пожалуй, относительно

---

[10] См. монографию Г. Подскальского, в которой категорически исключаются из рассмотрения «многочисленные переводы (около 90% находящихся в обороте книг)» [45].

[11] См. [46], а также следующий том, посвященный рукописям XIV в. и в настоящее время находящийся в печати; ср. также [47].

хорошо осведомлены об особенностях графики и орфографии рукописей и печатных изданий. Немаловажно учитывать и ту информацию о фонетических (или все же частично лишь орфографических?) и морфологических особенностях многих древних текстов, которая собрана к настоящему времени в исследованиях по исторической грамматике восточнославянского, или русского, языка. Для компетентного суждения о христианском элементе в духовной культуре Древней Руси, без сомнения, необходим более основательный (по сравнению с нынешним) взгляд на лексический фонд. С помощью находящихся в нашем распоряжении словарей нельзя достаточно надежно установить, как обогатила содержание и какие выразительные возможности принесла на Русь перенятая от славянского юга христианская книжность, так как знаменитый словарь И. И. Срезневского [48] обнаруживает большие пробелы, а «Словарь русского языка XI—XVII вв.», стремившийся, как было заявлено, к более основательному описанию материала, привлек интересующую нас церковную книжность лишь в виде кажущихся случайными примеров [12]. «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.», который предполагает охватить всю лексику всех созданных на восточнославянской почве оригинальных и переводных текстов этого периода, как свидетельствует знакомство с его пробными статьями и первым томом, не будет идентифицировать как таковые даже явные заимствования из славянского перевода Евангелий и Апостола, так что установить, как пополнялся активный запас восточнославянских авторов, можно лишь точной перепроверкой — например, с помощью пражского «Словаря старославянского языка» [13]. «Словарь русского языка XVIII в.» обещает быть в этом отношении более точным,— правда, он опять-таки не числит среди своих источников текст Елизаветинской Библии 1751 г. (см. [55]).

Состояние лексикографии древней восточнославянской письменности можно оценить только как неудовлетворительное, и это находится в вопиющем противоречии с той уверенностью, с которой в славянской филологии ставятся и получают ответы вопросы, касающиеся значения церковнославянского языка для истории языка русского.

Один из таких вопросов, и сегодня охотно обсуждаемых,— вопрос о понятности этого языка (или текстов, составленных на нем) в Киевской

[12] Этот словарь, издающийся с 1975 г. и теперь уже насчитывающий 16 выпусков, был встречен по-разному (см. список рецензий в сборнике [49]), при этом высказывались и достаточно резкие упреки (в настоящее время вышло 17 выпусков.— Примеч. ред.).

[13] Ср. [50], с. 18, примеч. 7 и, например, пробную статью б л а г о в о л е н и е (с. 207 и сл.), в которой на с. 208 приведены многочисленные тексты, содержащие цитаты из Лк. 2, 14,— но ссылка на источник отсутствует; то же самое и в [51]. Вероятно, в последнее время известному переосмыслению подвергается именно библейская лексика. Так, В. Л. Виноградова настоятельно потребовала полностью расписать на карточки лексику Ветхого и Нового Завета, что, по ее мнению, является необходимой предпосылкой для успешной подготовки словарей древнерусского языка: «Это совершенно необходимо для облегчения историко-лексикографической работы и предохранило бы составителей такого типа словарей от многих лексико-семантических ошибок, поскольку вся древнерусская литература и письменность наводнена цитатами, интерпретациями и толкованиями Библии» [52]. Ср. в связи с этим еще более резкое высказывание Ф. П. Филина относительно необходимости фундаментального словаря церковнославянской книжности русского извода: «Остается высказать еще одно пожелание, без которого не может обойтись русская историческая лексикология. Мы остро нуждаемся в обстоятельном словаре церковнославянского языка „русского извода" (а еще лучше всех изводов) XI—XVII вв. Его источником была бы прежде всего вся богатая богослужебная литература (евангелия, библии, минеи и т. п.). Но об этом пока что приходится только мечтать» [53]. О современном состоянии церковнославянской лексикографии информирует А. М. Молдован [54].

Руси. Весьма распространено мнение, что церковнославянский язык был понятен; при этом ссылаются на довольно слабую в то время дифференциацию в развитии южно- и восточнославянского языков. Такая точка зрения находит, по-видимому, определенное подтверждение и в том, что южнославянские произведения относительно быстро приспосабливались к фонетическим и морфологическим особенностям восточнославянской воспринимающей среды. Удивительно, впрочем, как редко при таком противопоставлении восточнославянско-русских и южнославянско-церковнославянских особенностей принимается во внимание тот факт, что не грамматическая система, а лексика как важнейший носитель новой христианской культуры должна была вызывать действительные трудности понимания у народа, переходящего от язычества к христианству [14]. Как правило, русисты не придают значения вопросу, в какой степени подходили для восточнославянской почвы те принципы создания христианской лексики, которые были выработаны в ходе славянской миссии в Моравии и затем в Болгарии. Может быть, именно поэтому мы до сих пор не имеем монографического исследования о развитии христианской лексики в русском языке. Лексикологические последствия крещения Руси мало осознаются даже лингвистами. Это проявляется, в частности, в том, что различия в лексике между (языческим) восточнославянским и южнославянским церковными языками — так же, как и различия в фонетической и грамматической системе,— нередко выдаются за совершенно симметричные отношения. Так, новейший немецкий учебник по истории русского языка поясняет различия в лексике между «старославянским» и «древнерусским» языками следующим образом: «Наиболее существенны различия в лексике. Кроме тех, которые возникли из-за фонетических особенностей ... , имеется целый ряд лексических вариантов и одинаково звучащих слов с различным значением ... :

ст.-слав.		др.-русск.	
выя	— шея	шея	— шея
пьрси	— грудь	грудь	— грудь
грѣсти	— идти	итти	— идти
недѣлꙗ	— воскресенье (день недели)	недѣля	— неделя
животъ	— жизнь	животъ	— имение, имущество
село	— поле	село	— деревня

Число примеров может быть увеличено ..., но приведенных, по нашему мнению, достаточно, чтобы дать представление о лексических и семантических различиях. Следует отметить, что, несмотря на эти различия, общее для обоих языков преобладает и в лексике» [2, с. 96 и сл.; см. также с. 101 и сл., § 147].

Цитированный список [15] сомнителен уже в том отношении, что *итти* «идти» ни в коем случае не является специфически восточнославянским словом, но встречается, конечно, и в старославянском корпусе:

	ст.-слав.	др.-русск.
«идти»	грѧсти	—
	итти	итти

Этот пример, таким образом, доказывает своей асимметрией скорее лишь большее число выразительных возможностей, которые существовали для

[14] Ср. аналогичные замечания уже у А. Исаченко [1, с. 74—78].
[15] Список заимствован из [56, с. 36].

значения «идти» в перенесенных на Русь южнославянских текстах. Вводит в заблуждение и значение, приписанное слову *недѣля*, поскольку это слово выступает как «воскресенье» и как «неделя» уже в старославянских текстах, так что второе значение, подобно примеру со словом *итти*, никак не может считаться специфичным для древнерусского языка. Кроме того, культурно-исторические основания заставляют думать, что восточные славяне едва ли могли знать до христианизации о таком понятии времени («неделя»), которое сложилось в иудаизме и христианстве. Следовательно, и здесь имеет место асимметрия, с двумя лакунами в древнерусской части:

	ст.-слав.	др.-русск.
«воскресенье»	недѣлю	—
«неделя»	недѣлю	—

Совершенно неприемлемым кажется мне, наконец, итог этого сравнения — вывод о том, что, несмотря на установленные различия, «общее для обоих языков преобладает и в лексике» [16]. Здесь замалчивается (или не замечен) тот факт, что в оппозиции «старославянский» и «древнерусский» противопоставляются скорее не два различных славянских языка, а семантические миры христианства и язычества, — миры, между которыми может быть лишь очень мало общего. Показательно, что представленные у Р. Эккерта различия в лексике относятся к словам и значениям, которые (за исключением едва ли точно истолкованного слова *недѣля*) вряд ли как-то связаны с новыми словами и понятиями, принесенными на Русь крещением, в качестве ярких неологизмов предшествующей южнославянской переводной книжности. Хотя у других авторов нет столь явного (как в приведенной цитате) пренебрежения семантическими проблемами, связанными с переходом к христианству, однако такие проблемы в наших современных учебниках по истории русского языка в целом недооцениваются. Это постоянно подтверждается при знакомстве с подобными трудами [17].

Если учесть семантику при изучении церковнославянского языка, то, в частности, становится очевидным, что тексты, принесенные на Русь, прежде всего из Болгарии, были не в равной мере понятны или непонятны; в этом отношении обнаруживаются различные степени. Эти степени доступности текстов можно отчасти уподобить той шкале, по которой, например, М. Вейнгарт классифицировал языковое мастерство переводчиков старославянской письменности [61]. Наглядно-образные повествования Евангелий, вероятно, и на Руси вызывали относительно мало трудностей понимания — это так же очевидно, как и предположение, что более трудный синтаксис и многочисленные специальные термины в догматических или церковно-юридических сочинениях исключали такое непосредственное понимание [18].

Все еще не нашел удовлетворительного ответа (хотя и было сделано множество попыток) вопрос о роли церковнославянского языка в образо-

[16] Ср. упомянутую работу А. И. Горшкова [56, с. 37].

[17] Подобное пренебрежение поддерживается тем, что и старославянская лексика ныне исследуется преимущественно с точки зрения формальных структур, например, деривации; см. работы Р. М. Цейтлин [57] или [58] и указанную там обширную литературу; см. также обзор [59]. Подробнее о лексических процессах, вызванных крещением Руси, см. [60].

[18] Следует хотя бы упомянуть и о том, что наряду с объективной понятностью текстов надо принимать в расчет весьма большие различия в их понимании разными читателями (или слушателями). Эти различия объясняются социолингвистическими причинами.

вании современного русского литературного языка. Среди русистов в СССР и за его пределами наблюдается понятная заинтересованность в ясном освещении этого пока весьма спорного пункта, но следует все же определенно заметить, что удовлетворительного разрешения этой проблемы можно ожидать только в том случае, если мы не будем исключать из рассмотрения церковнославянские тексты. Распространенные подсчеты «церковнославянских элементов» в древнерусских оригинальных произведениях или в лексическом составе современного русского литературного языка, как правило, обнаруживают лишь то, что́ данный исследователь считает относящимся к церковнославянскому языку, причем главным образом на основании формальных признаков. Каким количеством слов, например, древнерусская письменность (в понимании «Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.») или современный русский язык действительно обязаны корпусу употреблявшихся на Руси церковных текстов, заимствованных из южнославянской области, выяснится только тогда, когда их словарный состав будет полностью собран и его можно будет непосредственно сравнивать. Может быть, такой список объяснит и то, какие слова из этой сокровищницы вообще были способны активизироваться на Руси и по каким критериям происходил в дальнейшем выбор заимствований. Как скоропалительно все еще выносятся окончательные приговоры, обнаружилось в ходе современной дискуссии о значении в истории русского языка так называемого второго южнославянского влияния. Хотя А. И. Соболевский в своей известной работе 1894 г. показал, что в XIV и XV вв. на Русь попали рукописи с новыми переводами, и в приложении к ней опубликовал обширный список таких текстов ([62], а также [63]), внимание сегодня концентрируется прежде всего на графико-орфографических особенностях [19]. Новшества в лексике, появление которых в это время (как результат новых переводов) следует предположить и существование которых уже доказано, почти не принимаются во внимание. В значительной степени как terra incognita, намеренно не замечаемая исторической лексикологией, предстает и церковная письменность Московской Руси XVII в. А ведь она не только восприняла так называемое третье церковнославянское влияние, пришедшее из Западной и Юго-Западной Руси, но и, в свою очередь, создала тексты, историко-языковое воздействие которых заслуживает тщательного анализа уже потому, что эти тексты частью были напечатаны или, как свидетельствует количество сохранившихся рукописей, доходили до множества читателей иными способами. Наконец, было бы, конечно, нелишним пополнить упомянутый «Словарь русского языка XVIII в.», если бы мы могли точно знать, с каким лексическим фондом русские читатели знакомились в церковных изданиях XVIII в. и какая лексика в случае необходимости привлекалась для удовлетворения возросших духовных потребностей. Многие неологизмы в русской лексике XVIII в. можно объяснить принципом секуляризации церковнославянского словарного запаса — методом, который не кто иной, как М. В. Ломоносов, настоятельно рекомендовал в своем «Предисловии о пользе книг церковных» (1757). Как часто этот принцип применялся в то время, удастся, вероятно, уточнить лишь тому, кто рассмотрит в совокупности лексический материал, который можно было использовать для такого семантического переосмысления.

---

[19] В этом смысле удивительно односторонними представляются выводы, которые сделал Д. Уорт [64]; см. в дополнение к этому мнение согласного с ним Н. Редера [65].

Last not least для будущего более систематического описания языковых особенностей христианской книжности на Руси до конца XVII в. мне представляется необходимым обратить более пристальное внимание на различия между произведениями, обусловленные их жанровой принадлежностью. Такую лингвистически ориентированную жанровую типологию Н. И. Толстой разработал для книжности, бытовавшей у сербов до XVIII в., но она, пожалуй, могла бы быть применена, с небольшими модификациями, и к русским условиям. Н. И. Толстой различает всего 14 групп памятников:

1) конфессионально-литургическая литература
2) конфессионально-гимнографическая литература
3) агиографическая литература
4) конфессионально-учительная литература и патристика
5) панегирическая литература
6) конфессионально-юридическая литература
7) апокрифическая литература
8) историческая литература
9) повествовательная литература
10) паломническая литература
11) натуралистическая и философско-филологическая литература
12) светско-юридическая литература
13) деловая письменность
14) бытовая письменность [20].

Эта жанровая схема плодотворна не только потому, что церковная книжность представлена здесь более дифференцированно, чем это зачастую дается в учебниках по истории русского языка. Прежде всего заслуживает внимания замечание Н. И. Толстого, что язык текста в значительной мере, иногда даже полностью, определяется влиянием четырех факторов: переводностью/непереводностью этого текста, местом, временем его возникновения и функциональным назначением. С помощью этих факторов можно представить цитированную последовательность жанров в качестве ступенчатой пирамиды. На вершине ее как доминанта помещаются литургические тексты, имеющие наивысшую степень сакральности. Эти тексты составляют постоянный корпус переводов — раннего периода и, отчасти, общего регионального происхождения. Непосредственно следующие за ними жанры, напротив, характеризуются постепенно уменьшающейся степенью сакральности, или конфессиональности. При этом тексты 1—7 групп являются, в значительной степени, общим достоянием Slavia ortodossa (они встречаются как в Сербии, так и на Руси). Для 1—6 групп характерно использование церковнославянского языка, в соответствующих местных вариантах, но здесь, по-видимому, тоже имеется, по крайней мере в сербской традиции, нисхождение — от очень строгой нормы в 1-й группе до все более слабо выраженной в 6-й, в соответствии с иерархией жанров. Остается открытым вопрос, подтвердится ли эта языковая иерархия, если ее применить к русской церковной книжности, более обширной и менее однородной, но стоило бы предпринять попытку такой верификации. Даже если окажется (и это весьма вероятно), что внутри выделенных групп текстов существует гораздо бóльшая языковая вариативность, чем это допускается моделью Толстого,— с помощью тщательного анализа (например, в форме продольного среза

---

[20] См. [66, с. 19]; русские термины я цитирую по резюме [66, с. 24].

конкретного жанра [21]) мы могли бы узнать нечто весьма существенное о языковых последствиях крещения Руси, по сравнению с довольно общими суждениями о так называемых «текстах традиционного содержания», которые мы находим в описаниях истории русского языка.

3

Существенная связь между крещением Руси и историей ее языка определяется еще и тем обстоятельством, что в древности большинство проявлений растущего языкового сознания русских было очень тесно сопряжено с обсуждением актуальных религиозных и богословских проблем. Однако интерес языковедов по традиции закрепился на отдельных знаменитых памятниках древнерусской литературы, и это, вероятно, стало причиной того, почему до сих пор почти не принимаются во внимание некоторые из подобных взглядов на русский язык и его особенности. Но эти метаязыковые свидетельства весьма значительны для истории литературного языка, потому что возрастающее число их говорит о возникновении на Руси такой точки зрения на русский язык, которую Гарвин назвал language loyalty, pride and awareness of the norm (языковой лояльностью, престижностью и осознанностью нормы) и вполне обоснованно определил как необходимую предпосылку для всякого сознательного нормирования в истории литературных языков [68]. Свидетельства такого рода не являются особенностью Руси, но наблюдаются во многих европейских странах. И здесь можно привести лишь несколько примеров, поясняющих эту связь.

Насколько мне известно, самое раннее русское выступление в защиту местного языка встречается — хотя и мимоходом, но все же как важный аргумент — в пространном послании, которое, как утверждают, Великий князь Московский Василий II послал в Константинополь Патриарху Митрофану после отказа от Ферраро-Флорентийской унии в 1441 г. Пусть даже это послание, по многим признакам, является фальсификацией и было изготовлено около 1460 г. для борьбы с идеей унии. Однако и в этом случае невозможно опровергнуть тот факт, что в середине XV в. попытка догматического объединения восточной и западной церкви, в результате которого на Руси началась яростная полемика с латинянами и греками, дала повод к удивительно современно звучащей жалобе на греческих митрополитов, присылаемых из Константинополя и плохо знавших русский язык. Их упрекали в том, что они из-за незнания языка не могли ни вести душепопечительные беседы с верующими, ни участвовать в тайных (и потому, собственно говоря, исключавших присутствие переводчиков) совещаниях по политическим вопросам. Упреки проистекали, очевидно, из убеждения, созревшего за четыре столетия, что и высший иерарх Руси должен владеть языком страны [22].

Религиозную подоплеку имеет, по-видимому, и появление первой грамматики, приспособленной к условиям Руси, а именно перевода «Ars minor» Донатуса, законченного Дмитрием Герасимовым в 1522 г. Воз-

---

[21] Для такого сравнения наиболее пригодны тексты, которые, как, например, «Богословие» Иоанна Дамаскина, неоднократно переводились на славянский язык (см. [18, с. 95—98]). Первым анализом подобного рода является сопоставление трех авторитетных восточнославянских изданий Библии (Острожской Библии 1580/1581 гг., Московской Библии 1663 г., Елизаветинской Библии 1751 или 1756 г.), предпринятое С. К. Буличем [67].

[22] См. [18, с. 81—83], а также подробнее об этом послании в недавней работе [69].

никновение этого учебника, вероятно, стоит в одном ряду с усилиями овладеть латынью (и греческим языком) при новгородском архиепископе Геннадии, который в конце XV в. стремился создать филологическое основание для богословского размежевания с еретическими движениями. В тексте этой грамматики не только применены к русскому языку правила (а иногда и примеры!) латинского оригинала, но и встречается ряд заметок сопоставительного характера. В ней, таким образом, следует видеть первую сознательную попытку русского человека сделать эксплицитное описание особенностей своего родного языка. Так, Дмитрий Герасимов упоминает среди прочего яркую характерную особенность русского языка — использование категории одушевленности во множественном числе существительных [70]. Таким образом, изучение латинского языка, вызванное трудным положением православной церкви в Новгороде, обострило внимание к специфическим грамматическим структурам русского языка.

Кроме того, на формирование языкового сознания повлияли разногласия относительно исправления церковных книг на Руси. Говоря о XVI в., следует упомянуть прежде всего деятельность Максима Грека. Однако и защита русского языка в предисловии к Псалтыри Нила Курлятева (см. [43]), и решительный отказ от слишком простонародных выражений в церковных выписках у Зиновия Отенского свидетельствуют о том, что в это время на материале сакральных текстов впервые стали рассуждать о допустимости вариантных средств выражения.

Наконец, книгопечатание в Московской Руси долгое время было исключительно делом церкви, и по ряду книг возникали острые споры относительно правильности текста, повлиявшие и на оценку языковых явлений. Благодаря типографскому тиражированию стало возможным единообразие всех экземпляров постоянно используемых книг. Это единообразие, которое современный лингвист рассматривает как весьма важное средство надрегионального распространения и закрепления лингвистических норм, явилось, по-видимому, для Московского Митрополита Макария решающим доводом для того, чтобы ввести такое техническое новшество, как книгопечатание, тем более, что требовалось восполнить нехватку книг, внезапно возникшую после завоевания Казани. Не случайно первые, еще не датированные московские издания появляются около 1555 г., вскоре после Стоглавого Собора (1551 г.), на котором много внимания было уделено ошибкам переписчиков, встречавшимся в литургических рукописях и дававшим повод к многочисленным вероисповедным заблуждениям. В колофоне московского «Апостола» 1564 г. также говорилось о порче текста невнимательными или недостаточно образованными писцами. Филологический спор о текстах предшествовал в 1627 г. изданию Катихизиса Лаврентия Зизания (так и не состоявшемуся); в ходе спора, среди прочих богословских проблем, выяснялась эквивалентность определенных греческих и славянских выражений (ср. [33, с. 20] и затем [71]). Также и в деле архимандрита Дионисия и Арсения Глухого (а они около 1618 г. намеревались исправить ошибочные переводы в текстах московских церковных изданий) мы можем иногда обнаружить даже следы тех грамматических пособий, откуда черпались правила и определения для доказательств и на основе которых уточнялись выразительные возможности славянских слов и словосочетаний (см. [72]). Если в это время (как уже и при Максиме Греке) именно церковная верхушка не могла воспринять филологические доводы,— то в староверческом движении 2-й пол. XVII в., напротив, как раз низы ссылались на традиционную

форму текстов и не приняли филологически обоснованных изменений в богослужении, предписанных сверху [23]. Так как в Москве до конца XVII в., за редкими исключениями, издавались лишь церковные книги, представление о почти абсолютной правильности, по-видимому, связывалось у населения с печатным словом — в противоположность чреватой ошибками рукописи. Насколько распространено было такое представление, можно заключить из того, что царь Алексей Михайлович в 1675 г. издал «Указ об орфографии», в котором повелевал относиться более снисходительно к местным вариантам написания имен и титулов в частных прошениях. Этот очень важный для истории литературного языка документ или вообще не учитывается исследователями, или нередко интерпретируется неверно, потому что его церковная подоплека, как правило, не принимается во внимание. Указ царя свидетельствует не о терпимости к местным вариантам русского языка; он лишь не позволяет оценивать простые письма по тем же орфографическим меркам, что и церковные издания. Таким образом, не низкая грамотность вообще, а именно неправильное написание имен воспринималось как нечто неподобающее, и это, без сомнения, связано с тем, что с середины столетия в русской церкви по-новому (и большей частью по греческому образцу) упорядочивалось написание имен святых (см. [73]). В истории русского языка «официальное» разделение светской и церковной письменности обычно связывают с введенным в 1708 г. по приказу Петра I гражданским шрифтом. Но уже указ 1675 г. является по меньшей мере столь же интересным доказательством развития в России нормативно-языкового сознания, поскольку он точно так же разделяет две эти сферы, однако не с помощью упрощения графической системы, а благодаря менее строгому применению существующих орфографических норм. Даже в грамматике русского языка, написанной А. А. Барсовым в конце XVIII в., утверждается, что наилучшим образцом корректной орфографии и правильной акцентуации являются церковные издания [74], и таким образом проводится мысль, что между церковной и светской литературой имеется лишь количественное различие. Судя по этому, и более резкая, касающаяся принципиальных моментов функциональная дифференциация, вызванная петровской реформой алфавита (которую охотно истолковывают как явный признак обмирщения русской культуры в XVIII в.), не вытеснила церковные издания из языкового сознания русских — или же вытеснила их в значительно меньшей степени, чем можно заключить, исходя из традиционного молчания наших учебников по истории литературного языка относительно этой части книжности, бытовавшей в России того времени.

4

Особую роль играет христианская письменность и в истории грамматического описания и лексикографии у восточных славян.

Среди древнейших лексикографических текстов восточнославянской рукописной традиции Л. С. Ковтун выделила *словари-ономастиконы*, *словари символики*, *словари славяно-русские* и *словари-разговорники* [75]. Первая группа объясняет еврейские слова и имена в текстах Библии; вторая охватывает места

[23] Очень жаль, что при выборке фрагментов из «Жития» протопопа Аввакума для антологий и переводов, как правило, опускается филолого-богословская вводная часть, вследствие чего собственно автобиография, лишенная своего церковного фона, предстает в более светском виде по сравнению с авторским замыслом.

из Псалтыри, подлежащие аллегорическому истолкованию; в третьей находятся список славянских слов к переводу «Лествицы» Иоанна Лествичника, список слов из примечаний на полях («произвольников») к Апостолу, представляющих собой варианты перевода, а также подборка слов, являющаяся результатом исправления текста богослужебных миней в конце XVII в. Словарем же в сегодняшнем смысле слова является только «Речь тонкословия греческаго» XV в. из четвертой группы — тематически составленное собрание русско-греческих параллелей. Подавляющее большинство параллелей во всех других списках связано с конкретными произведениями употреблявшейся на Руси церковной письменности. Впрочем, эти толкования слов, первоначально совершенно неотделимые от текста, все же имели большое значение для развития общей лексикографии в Древней Руси. Об этом свидетельствует то, что они, расположенные уже в алфавитном порядке, в большом количестве содержались в рукописных «Азбуковниках» XVI и XVII вв., а также, как, например, список слов к «Лествице», вошли в печатные словари Л. Зизания (1596 г.) и П. Берынды (1627 г.). Во второй публикации Ковтун сделала доступными такие «Азбуковники» [76, с. 263—312]. Конечно, обнаружены еще не все источники этих, без сомнения, очень разнородных словарных реестров. Так, доля статей, которые связаны с церковно-религиозной книжностью, увеличивается, например, благодаря тому, что в этих «Алфавитах» среди прочего встречаются (как леммы) этимологии некоторых греческих имен, взятые из славянских кондакарей (на них в кондаках строится игра слов). Более ясным представляется церковная предназначенность «Толкования именам по алфавиту», приписываемого Максиму Греку. Это «Толкование» имен не является, как раньше полагала Ковтун, учебником греческого языка, построенным по «ономастическому принципу обучения»; оно, очевидно, должно было облегчить русским составителям гимнографических или агиографических произведений обыгрывание этимологии имен в качестве риторического приема [76, с. 313—349; 77, с. 201; 78]. Ранее предполагалось, что этот список имен преследовал светскую цель, но он, таким образом, имеет задачу чисто церковную — однако это не исключает, что «Толкование», как и другие подобные этимологические труды, оставило в XVII в. след и вне своей первоначальной области применения. В конечном итоге, и уже упоминавшиеся лексиконы Зизания и Берынды также являются словарями, которые должны были прежде всего служить лучшему пониманию церковных текстов. У Берынды эта цель зачастую явно обнаруживается благодаря точным указаниям на местонахождение слов в церковных произведениях; это имеет место как в основной части, так и в приложении — ономастиконе. Даже если мы сегодня и используем эти словари в качестве интересных описаний древнего лексического фонда, нам не следует забывать об их основном назначении — помочь при чтении Библии, литургических текстов или сочинений отцов Церкви. Принцип Philologia sub specie theologiae распространяется и на эти лексиконы, хотя их сегодня, как правило, «секуляризируют» в качестве классических образцов украинской лингвистики (см. из последних изданий [79]).

До сих пор явно недооценен, и даже остается почти не известным, вклад русской лексикографии XVIII в. в раскрытие значений церковной лексики. Если «Лексикон треязычный» Ф. Поликарпова (1704 г.) и неоднократно издававшийся «Церковный словарь» П. Алексеева (1-е изд. 1773 г.) обычно привлекают к себе внимание исследователей, то обширнейшие собрания слов из библейских конкорданций странным образом

почти полностью преданы забвению [24]. В свое время вышли из печати конкорданции к Псалтыри А. Кантемира (1727 г.), к Евангелиям и Деяниям апостолов И. Ильинского (1733 г.) и к Посланиям и Апокалипсису А. Богданова (1737 г.) (см. [82, с. 486 № 1385, с. 84 № 220 (и с. 210 № 597), с. 91 № 237]; а также [83, с. 20 № 27, с. 24 № 34 (и с. 34 № 54), с. 25 № 36]). Конечно, эти труды ныне имеют лишь историческое значение для богословской науки, поскольку они (еще) не учитывают текст Елизаветинской Библии (1751 г.), общепринятый в настоящее время, и содержат определенные филологические недостатки. Тем не менее они заслуживают признания хотя бы за осуществленную в короткий срок работу по сбору и систематизации материала. Эти трудоемкие компиляции — первые в России так называемые «словари авторов», включающие лексику определенного памятника насколько возможно полно. Они способствовали распространению в России знаний библейской лексики среди богословов и неспециалистов. Переиздания («Симфонии» Ильинского в 1762 г. и еще раз вместе с трудами Богданова и Кантемира в 1821 г.) позволяют сделать вывод об их популярности. В качестве удобных словарных списков эти симфонии стали источниками для «Церковного словаря» П. Алексеева [25], а также систематически привлекались при составлении знаменитого «Словаря Академии Российской» (1789—1794). Этим объясняется (можно сказать, чисто «техническими» причинами) присутствие большого числа библейских цитат среди подтверждающих речений этого словаря. Это до сих пор недостаточно оцененное обстоятельство по-новому освещает тесную связь, существующую между первым нормативным описанием русского лексического фонда и церковнославянским наследием России [26].

О последующем развитии в России лексикографии церковных текстов русисты в общем лучше осведомлены, потому что словари А. Х. Востокова и Г. Дьяченко, «Словарь церковнославянского и русского языка» или «Материалы» И. И. Срезневского еще и сегодня являются незаменимыми филологическими справочниками (см. [89—91]). Но следовало бы вспомнить о почти забытых библейских конкорданциях 1-й пол. XIX в., ведь с их помощью была сделана попытка представить в печатных списках, вслед за Псалтырью, лексический фонд и других книг Ветхого Завета. К сожалению, этот замысел остался незавершенным, так что в нашем распоряжении находятся лишь фрагменты. Уже Богданов в XVIII в. не смог довести до конца свою запланированную конкорданцию к Ветхому Завету. Так же и П. Гильтебрандту, автору образцовых конкорданций к церковнославянским Новому Завету и Псалтыри, не было

---

[24] См. умолчание о них у Р. М. Цейтлин [80] или у Е. Э. Биржаковой [81].

[25] Хотя М. И. Сухомлинов [84] и не называет эти симфонии среди источников, в действительности П. Алексеев включил в свой словарь отдельную статью с и м ф о н и я, в которой упомянуты доступные ему конкорданции, и, кроме того, неоднократно пользовался их данными.

[26] Среди источников «Словаря Академии Российской» симфонии обычно не называются. Не упоминает их ни М. И. Сухомлинов [85], ни И. Ф. Рудакова [86], хотя напечатанные конкорданции (как и ненапечатанная конкорданция иеромонаха Илариона) ясно указаны среди привлекаемых источников в записках «Начертание для составления Толкового словаря славяно-российского языка» и «Способ, коим работа Толкового словаря славяно-российского языка скорее и удобнее производиться может», задуманных в качестве инструкций для составителей (см. [87]). С подобным умолчанием встречаемся и в одной из последних публикаций по истории Академии Российской [88].

суждено завершить аналогичное описание Ветхого Завета [27]. Таким образом, и через тысячу лет после принятия христианства на Руси остается только удивляться, что до сих пор нет полного описания словарного состава церковнославянской Библии, особенно если иметь в виду давно созданные конкорданции к Вульгате, к Библии Лютера, к Септуагинте или к греческому Новому Завету.

О значении первых грамматик, возникших на восточнославянской почве, сегодня едва ли нужно особо говорить (по крайней мере в среде филологов), потому что их в последние годы усиленно изучали [28] и некоторые из них благодаря переизданиям вновь стали доступными. Но современные исследователи зачастую ограничиваются тем, что рассматривают такие книги прежде всего как ступени развития грамматической мысли у восточных славян. Поэтому, вероятно, нелишним будет напомнить об условиях их возникновения, связанных с историей Церкви. Хотя, по-видимому, мы точно не знаем предысторию древнего грамматического трактата, бытовавшего в православном славянстве,— известного под названием «О восьми частях речи» (см. [96]),— все же можно с уверенностью говорить о причинах издания этого элементарного учебника. Он был издан в 1586 г. в Вильне в связи с тем, что православные христиане в польско-литовском государстве во 2-й пол. XVI в. опасались проникновения католицизма и протестантизма и пытались противостоять этому организацией систематического обучения [29]. Также и знаменитый львовский «Букварь» Ивана Федорова 1574 г. едва ли является «первой печатной восточнославянской книгой светского назначения», как представляет ее В. В. Нимчук в своем переиздании [97] [30]. В период славянского средневековья чтению учились большей частью по Часослову или Псалтыри, и содержащиеся в «Букваре» в качестве текстов для чтения молитвы и Символ веры ясно показывают, какой цели должно было служить овладение грамотой. Греко-славянская грамматика «Адельфотис» 1591 г., составленная и переведенная для школы Львовского братства, свидетельствует о стремлении укрепить положение православия на западе восточнославянской области с помощью углубленного познания своих греческих корней, и не случайно в конце этого издания помещен Никейский Символ веры [100]. Но для нашего времени характерно равнодушие к истории Церкви, вызвавшей к жизни первые филологические труды у восточных славян. Симптоматично, что вышедшее в 1975 г. в Киеве репринтное воспроизведение грамматики Зизания 1596 г. оборвано на первых строках толкования молитвы «Отче наш», завершающего книжечку [101] [31]. Наконец, в предисловии к церковнославянской грамматике Мелетия Смотрицкого, перепечатанной в 1619 г. в Вильне, а в 1648 г. и

---

[27] См. [92, 93]. Обзор древних конкорданций помещен в [92, т. 1, с. IX—XI]; в нем следовало бы дополнительно упомянуть, что первая конкорданция на восточнославянской почве была напечатана уже Иваном Федоровым в 1580 г. (см. также статью [94], представляющую собой введение к мюнхенскому переизданию книги [92]).

[28] См. из числа новейших работ [95].

[29] См. [95, с. 30 и сл.]. Показательно, что в издании на полях помещены латинские термины; таким образом выявляется связь с западной школьной традицией.

[30] Книга совсем не была светской; это ясно уже из того, что переиздание Букваря, вышедшее без изменений в 1578/1580 гг., использовалось в Германии для знакомства с особенностями православного обряда (см. [98]). Тексты для чтения в издании 1578 г. имеют церковно-историческое значение еще и потому, что в них помещен Символ веры, в точности соответствующий греческому тексту, и, таким образом, предвосхищаются реформы Никона [98, с. 12, 14]. О дальнейшей традиции Букваря Ивана Федорова на восточнославянской почве говорится в статье [99].

[31] Ср. полный текст в [102].

в 1721 г. в Москве, уже определенно сказано о том, что ее парадигмы и дефиниции должны послужить высшей цели. Не случайно, впрочем, и то, что эти грамматические сочинения вплоть до конца XVII в. привлекаются почти исключительно для экзегезы или для аргументации в богословских спорах.

5

В истории русского литературного языка остается почти не исследованной систематическая русификация церковной книжности, начавшаяся с конца XVII в. Конечно, в текстах, пришедших на Русь со славянского юга, с самого начала видны явные признаки графико-орфографического приспособления к привычному для восточных славян произношению [32]; кроме того, довольно часто отдельные, явно непонятые слова и формы заменялись другими, по-видимому, более подходящими [33]. Верно и то, что в новых переводах,— как, например, в тех частях, которыми была пополнена Геннадиевская Библия 1499 г. (см. [28]) или в творениях отцов Церкви, правленных Андреем Курбским во 2-й пол. XVI в.,— церковнославянский языковой идеал воплощен не так, как можно было бы ожидать от подобных текстов. Но лишь позднее — насколько можно судить, с конца XVII в.— в Московской Руси наблюдается иной процесс: уже имеющаяся древняя книжность, для большей понятности, не только пунктуально исправляется, но и сплошь перерабатывается, вследствие чего возникает перевод с церковнославянского на (более или менее) народно-разговорный язык. Исходя из различного статуса таких церковных текстов, следует четко различать две группы.

Первая, относительно хорошо прослеживаемая линия развития касается русификации Библии или ее отдельных книг [34]. Впрочем, на западе восточнославянской области, в Белой Руси и на Украине, начиная уже с XVI в. прилагали усилия к тому, чтобы язык Библии был понятен народу или по крайней мере приближался к народной речи. Но в Москве в это же время подобные попытки, даже в самых умеренных проявлениях (как у Максима Грека), всегда решительно пресекались. Подобно тому, как пражские и виленские издания Ф. Скорины или украинизированные Евангелие и Апостол возникли с учетом более ранних аналогичных книг, изданных в Чехии и Польше (см. [106]), так и первый русский перевод Псалтыри, сделанный Авраамием Фирсовым (1683 г.), восходит (что характерно) к польской Библии, а не к тексту Лютера, как полагали до сих пор [35]. Не случайно именно иностранцы, приезжавшие с Запада, постоянно удивлялись тому, что русская Церковь не имела Священного Писания на народном языке, и как раз иностранцы способствовали созданию текста Библии, доступного для всех русских. Полный перевод на русский язык, подготовленный протестантским пастором Э. Глюком еще в 80-е гг. XVII в., пропал при взятии Мариенбурга русскими войсками в 1702 г. [36]. Также и И. Пауз(е), сотрудник Глюка по Московской гимназии, по-видимому, занимался переводом Библии на русский язык. В противном

[32] Начало русификации обнаруживается уже в древнейшей датированной восточнославянской рукописи — «Остромировом Евангелии» 1056/1057 гг.

[33] См. [103], где прослеживается традиция евангелий-апракос, или [76, с. 70—81] — здесь рассматривается исправление церковных текстов, проводившееся Максимом Греком.

[34] См. [104]; однако основной все еще остается работа [105].

[35] См. [107]; краткая версия в [108]. Между тем появилось издание Псалтыри [109].

[36] См. [34, с. 72 и сл.; 104, с. 129 и сл.]. См. далее новую публикацию [110]. О заслугах Э. Глюка перед русской культурой см. [110, с. 253—261].

случае едва ли можно понять, почему Г. Бужинский в 20-е гг. XVIII в. именно его привлек к работе над изданием шеститомной голландской Библии, выполнявшимся по приказу Петра I с добавлением параллельного русского (а не церковнославянского) текста (см. [34, с. 232 и сл.]). После смерти Петра этот его замысел, вероятно, не был осуществлен. Точно так же и подготовительная работа над русской Библией на народном языке, предпринятая в г. Галле (см. [111]), привела впоследствии лишь к изданию Елизаветинской Библии 1751 г. (на церковнославянском языке русской редакции). Следующие шаги были сделаны только в начале XIX в., когда по английскому образцу было основано Российское Библейское Общество (1813 г.), издавшее на русском языке в 1818 г. Новый Завет, в 1823 г.— Псалтырь и в 1825 г.— Пятикнижие. Этот широко задуманный план русификации (которому был положен конец официальным сожжением нескольких тысяч экземпляров Пятикнижия в 1825 г. и запрещением Общества в 1826 г.) сам по себе высветил серьезную проблему, а именно: отклонение от привычного церковнославянского текста в результате перевода с греческого. Обнаружилось казавшееся непреодолимым противоречие между православной догматикой, покоившейся на предании, и принципами филологической точности перевода. Оно дало о себе знать в еще большей степени в трудах позднейших переводчиков, таких, как Г. П. Павский и архимандрит Макарий (Глухарев), отодвинув до 1876 г. публикацию синодального перевода, завершающего прослеженную линию развития (см. [112]). Поздним возникновением русского текста Библии объясняется, почему русская библейская фразеология восходит к укоренившемуся за несколько столетий церковнославянскому тексту, подобно тому как немецкая — к тексту Лютера.

Другая группа текстов, планомерная русификация которых началась в XVIII в., по-видимому, не встречала (или почти не встречала) противодействия, возникавшего вследствие многовекового употребления церковнославянского текста и характерного для восприятия Библии в обществе. Творения отцов Церкви, которые бытовали в Древней Руси преимущественно в южнославянских переводах, начали распространяться в измененных редакциях и ранее XVIII в. Примерами таких неоднократно переведенных книг являются «Лествица» Иоанна Лествичника в двух версиях (см. [113]) или «Богословие» Иоанна Дамаскина, южнославянские переводы которых сделаны в X и XIV вв. Эти переводы конкурировали в восточнославянской области в XVI в. с текстом А. Курбского, выполненным по латинскому переводу, а в XVII в.— с московским изданием «Небес», вышедшим в 1665 г. в редакции Епифания Славинецкого (см. [18, с. 95—98; 114]). С. Керн в своей библиографии [115] кратко отразил основные переработки таких патристических текстов. Историки русского литературного языка до сих пор слишком мало интересовались этим очень обширным корпусом. Но именно тексты, переведенные неоднократно, позволяют получить наиболее важную информацию о языке периода их возникновения, причем соответствующий иноязычный первоисточник как tertium comparationis дает, в отличие от оригинальных произведений, прекрасную возможность для сравнения.

Начиная с XVIII в. в процессе русификации патристической литературы впервые появляется последовательная целеустремленность. Так, тогдашний обер-прокурор Св. Синода А. С. Козловский 9 июня 1763 г. представил императрице Екатерине II памятную записку из 22 пунктов, в которой, ссылаясь на аналогичный документ 1756 г., предлагал учредить переводческую контору, с собственной типографией, «для переводу

и печатания, как к церковному учению принадлежащих Святых Отец сочинений и церковных историй, так и к школьному учению и просвещению разума полезных книг» [116]. Важно отметить, что он подключает свой проект к двойной традиции. Во вступлении Козловский упоминает, с одной стороны, о том, что при царе Алексее Михайловиче патристическая книжность поощрялась патриархом Никоном («который немалое число ученых людей содержал на своем коште для перевода греческих Св. Отец сочинений»). С другой стороны, он говорит о ряде переводческих начинаний, имевших место при Петре I («который, о издании полезных Российскому народу книг неусыпное прилагая старание, содержал на жалованье при Печатном Московском Дворе, а потом при Синоде немалое число переводчиков, в трудах которых столько принимал участие, что и особливые, к наставлению их служащие издал указы, и сам всемилостивейше подправлял их переводы»). Содержание программы, предложенной Козловским, продолжает обе традиции, поскольку речь идет о переводе греческих и латинских авторов, а именно «не токмо тех, которые содержат православное учение Церкви нашея и которых мы Св. Отцами почитаем, но и тех, которые к просвещению разума нашего и к школьному наставлению служат». В работах по истории перевода в России XVIII в. этот документ (в нем более десяти печатных страниц), к сожалению, не упоминается. Между тем он заслуживает внимания как вклад в профессионализацию переводческого труда в России: в нем содержатся требования к квалификации будущих переводчиков и конкретные организационные предложения. К этому времени в теории перевода уже были эксплицитно осознаны проблемы (в том числе и проблемы терминологические), которые приходится решать переводчикам-специалистам. В дальновидном проекте Козловского от кандидатов на переводческую службу требуется не только совершенное знание греческого и латинского языков, а также богословия и многих других наук, но и сила «в славенском и российском языках и краснореч ии оных». При этом бросается в глаза, что о нерешенных проблемах специальной лексики ничего не сказано. И все же можно утверждать, что ныне несправедливо забыто это важное начинание Российской Церкви, а именно — предоставить русским читателям творения отцов Церкви, светские книги и учебники в переводах, безукоризненных как по содержанию, так и по языку. Поскольку Козловский ушел в отставку в самый день представления памятной записки, его план не мог осуществиться и он даже не получил ответа. Однако в плане Козловского, по крайней мере применительно к светской литературе и учебникам, уже частично предвосхищаются идеи, которыми руководствовались Екатерина II при основании «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг» (1768 г.) и Н. Новиков, создавая «Общество, старающееся о напечатании книг» (1773 г.). Те же идеи позднее легли в основу работы комиссии по делам народных училищ (с 1782 г.). Проект Козловского предвосхитил также известное монументальное издание «Творения Отцов Церкви» (с 1821 г. или 1843 г.) [37]. К сожалению, язык этих многочисленных переводов XIX в. до сих пор даже не пытались исследовать. То же самое относится и к тем отдельным патристическим текстам на русском языке, которые были изданы еще в XVIII в. или после 1917 г. [38]. Таким образом, остается пока открытым вопрос, в какой степени святоотеческая литература является мостом от средневековой книжности к русскому языку но-

[37] Об истории «Творений» см. [115, с. 10—12].
[38] См. такой современный перевод в [117].

вого времени. Признаки этого определенно имеются: некоторые из отеческих сочинений XVIII в. были не просто переведены на русский язык с греческого оригинала — в них обнаруживаются следы старших славянских изводов. Так, в предисловии к русскому тексту «Небесной иерархии» Дионисия Ареопагита 1787 г. конкретно указана использованная рукопись Синодальной библиотеки. Но и в тех случаях, когда отсутствуют ссылки на привлекавшиеся источники, все же, вероятно, имело место — с оглядкой на предшествующий перевод (или переводы) — регулярное воспроизведение прежних выражений [39]. В XIX в. языковая и текстологическая ситуация стала, по-видимому, еще сложнее: следует иметь в виду, что ученые издатели «Творений Отцов Церкви» не только учитывали достижения современной им патриотики, но и, может быть, знали и привлекали западноевропейские, например, латинские, переводы.

С русификацией Библии и святоотеческой литературы тесно связаны две проблемы, на которые следует в заключение обратить внимание. Их нужно было бы рассматривать подробно, если мы хотим адекватно понять развитие русского языка в сфере религии и церкви начиная с XVIII в. С одной стороны, речь идет о формировании русского богословского языка, в особенности его терминологии, с другой (что, несмотря на некоторые точки соприкосновения, не есть то же самое) — о возникновении особого языка духовенства (д у х о в н о г о я з ы к а). Поскольку и по этим проблемам до сих пор почти нет серьезных научных трудов, обобщения едва ли возможны. Если оценить в целом историко-лингвистические работы, которые все же имеются, то, по-видимому, можно предположить, что и в этих функционально-стилистических, или социолингвистических, сферах русского языка едва ли прослеживается, по крайней мере без натяжек, прямое церковнославянско-русское преемство.

Может быть, и является слишком смелым недавнее утверждение, что в XVIII в. еще не было русского богословского языка и почти не было специальной русской богословской литературы. В подтверждение этого мнения было указано на то, что в духовных семинариях вплоть до XIX в. догматику преподавали преимущественно на латинском языке и по написанным на латыни учебникам (см. [30]). Русский язык практически не использовался в такой центральной для терминологии сфере, как догматика, что имело, без сомнения, (отрицательные) последствия для развития и распространения профессионально-богословской лексики. Однако если углубиться в проблему, в книжности этого периода можно увидеть все-таки больше богословских текстов, вопреки цитированному утверждению,— в особенности при учете не только печатных изданий (см. [118]) [40], но и рукописей (см. [119]). Собственно, даже литургические тексты ц е р к о в н о г о к р у г а,— а их ежедневно пели и читали за богослужением,— по-видимому, весьма действенно, хотя и неявно, внедряли богословскую терминологию. Что же касается первых попыток систематизации важнейших терминов [41], их можно, пожалуй, видеть в различных катехизисах, которые появляются на восточнославянской почве с XVII в. Их язык в целом и их лексика в частности исследованы пока недостаточно. Мне кажется, что в результате тщательного лексикологического изучения катехизисов (или подобных катехизисам произведений), напечатан-

[39] Лингвистические вопросы, связанные с подобными переводами с греческого на русский, сделанными в конце XVIII в. при посредничестве церковнославянского языка, мы рассмотрим в другом месте.

[40] Здесь не учтены старокириллические издания; они перечислены в [82, 83].

[41] Об их учебном содержании см. [33]; об истории жанра — также [119, с. 73 и сл.].

ных на русском языке начиная с XVIII в., утверждение Э. Бринера может быть поставлено под сомнение. Слишком мало знаем мы до сих пор и о проповеднической литературе этого времени, а ведь и в ней содержится много терминов и зачастую даже представлены их ясные толкования. И вообще Церковь стремилась в вопросах языка идти в ногу со временем, о чем свидетельствуют переизданные во 2-й пол. XVIII в. проповеди Феофана Прокоповича, содержавшие отдельные примечательные поновления (см. [120], а также [121]). Остается пока неясным, в какой степени эта тенденция прослеживается в языке всей гомилетики XVIII в.

Образование д у х о в н о г о я з ы к а, отчетливо противопоставленного общеупотребительному русскому языку, безусловно, представляет собой (по крайней мере в том, что касается теоретического обоснования) новшество лишь XIX в., которое, кстати сказать, во 2-й пол. того же века уже было утрачено. Это четкое разграничение русского языка церкви и русского языка светской жизни произошло прежде всего из-за множества специфических смысловых изменений, приведших к тому, что с XVIII в. церковнославянские слова в русском языке, сохраняя свое церковно-религиозное значение, приобретали еще и ярко выраженную светскую семантику. По мнению защитников особого духовного языка, слова с подобной секулярной семантикой не следовало вводить в церковные контексты. Таким образом, это движение есть пуризм, стимулированный религией. Его приверженцы стремились функционально оградить церковный язык и соответственно допускали употребление исконно церковной лексики лишь в ее первоначальном церковном значении [122] [42].

Немалое число исследователей утверждает, что между церковнославянским и русским языками имеет место преемственность, но на самом деле в XVIII в. она была в значительной степени нарушена, причем даже в узкой сфере церкви и религии. Об этом наглядно свидетельствуют два указанных выше обстоятельства: роль латыни в Российской Церкви и судьба д у х о в н о г о я з ы к а, возвращение которого к старой языковой традиции оказалось запоздалым и безуспешным. Именно поэтому и в обобщающих трудах по истории русского литературного языка не следует упускать из виду те препятствия и трудности, преодолевая которые русская Церковь пришла к своему современному языку.

6

Наконец, нельзя забывать, что в Русской Православной Церкви церковнославянский язык остается языком богослужения и, если даже (или как раз потому что) он существует лишь в книгах ц е р к о в н о г о к р у г а, следует все же посвящать ему самостоятельные лингвистические исследования. Соответствующая проблематика хорошо изложена Й. Плэном (см. [123, 124]), а в диссертации Р. Матиесена содержится богатая библиография вопроса [125], так что достаточно сослаться на эти труды. К сожалению, все еще нет полного словаря к текстам ц е р к о в н о г о к р у г а [43], а их грамматическое описание в учебниках современного церковнославянского языка также чрезвычайно далеко от полноты.

[42] Объявленная здесь [122] на с. 389 в примеч. 7 монография того же автора вышла в свет в 1990 г. под названием «Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века».

[43] Упомянутый выше словарь Г. Дьяченко [90] выполняет эту задачу лишь отчасти, равно как и конкорданции к Библии П. Гильтебрандта, к сожалению, не доведенные до конца.

Наш предельно сжатый обзор историко-лингвистической проблематики, связанной с крещением Руси, не может и не должен считаться исчерпывающим. На передний план были выдвинуты проблемы русистики, т. е. после рассмотрения языкового развития Киевского периода, общего для трех современных восточнославянских народов, мы ограничили себя областью Московской Руси, следовательно, в основном великорусского языка, и лишь попутно говорили о специфических отношениях в украинской и белорусской языковых областях. С точки зрения современного белорусского или украинского языка могла бы получиться несколько иная перспектива (например, при взгляде на осуществленную Св. Синодом в XVIII в. унификацию церковной печати) или потребовалось бы некоторое расширение проблематики (скажем, при рассмотрении особой роли польского языка в Западной и Юго-Западной Руси XVII в., о чем мы упомянули лишь вскользь). При всей сжатости нашего обзора мы стремились показать, что событие, тесно связанное с крещением Руси,— а именно, заимствование церковной книжности, бытовавшей в Болгарии,— имело разнообразные последствия для исторической судьбы и структуры русского языка. Эти последствия мы пока не можем оценить в должной мере, потому что в современных лингвистических исследованиях неоправданно отдается предпочтение оригинальной литературе, а заимствованным текстам и их восприятию восточными славянами уделяется мало внимания. Тысячелетие Русской Церкви должно подвигнуть нас к восполнению того, чем так долго пренебрегали.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Issatschenko A.* Geschichte der russischen Sprache. 1—2. Heidelberg, 1980—1983.
2. *Eckert R., Crome E., Fleckenstein Chr.* Geschichte der russischen Sprache. Leipzig, 1983.
3. *Vlasto A. P.* Linguistic history of Russia to the end of the eighteenth century. Oxford, 1986.
4. *Горшков А. И.* Теоретические основы истории русского литературного языка. М., 1983.
5. *Борисова М. Б.* // ФН. 1984. № 2. Рец. на кн.: Горшков А. И. Теоретические основы истории русского литературного языка.
6. *Trösterová Z.* // Ceskoslovenská rusistika. 1985. № 1. Рец. на кн.: Горшков А. И. Теоретические основы истории русского литературного языка.
7. *Trösterová Z.* // Slavia. 1985. № 4. Рец. на кн.: Горшков А. И. Теория и история русского литературного языка.
8. *Keipert H.* // RZ. 1984. № 2. Рец. на кн.: Горшков А. И. Теоретические основы истории русского литературного языка.
9. *Горшков А. И.* Теория и история русского литературного языка. М., 1984.
10. *Исаченко А.* Ответ на вопрос № 3 Анкеты к IV МСС // ВЯ. 1958. № 3. С. 42.
11. *Jedlička A.* Spisovný jasyk v současné komunikaci. Praha, 1978.
12. *Baum R.* Hochsprache, Literatursprache, Schriftsprache: Materialen zur Charakteristik von Kultursprachen. Darmstadt, 1987.
13. *Успенский Б. А.* Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
14. *Hüttl — Folter G.* Die *trat/torot*-Lexeme in den altrussischen Chroniken: Ein Beitrag zur Vorgeschichte der russischen Literatursprache. Wien, 1983.
15. *Wort D. S.* On «diglossia» in Medieval Russia // Die Welt der Slaven. 1978. 23.
16. Проблемы исторического языкознания. Вып. 3: Литературный язык Древней Руси. Л., 1986.
17. *Успенский Б. А.* История русского литературного языка. (XI—XVII вв.). München, 1987.
18. *Keipert H.* Russische Sprachgeschichte als Übersetzungsgeschichte // Slavistische Linguistik. 1981. München, 1982.
19. *Keipert H.* Geschichte der russischen Literatursprache // Handbuch des Russisten. Sprachwissenschaft und angrenzende Disziplinen. Wiesbaden, 1984. S. 456.

20. *Hösch E.* Griechischkentnisse im alten Russland // Serta slavica in memoriam Aloisii Schmaus. München, 1971.
21. История русской церкви Макария, митрополита Московского. Т. II. 3-е изд. СПб., 1889 (переизд.: Düsseldorf; The Hague, 1968. P. 191, 349).
22. *Müller L.* Russen in Bysanz und Griechen im Rus'-Reich // Journée bysantin. XIIIe Congrès International des sciences historiques à Moscou 22 août 1970. Bulletin d'information et de coordination. 5. Athènes, 1971. S. 110. Anm. 1.
23. Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. М., 1986. С. 4, 45.
24. *Фонкич Б. Л.* Греческо-русские культурные связи в XV—XVII вв. М., 1977. С. 43.
25. *Ягич И. В.* Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке // Исследования по русскому языку. Т. I. С. Пб. 1885—1895. С. 907—911 (переизд. отд. вып.: Codex slovenicus rerum grammaticarum. Berlin, 1896. München, 1968. S. 619—623).
26. *Горский А., Невоструев К.* Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. I. М., 1855 (переизд.: Wiesbaden, 1964).
27. *Евсеев И. Е.* Геннадиевская Библия 1499 года // Тр. XV археологического съезда в Новгороде, 1911. 2. М., 1916.
28. *Freidhof G.* Vergleichende sprachliche Studien zur Gennadius — Bibel (1499) und Ostroger Bibel (1580/81). Wiesbaden, 1972.
29. *Claus Cl. L.* Die religiöse und theologische Bildungsarbeit der Russischen Orthodoxen Kirche // Die Russische Orthodoxe Kirche in Lehre und Leben / Hrsg. von Stupperich. R. Witten, 1966. S. 170.
30. *Bryner E.* Der geistliche Stand in Russland. Sozialgeschichtliche Untersuchungen zu Episkopat und Gemeindegeistlichkeit der russischen orthodoxen Kirche im 18. Jahrhundert. Göttingen, 1982. S. 15. Anm. 22.
31. *Martel A.* La langue polonaise dans les pays ruthènes. Ucraine et Russie Blanche. 1569—1667. Lille, 1938. P. 109—111.
32. *Зернова А. С.* Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI—XVII веках: Сводный каталог. М., 1958.
33. *Hauptmann P.* Die Katechismen der Russisch-orthodoxen Kirche. Entstehungsgeschichte und Lehrgehalt. Göttingen, 1971.
34. *Перетц В. Н.* Историко-литературные исследования и материалы. Т. III. СПб., 1902.
35. *Onasch K.* Johann Hübner und Fedor M. Dostoevskij // Geschichte und Kultur Russlands in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. T. 2: Literatur, Wissenschaft und Bildung. Halle / S., 1983. S. 265—269.
36. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800. I. М., 1963. С. 263, №№ 1670—1677.
37. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800. Дополнения. М., 1975. С. 18. № 42.
38. *Keil R. D.* Gogol im Spiegel seiner Bibelzitate // Festschrift für H. Bräuer zum 65. Geburtstag am 14. April 1986. Köln; Wien, 1986. S. 197.
39. *Мещерский Н. А.* Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности XI—XV веков. Л., 1978. С. 3.
40. *Мещерский Н. А.* Проблемы изучения славяно-русской переводной литературы XI—XV вв. // ТОДРЛ. 1964. XX. С. 184.
41. *Успенский Б. А.* Древнерусские кондакари как фонетический источник // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1973.
42. *Успенский Б. А.* Архаическая система церковно-славянского произношения (Из истории литургического произношения в России). М., 1968.
43. *Keipert H.* Nil Kurljatev und die russische Sprachgeschichte // Litterae slavicae Medii aevi Francisco Venceslao Mareš Sexagenario Oblatae // Hrsg. von Reinhart J. München, 1985.
44. *Алексеев А. А.* О социальной дифференциации русского языка в XVIII веке // Wiener slavistisches Jahrbuch. 1985. 31.
45. *Podskalsky G.* Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus' (988—1237). München, 1982. S. 4.
46. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. М., 1984.
47. Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР (Для Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР). М., 1986.
48. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1—3. Дополнения. СПб., 1893—1912 (переизд.: М., 1958; М., 1988—1989).

49. Теория и практика русской исторической лексикографии / Ред. Богатова Г. А., Романова Г. Я. М., 1984. С. 256.
50. Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи / Под ред. Аванесова Р. И. М., 1966.
51. Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Т. I. М., 1988. С. 170.
52. *Виноградова В. Л.* Картотеки древнерусского языка и историко-лексикографическая работа // Вопросы практической лексикографии. Л., 1979. С. 46.
53. *Филин Ф. П.* Историческая лексикология и лексикография // Теория и практика русской исторической лексикографии. М., 1984. С. 22.
54. *Молдован А. М.* Палеославянская лексикография // Славянская историческая и этимологическая лексикография (1970—1980 гг.): Итоги и перспективы. М., 1986.
55. Словарь русского языка XVIII века. Правила пользования словарем. Указатель источников. Л., 1984. С. 140.
56. *Горшков А. И.* История русского литературного языка. М., 1969.
57. *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянского языка. М., 1977. С. 297—309.
58. *Цейтлин Р. М.* Лексика древноболгарских рукописей X—XI вв. София, 1986. С. 302—318.
59. *Večerka R.* Staroslověnština. Praha, 1984. S. 203—220, 230.
60. *Keipert H.* Die Christianisirung der Kiever Rus' als lexikologisches Problem // Beitrag zum Millenniums—Symposium. Münster, Juli 1988.
61. *Weingart M.* Le vocabulaire du vieux—slave dans ses relations avec le vocabulaire grec // Atti del V Congresso internazionale di studi bizantini. 1: Storia, filologia, diritto. Roma, 1939. S. 570.
62. *Соболевский А. И.* Южно-славянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках. СПб., 1894. С. 17—22.
63. *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVIII веков: Библиографические материалы. СПб., 1903. С. 15—23.
64. *Worth D. S.* The «second South Slavic influence» in the history of the Russian literary language (Materials for a discussion) // American contributions to the Ninth International Congress of slavists. 1: Linguistics. Columbus, Ohio, 1983.
65. *Rehder P.* Zum Normproblem in der Sprache am Beispiel des «Zweiten südslavischen Einflusses» // Text, Symbol, Weltmodell. J. Holthusen zum 60. Geburtstag. München, 1984. S. 445.
66. *Tolstoj N. I.* Odnos starog srpskog knjiškog jezika prema starom slovenskom jeziku (U vezi sa razvojam žanrova u staroj srpskoj književnosti) // Naučni sastanak slavista u Vukove dane (1978). 8. 1. Beograd, 1982. S. 24.
67. *Булич С. К.* Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке. Ч. 1. СПб., 1893 (переизд.: München, 1986. S. 130—406).
68. *Garvin P. L.* The standard language. Problem-concepts and methods // Anthropological linguistics. 1959. 1.3.
69. Alternat der Kvazilsbulle von Ferrara — Florenz vom 6. Juli 1439 // Slavistische Linguistik. 1986. München, 1987. S. 266—270.
70. *Keipert H.* Die slavische Übersetzung des Photius — Briefes an Boris—Michael von Bulgarien. Gattungen in den Slavischen Literaturen: Beiträge zu ihren Formen in der Geschichte. Festschrift für A. Rammelmayer. Köln; Wien, 1988. S. 107—110.
71. *Rothe H.* Zur Kiever Literatur in Moskau. I // Studien zu Literatur und Kultur in Osteuropa. Bonner Beiträge zum 9. Internationalen Slavistenkongress in Kiev. Köln; Wien, 1983.
72. *Jaksche H.* Arsenij Gluchij — ein russischer «Philologe» des 17. Jahrhunderts // Anzeiger für slavische Philologie. 1985. 15—16.
73. *Успенский Б. А.* Из истории русских канонических имен (История ударения в канонических именах собственных в их отношении к русским литературным и разговорным формам). М., 1969.
74. Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / Подгот. текста и текстол. коммент. Тоболовой М. П. Под. ред. с предисл. Успенского Б. А. М., 1981. С. 82, 86.
75. *Ковтун Л. С.* Русская лексикография эпохи средневековья. М.; Л., 1963.
76. *Ковтун Л. С.* Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975.
77. *Ковтун Л. С.* Термины стихосложения в русском азбуковнике // Культурное наследие Древней Руси. Истоки, становление, традиции. М., 1976.
78. *Keipert H.* Nomen est omen. Etymologie als Denkform bei russischen Autoren des 17. Jahrhunderts. Sprache, Literatur und Geschichte der Altgläubigen // Akten des Heidelberges Symposiums vom 28. bis 30. April 1986. Heidelberg, 1988.
79. *Німчук В. В.* Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською. Київ, 1980.

80. *Цейтлин Р. М.* Краткий очерк истории русской лексикографии (словари русского языка). М., 1958.
81. *Биржакова Е. Э.* Лексикографические источники и их использование в Словаре русского языка XVIII в. // Проблемы исторической лексикографии. Л., 1977.
82. Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII в. М., 1968.
83. *Вомперский В. П.* Словари XVIII века. М., 1986.
84. *Сухомлинов М. И.* История Российской Академии. I. СПб., 1874. С. 324.
85. *Сухомлинов М. И.* История Российской Академии. VIII. СПб., 1888. С. 5.
86. *Рудакова И. Ф.* Словарь Академии Российской, 1789—1794: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1965.
87. *Фонвизин Д. И.* Собр. соч. Т. 1. М.; Л., 1959. С. 248.
88. *Коломинов В. В., Фейнштейн М. С.* Храм муз словесных (Из истории Российской Академии) Л., 1986. С. 27.
89. *Востоков А. Х.* Словарь церковно-славянского языка. СПб., 1858—1861.
90. *Дьяченко Г.* Полный церковнославянский словарь. Т. 1—2. М., 1899.
91. Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отдел. Имп. Акад. наук. 2-е изд. Т. 1—4. СПб., 1867—1868 (переизд.: Leipzig, 1972).
92. *Гильтебрандт П.* Справочный и объяснительный словарь к Новому Завету. Т. 1—6. СПб., 1882—1885 (переизд.: München, 1988—1989).
93. *Гильтебрандт П.* Справочный и объяснительный словарь к Псалтири. СПб., 1898.
94. *Keipert H.* Zur Geschichte der kirchenslavischen Bibelkonkordanzen // Гильтебрандт П. Справочный и объяснительный словарь к Новому Завету. München, 1988—1989.
95. *Німчук В. В.* Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. Київ, 1985.
96. *Worth D. S.* The Origins of Russian grammar. Notes on the state of Russian philology before the advent of printed grammars. Columbus, Ohio, 1983. P. 14—21.
97. Букварь Ивана Федорова. Київ, 1975. С. 87.
98. *Grasshoff H., Simmons J. S. G.* Ivan Fedorovs griechisch-russisch-kirchenslavisches Lesebuch von 1578 und der Gothaer Bukvar' von 1578—1580. B., 1969. S. 21—29.
99. *Ботвинник М. В.* Азбука Ивана Федорова и ее традиции // Иван Федоров: восточнославянское книгопечатание. Минск, 1984.
100. Adelphotes. Die erste gedruckte griechisch—kirchenslavische Grammatik. L'viv-Lemberg, 1591 / Hrsg. und eingel. von Horbatsch O. Frankfurt/Main, 1973.
101. *Лаврентій Зизаній.* Граматика словенська / Підг. факс. вид. та дослідж. Німчука В. В. Київ, 1980.
102. *Lavrentij Zizanij.* Hrammatika slovenska. Wilna, 1596 / Hrsg. und eingel. von G. Freidhof. Frankfurt/Main, 1972. S. 90—93.
103. *Жуковская Л. П.* Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.
104. *Рижский М. И.* История переводов Библии в России. Новосибирск, 1978.
105. *Чистович И. А.* История перевода Библии на русский язык. СПб., 1899.
106. *Толстой Н. И.* Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII в.) // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. М., 1963. С. 241.
107. *Исаченко-Лисовая Т. А.* Псалтирь Авраамия Фирсова 1683 г. Особенности языка и перевода // ИАН СЛЯ. 1984. № 3.
108. *Исаченко Т. А.* Фирсов Авраамий Панкратьевич (XVII в.) // ТОДРЛ. 1985. XL. С. 178.
109. Псалтирь 1683 года в переводе Авраамия Фирсова / Подг. текста, составление словоуказателя и предисл. Целуновой Е. А. München, 1989.
110. *Топоров В. Н.* Эрнст Глюк, немецкий подвижник латышского и русского просвещения // Балто-славянские исследования. 1984. М., 1986.
111. *Winter E.* Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jahrhundert. B., 1953, S. 243—254.
112. *Bryner E.* Neuere russische Bibelübersetzungen // Unser ganzes Leben unserem Gott überantworten. Studien zur ostkirchlichen Spiritualität. Fairy von Lilienfeld zum 65. Geburtstag. Göttingen, 1982.
113. *Прохоров Г. М.* Лествица // ТОДРЛ. 1985. XXXIX. С. 253—258.
114. Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in der kirchenslavischen Übersetzung des 14. Jahrhunderts / Hrsg. von Weiher E. unter Mitarbeit von Keller F. und Miklas H. Freiburg i.Br., 1987.
115. *Kern C.* Les traductions resses des textes patristiques. Guide bibliographique. Chevetogne; Paris, 1957.
116. *Гаврилов А. В.* Очерк истории С.-Петербургской Синодальной типографии. Вып. I. 1711—1839. СПб., 1911. С. 191—203.

117. Псевдо Дионисий Ареопагит. О божественных именах. Перевод иг. Геннадия. Buenos Ajres, 1957.
118. *Röhling H.* Beobachtungen am russischen theologischen Buchdruck des 18. Jahrhunderts // Festschrift für W. Gesemann. Bd 3: Beiträge zur slavischen Sprachwissenschaft und Kulturgeschichte. Neuried, 1986.
119. *Rothe H.* Religion und Kultur in den Regionen des russischen. Reiches im 18. Jahrhundert. Opladen, 1984.
120. *Кутина Л. Л.* Феофан Прокопович. Слова и речи. Проблема языкового типа // Язык русских писателей XVIII века. Л., 1981.
121. *Кутина Л. Л.* Феофан Прокопович. Слова и речи. Лексико-стилистическая характеристика // Литературный язык XVIII века. Проблемы стилистики. Л., 1982.
122. *Живов В. М.* Лингвистическое благочестие в первой половине XIX века (из истории размножения литературных языков в послепетровскую эпоху) // Wiener slavistischer Almanach. 1984. 13: Festschrift für G. Hüttl — Folter zum sechzigsten Geburtstag.
123. *Plähn J.* Das moderne russische Kirchenslavisch als linguistischer Gegenstand // ZfPh. 1975. 38.
124. *Plähn J.* Der Gebrauch des modernen russischen Kirchenslavisch in der Russischen Kirche. Hamburg, 1978.
125. *Mathiesen R.* The inflectional morphology of the synodal Church Slavonic verb. Ann Arbor, 1972. P. 444—497.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1991

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Один из крупнейших германистов нашей страны доктор филологических наук проф. Мирра Моисеевна Гухман (1904—1989) является автором многих важнейших исследований в области истории и теории германских языков и истории немецкого языка, соавтором и соредактором таких капитальных трудов, как четырехтомная «*Сравнительная грамматика германских языков*» (1962—1966) и трехтомная «*Историко-типологическая морфология германских языков*» (1977—1978), автором многих исследований по общей теории языка, инициатором и руководителем ряда коллективных монографий, созданных в период с 1980 по 1989 гг. в комиссии по проблемам развития литературных языков, работающей уже в течение 10 лет в Институте языкознания АН СССР.

В необычайно разнообразном научном творчестве М. М. Гухман германистика неизменно играла ведущую роль. М. М. Гухман — автор ставшей библиографической редкостью монографии по готскому языку, ей принадлежит ряд работ, посвященных становлению отдельных грамматических категорий германских языков: о происхождении строя готского глагола (1940), о развитии залоговых противопоставлений в германских языках (1955—1964), о судьбе индоевропейского медиума (1959), о конструкции с дат./винит. лица в германских языках в свете эргативного прошлого индоевропейских языков (1967, 1972) [1].

Труды М. М. Гухман не только представляют собой крупнейший вклад в разработку специальных проблем германского языкознания, но и послужили основой для развития автором общей теории языка. Так, на базе исследований по сравнительной грамматике, исторической грамматике и типологии германских языков возникли работы М. М. Гухман о сущности грамматической категории, о значении грамматических категорий для типологического исследования языков, о морфологической структуре слова и аналитических конструкциях, о сущности словоизменительной парадигмы и процессах парадигматизации в процессе развития языка.

Как крупный теоретик языка М. М. Гухман смело выдвигала значительные научные идеи и воплощала их в новаторских по своей сути работах. Одной из таких крупных работ, написанных М. М. Гухман в последнее десятилетие ее жизни, является «Историческая типология и проблемы диахронических констант» (1981). В этой книге разработаны проблемы исторической типологии как особой области типологических исследований, в задачи которой входит изучение результатов развития и преобразований языка, раскрытие внутренних пружин и механизмов, обусловивших сами процессы.

Работая над проблемами исторической типологии, М. М. Гухман одновременно продолжала неустанные поиски в области теории и истории литературных языков. Начало в разработке этой проблематики было положено М. М. Гухман еще в 50-е годы двухтомной монографией «От языка немецкой народности к немецкому национальному языку» (1955—1959). Склонность к широким обобщениям, прочная связь с отечественной лингвистической традицией, в русле которой давно уже вызревала идея о специфических аспектах изучения истории литературного языка, последовательный историзм в подходе к языковым явлениям — все эти моменты, сочетавшиеся с прекрасным владением конкретным материалом, позволили М. М. Гухман создать целостное исследование, которое благодаря переводу на немецкий язык вошло в фонд мировой германистики. Помимо того значения, которое это исследование имело для понимания процессов формирования современного немецкого языка, монография М. М. Гухман явилась важным этапом в развитии теории литературного языка — в определении его отличительных признаков и наиболее существенных аспектов его изучения. С конца 60-х — нач. 70-х годов в работах М. М. Гухман, посвященных

[1] Поскольку последний обзор научного творчества М. М. Гухман был опубликован в 1979 г. (см.: *Москальская О. И., Семенюк Н. Н.* К развитию советской германистики // ВЯ. 1979. № 1), основное внимание в данном очерке уделяется последним 10 годам ее деятельности в науке.

литературному языку, явственно обозначаются некоторые новые темы и поднимается ряд новых вопросов. Так, в работе о языке немецкой литературы эпохи Раформации и Крестьянской войны (1974), выполненной на огромном языковом материале листовок, ранее вообще не привлекавшихся к лингвистическому исследованию, М. М. Гухман ставила вопрос о соотношении территориального варьирования с варьированием функционально-стилистическим, а также с социальными дифференциациями языка. К этой теме М. М. Гухман обращалась и в более поздних своих работах, считая данный аспект изучения литературного языка одним из ведущих в понимании природы, формирования и функционирования данной формы существования языка.

Постепенное расширение круга литературных языков, изучаемых в советской лингвистике, постоянный интерес к общим проблемам их истории и функционирования, а также собственный богатый опыт исследователя побуждали М. М. Гухман периодически обращаться к сопоставлению разных литературных языков, искать в них подтверждение тем наблюдениям и выводам, которые были получены на материале истории немецкого литературного языка, выверять выдвинутые теоретические положения. Особенно четко универсальные признаки литературного языка даны в специальном разделе «Литературный язык» теоретического труда «Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка» под ред. Б. А. Серебренникова (1970). Здесь обосновывается широкое понимание литературного языка, включающее не только письменные, но и устные обработанные наддиалектные формы. Наиболее существенным в данной работе является, во-первых, определение признаков литературного языка в их противопоставленности признакам диалекта, а во-вторых, выявление разных типов литературных языков.

Путь от конкретной истории немецкого языка к общим проблемам «функциональной» типологии не является единственным направлением, по которому шло обобщение и осмысление материала. Одновременно с этим литературный язык рассматривался М. М. Гухман в связи с таким его признаком, как наддиалектность. Эта тема развивается в связи с исследованием литературно-письменного немецкого языка XVI столетия. Наиболее явственно признаки литературного языка как специфически «наддиалектного» образования проявляются в структурном аспекте (отказ от ряда строевых признаков диалекта, объединение разнодиалектных черт) и в функционально-стилистическом (развитие в литературном языке определенных лексических пластов и специфических синтаксических конструкций). Разработка теории литературного языка нашла свое логическое завершение в двухтомном труде «История немецкого литературного языка IX—XVIII вв.» (1983—1984; совместно с Н. Н. Семенюк и Н. С. Бабенко), в котором литературная форма языка выступает как самостоятельный объект изучения. Предложенная модель такого описания отражает наиболее важные для данной проблематики темы и аспекты.

Свидетельством авторитетности и широкого признания разработанных М. М. Гухман фундаментальных положений концепции формирования и развития литературных языков стала деятельность проблемной комиссии по литературным языкам при ИЯЗ АН СССР, работой которой М. М. Гухман руководила до последних дней своей жизни. В серии коллективных монографий, выполненных под ее руководством на разнообразном языковом материале (греческий, монгольский, арабский, армянский, японский, тюркские, романские, германские и др. языки), подтвердилась перспективность изучения литературных языков, приоритетность разработанных М. М. Гухман теоретических основ их изучения, надежность, эффективность введенного ею понятийного аппарата и методов для анализа языков разных групп и семей. Мысль о наличии сходных признаков и уникальных черт в функциональном развитии языков привела М. М. Гухман к обоснованию и введению в научный обиход понятия «функциональная парадигма языка» для обозначения модели иерархического строения системы, включающей формы существования конкретного языка.

В самые последние годы М. М. Гухман все чаще обращалась к теме языка и культуры, языка и литературного творчества. В этой связи можно назвать вышедшую в 1984 г. статью «История немецкого языка и история литературы» (*Guchmann M. M.* Deutsche Sprachgeschichte und Literaturgeschichte // Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 1. Halbband. B.; N. Y., 1984), где сделана попытка разграничить в диахронии задачи и объект истории языка и истории литературы. Примыкает к данной тематике и работа «История языка и текст» в юбилейном сборнике, посвященном 80-летию М. Б. Храпченко (Литература, язык, культура, М., 1986), где ставится вопрос о специфике использования текстов в исследованиях по истории литературного языка. К этому же ряду принадлежит и впервые публикуемая ниже на русском языке работа «Литературный язык и культура», изданная на немецком языке в Маннгейме в 1984 г.

Чрезвычайно высоким был авторитет М. М. Гухман в мировой германистике. По общему признанию ведущих германистов мира, ее фундаментальные труды в об-

ласти истории немецкого языка, переведенные на немецкий язык, заложили основы глубоко научной концепции развития единого национального языка в связи с развитием нации. Плодотворные идеи М. М. Гухман неизменно привлекали к себе внимание исследователей немецкого языка и стимулировали в значительной степени появление целой серии работ в нашей стране и за рубежом, посвященных проблемам формирования немецкого литературного языка. Историко-лингвистические труды М. М. Гухман способствовали тем самым сохранению исторической проблематики в период, когда усилия значительной части лингвистов были направлены преимущественно на изучение современных языков.

Не только в советской, но и в зарубежной германистике исследования М. М. Гухман остаются в ряду весьма актуальных, во многом новаторских работ, стимулирующих дальнейшие исследования. Так, в книге Ф. Хартвега и К. П. Вегеры «Раннененововерхненемецкий язык» (*Hartweg F., Wegera K. P.* Frühneuhochdeutsch. Eine Einführung in die deutsche Sprache des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Tübingen, 1989) ее авторы называют работы М. М. Гухман 50—60-х годов в числе некоторых других исследований, определивших и определяющих дальнейшее направление историко-лингвистических штудий («richtungsweisende Untersuchungen»).

Выдающиеся заслуги М. М. Гухман в области изучения немецкого языка, его истории и теории дважды были отмечены присуждением ей Международных премий: премии им. братьев Гримм (ГДР, 1982 г.) и премии им. К. Дудена (ФРГ, 1984 г.). Эти премии являются высшими наградами, которые присуждаются германистам за выдающиеся успехи в изучении немецкого языка. М. М. Гухман стала первым из числа советских германистов лауреатом этих премий, что явилось актом международного признания ее высоких научных достижений, а также авторитета советской германистики.

Ниже публикуется текст доклада М. М. Гухман (переведенный нами и оформленный по правилам, принятым в ВЯ), прочитанного ею на церемонии вручения премии им. К. Дудена в г. Мангейме (ФРГ) в 1984 г. Тематика доклада, его структура и выбор языкового материала в значительной степени определяются обстоятельствами торжественной церемонии награждения, которая проходила в присутствии германистов и общественности города Мангейма (*Guchmann M. M.* Literatursprache und Kultur // Duden Beiträge. 1984. Hf. 47. Mannheim, 1984.).

Бабенко Н. С.

© 1991 г.

ГУХМАН М. М.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

1

Становление и развитие человеческого общества теснейшим образом связано с формированием и эволюцией такого универсального средства коммуникации, каким является язык.

Созданный человеком, язык является частью его истории, он изменяется и эволюционирует по мере развития материальной и духовной жизни человека. Тем самым в его судьбе отражаются все достижения и потери, весь положительный опыт и ошибки человеческого бытия.

Поскольку язык не представляет собой однородного образования, а, напротив, является функционально дифференцированной и многослойной системой форм существования (диалект, полудиалект, местные разновидности разговорного языка и — ведущая форма существования языка — литературный, или письменный язык), то и сами эти формы находятся в разных отношениях с той или иной культурной ситуацией.

В своей культурной деятельности в широком смысле этого слова, включающей науку, искусство, литературу, образование, различные общественные институты и т. д., человек пользуется главным образом обработанной формой языка, а не территориальным диалектом или полу-

диалектом. Проникновение последних в какую-либо сферу культуры является в большинстве случаев процессом вторичным, поскольку их использование функционально ограничено и стилистически маркировано. Напротив, социально и культурно более высокая форма существования языка стабильно сохраняет свою ведущую роль. Важно также отметить, что культурные стимулы оказывают влияние в первую очередь на обработанную форму языка, которая затем воздействует и на другие формы существования языка. Поэтому при обращении к проблеме соотношения культуры и языка необходимо исследовать прежде всего процессы, которые происходят в обработанном языке, используемом в высших сферах коммуникации.

Сравнительный анализ функциональных систем различных языков Европы, Азии, Африки [1, 2] позволяет утверждать, что функциональное расслоение языка является историко-типологической категорией, которая характеризует бытие языка и проявляется в разнообразных формах реализации.

Наряду с диалектом как первичной формой устного общения, которая отличается спонтанностью и монофункциональностью, развивается новая наддиалектная обработанная форма языка, в результате чего возникает функциональное расслоение языка, которое может быть представлено в виде функциональной парадигмы. Первоначально диалект выступал в пределах того или иного социума не только важнейшим, но и единственным средством коммуникации. Слабая дифференцированность коммуникативных сфер препятствовала возникновению каких-либо наддиалектных форм. «В начале развития,— пишет В. Беш [3, с. 968],— можно исходить из его (диалекта — *Г. М.*) монофункциональности, которая может быть истолкована в двух смыслах: диалект как единственная форма существования языка в системе того или иного человеческого сообщества и, кроме того, как образование без отчетливо очерченных функциональных признаков внутри самого диалекта... Развитие наддиалектных форм языка сопровождается, как правило, процессом дифференциации...». Этот процесс дифференциации возникает под действием экстралингвистических факторов [1, с. 15].

Первичная функциональная стратификация языка проявляется тем самым в виде бинарной оппозиции «диалект — наддиалектная форма существования языка». Вместе с тем можно предполагать, что уже в самом диалекте формируются дифференциальные признаки обработанного языка, которые и ведут к обособлению от обиходно-разговорного языка. В этом процессе следует различать две линии: во-первых, возникновение наддиалектных форм языка как результат процессов выравнивания и, во-вторых, обособление наддиалектной системы на функционально-стилистическом уровне, которое сопровождается формированием определенных слоев лексики, фразеологии, синтаксических структур, свойственных только языку более высоких сфер коммуникации [1, с. 15].

Двучленная система оппозиции форм существования языка является по сути первоначальной формой и образует также ядро любого функционального членения; формирование этой оппозиции протекает в истории отдельных языков по-разному. В определенных условиях происходит дальнейшее членение системы, возникают различные виды переходных форм (полудиалект, разговорно-обиходный язык), нередко регионально маркированные. Развитие письменности ведет к появлению новой оппозиции, охватывающей письменную и устную формы языка, что еще больше усложняет структуру функциональной парадигмы.

С течением времени меняется статус отдельных форм существования языка (особенно отчетливо это можно наблюдать на судьбе диалекта) и их соотношение. Строгость их разграничения, отчетливость членения в рамках функциональной системы не остаются стабильными, они варьируют, и не только в разных языках, но и в истории одного и того же языка. Формирование этой системы представляет собой многослойный процесс, изучение и описание которого затрудняется нестабильностью и разнородностью используемой терминологии.

2

В центре нашего внимания в данном случае находится проблема наддиалектных обработанных языковых образований, которые используются в высших сферах коммуникации и теснейшим образом связаны с историей культуры.

Существуют две возможности моделирования развития и качественных изменений в статусе этих форм существования языка и их соотношения с другими компонентами функциональной системы. Это зависит от того, рассматривается ли история функциональной системы языка и его высшего страта как смена замкнутых образований, причем при описании каждой стадии развития отдается предпочтение профилирующим признакам, или на передний план выдвигаются, несмотря на качественные различия, функциональное единство, внутренняя взаимосвязь отдельных этапов развития, роль традиции. С этим связаны также и терминологические расхождения.

Первая модель разрабатывается в одной из последних публикаций В. Беша. Четко и определенно он делит историю формирования наддиалектной формы в немецком языке на три этапа, причем каждый этап образует закрытую систему и получает свое собственное обозначение; предлагается такая последовательность: письменный диалект (Schreib- oder Schriftdialekt) — письменный язык (Schriftsprache) — стандартизованный язык (Standardsprache). Все наиболее существенные черты немецкой письменности от VIII до XV вв. покрываются понятием «письменный диалект», дифференциальным признаком которого выступает зависимость от той или иной территории. «Письменный диалект как термин сигнализирует, таким образом, о значительной территориальной замкнутости всей немецкоязычной письменности в средние века» [3, с. 969]. Принципиальное отличие письменного языка (вторая стадия развития, XVI—XVIII вв.) заключается в том, что письменный язык предполагает как необходимое условие выбор нормы, которая стоит над любым отдельно взятым диалектом [3, с. 977]. Существование общеязыковой нормы служит важным дифференциальным признаком письменного языка. Заключительное нормирование (третья стадия, начиная с XIX в.) происходит параллельно с переносом функций на сферу устного общения, благодаря чему письменный язык приобретает поливалентность. «Поливалентность выступает критерием стандартизованного языка в отличие от письменного языка» [3, с. 978].

3

Вторая модель соотносится со сферой теории литературного языка. Понятие «литературный язык» используется здесь в своем глобальном смысле как обозначение любой разновидности обработанного языка, который противостоит спонтанным формам существования обиходно-раз-

говорной речи. Термин «литературный язык» не следует понимать как «язык (художественной) литературы», точно так же понятие «письменного языка» не равноценно понятию «язык письменности». В обоих случаях сложносоставный термин имеет особое значение с элементом идиоматичности (иную точку зрения см. [4]). Тем самым литературный язык не является членом терминологического ряда: «художественный язык — язык поэзии — литературный стиль». Он скорее выступает компонентом системы форм существования языка.

В плане вертикального членения немецкого языка, т. е. на уровне его функциональной парадигмы, литературный язык всегда занимает верхнюю позицию. Потенциально он может использоваться во всех сферах общественной жизни: в государственном управлении, в юриспруденции, в церкви и школе, в художественной литературе и в официальных выступлениях, наконец, в повседневном общении. Немецкий литературный язык завоевывает эти коммуникативные сферы лишь в процессе длительного развития, которое сопровождалось борьбой против господства латыни.

Релевантными признаками любого литературного языка являются: 1) обработанность и связанная с ней селекция; 2) обособление от диалекта («наддиалектность»), что может выражаться в разных формах (структурное и функционально-стилистическое обособление); 3) полифункциональность и функционально-стилистическое варьирование.

Хотя эти признаки являются типичными для литературного языка и образуют определенную систему, формы реализации отдельных признаков и их соотношение существенно различаются в отдельные периоды истории немецкого литературного языка. Это касается степени и характера обработанности, уровня обособления от диалекта, объема полифункциональности, типа регламентации. Все же стабильной остается сама оппозиция по отношению к разновидностям спонтанной обиходно-разговорной речи. Полную реализацию эта система признаков получает лишь в XIX—XX вв.

Начальные этапы этих процессов относятся ко времени создания первых прозаических и поэтических памятников на немецком языке. В языке таких текстов, как Исидор, Отфрид, Песнь о Хильдебранде, Хелианд, Вессебрунская молитва, Муспилли, Спаситель, обнаруживаются признаки функционально-стилистического и структурного обособления от диалектных форм обиходно-разговорного языка [5; 6, с. 44, 46—48, 50, 67]. «Древневерхненемецкий „Исидор“,— пишет Р. Шютцайхель,— представляет собой выдающийся памятник литературы, язык которого стоит над местными диалектами, при этом надрегиональные тенденции в этом памятнике проявляются сильнее в фонологии, формообразовании и орфографии...» [7, с. 121]. Во всех этих памятниках обнаруживаются определенные признаки обработанного языка: на уровне лексики и фразеологии, которые чужды узусу разговорного языка (эпическая, религиозно-философская лексика), на уровне синтаксических комплексов, которые свойственны только более высоким коммуникативным сферам [8—11]. Начальные стадии процессов выравнивания и смешения различных диалектных признаков являются свидетельством действия тенденции к обособлению от диалекта. Наконец, тематика и содержание этих текстов указывают на преодоление монофункциональности, одного из релевантных признаков диалекта. Тем самым уже для этого периода оказывается возможным реконструировать двучленную систему форм существования языка.

Обособление от диалекта не исчерпывает, однако, региональную ва-

рнативность литературного языка — особенно в донациональный период. Вследствие постепенно усиливающихся процессов выравнивания и взаимодействия между различными локальными письменными традициями территориальная дифференциация литературного языка не совпадает с диалектными изоглоссами. Расхождения между диалектными изоглоссами и теми изоглоссами, которые характеризуют региональную вариативность языка текстов, следует считать результатом обособления от диалекта [12—14].

Для функционирования региональных вариантов немецкого литературного языка типичным является включение инодиалектных явлений, которые первоначально принадлежали другим диалектным ареалам. Их использование еще больше усиливает наддиалектный характер литературного языка.

Необходимо также отметить, что в период с VIII по XVI вв., когда в немецком литературном языке еще не существовало сознательного стремления к норме, статус и специфику литературного языка определяли не структурные, а скорее функционально-стилистические признаки, которые играли доминирующую роль в обособлении от необработанных форм языка.

Несмотря на изменения в характере отдельных признаков и в их соотношении (см. выше), совокупность признаков литературного языка остается в целом стабильной. Именно это обстоятельство гарантирует единство в развитии обработанных наддиалектных форм существования языка. Единство присуще историческому развитию немецкого литературного языка, который на протяжении нескольких столетий (с VIII по XX вв.) неизменно занимает высшую страту в функциональной парадигме.

Вторая модель, которая ориентирована на изучение единства и многообразия в развитии функциональной системы и особенно обработанных форм существования языка, отражает диалектику и специфику реальных процессов в функциональной истории немецкого языка. В этом заключается известное преимущество данной модели.

4

Формирование, развитие и функционирование немецкого литературного языка является важной составной частью общего исторического и культурно-исторического процесса. Поскольку для литературного языка характерно накопление языковых и культурных ценностей, то и история немецкого литературного языка органичным образом входит в историю культуры. Такие вехи немецкой истории, как христианизация, создание письменности, изобретение книгопечатания, введение школьного образования и основание университетов, не могли не отразиться на истории немецкого литературного языка. Важными являются также религиозные и политические выступления масс, которые делали слово своим оружием, а также философские течения, которые давали импульсы для развития культуры и литературного языка. Немецкая схоластика, ереси и мистика, гуманизм, идеологические разногласия в эпоху Реформации и Крестьянской войны, философия Ренессанса — все это звенья в цепи идеологических процессов, которые характеризуют культурную жизнь Европы в XIII—XVI вв. Это та питательная среда, с которой непосредственно связана судьба немецкого литературного языка.

В истории немецкой культуры выделимы периоды, в которые особенно определенно происходит смена одного ведущего идеологического на-

правления другим и проблемы языка становятся доминирующими в духовной жизни эпохи. К таким периодам можно было бы отнести немецкий гуманизм с конца XV в. до начала XVI в. и Реформацию. Что касается эпохи Реформации, то юбилей М. Лютера (1983 г.) вновь привлек внимание исследователей к фигуре реформатора и к его языку. Иначе складывается ситуация с изучением литературного языка немецких гуманистов, деятельность которых приходится на канун Реформации.

Вместе с тем это была эпоха, которая не просто предшествовала мощному движению народных масс в период Реформации и Крестьянской войны, но и этапом, когда немецкий язык de facto впервые стал объектом сознательного изучения и описания, когда развитие языка стало определяться целенаправленной «языковой политикой». В сложном взаимодействии различных тенденций постепенно кристаллизовались функционально-стилистические черты, которые в дальнейшем должны были определять особенности истории немецкого литературного языка.

Сильнейшим стимулом для развития литературного языка стало такое значительное событие в истории немецкой культуры, как изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. В первые десятилетия после этого изобретения печатники относились весьма сдержанно к изданию новых книг на немецком языке; преимущественно печатались латинские тексты, которые уже зарекомендовали себя в рукописной форме и были хорошо известны читателям. Поэтому по-настоящему фактом истории немецкой культуры и немецкого языка печатная книга стала лишь в последней четверти XV в.

Начиная с 70-х годов число книг на немецком языке неизменно растет. Они расходятся по всей стране, попадают в руки представителей разных общественных слоев. В 1498 г. С. Брант, прославляя книгопечатание, писал, что книга, ранее доступная только богачу и титулованным лицам (имеются в виду рукописные книги), ныне встречается везде, даже в хижине. Этому созвучно высказывание известного гуманиста Цельтиса, отмечавшего (в 1499 г.), что отныне немецкую библию можно встретить и на постоялом дворе [15, с. 298]. Даже если предположить в этих высказываниях некоторое преувеличение, несомненно и то, что в связи с книгопечатанием неизмеримо расширился круг читателей. Перед авторами, издателями, корректорами вставали новые задачи, определявшиеся потребностями и интересами разных читательских кругов, а тем самым более гетерогенной становилась социальная база немецкого литературного языка.

О популярности книги на немецком языке свидетельствуют, помимо прочих фактов, рекламные объявления, которые вывешивались книгоиздателями на многолюдных площадях. Сохранилась, например, реклама аугсбургского издателя А. Зорга от 1483 г., в которой перечисляются 32 названия немецких книг, среди них: «der Heiligen leben», «das leben der heyligen alltväter», «buch d'gōetlichē weißheit», «ewangeli vnnd epistel», а также светские книги: «wie die stat Troya erstört ward», «Das Buch von Alexander dem Großen», «Von Grisela», «Melusine», «Die Reisen Johann Montavills», «Von den sieben Weisen». В последние десятилетия XV в. начинают издаваться произведения современных авторов: в 1472 г. появляется «Книжечка о браке» фон Эйба, напечатанная известным нюрнбергским издателем А. Кобергером и выдержавшая несколько переизданий; в 1478 г. у К. Финера в Еслингене появилось собрание переводов под названием «Translationen», принадлежавшее известному гуманисту Н. фон Виле. В 1494 г. в Базеле в издательстве Б. фон Ольпе впервые

была напечатана сатира С. Бранта «Корабль глупцов»; в том же году издания этой книги появились в Нюрнберге, Аугсбурге, Рейтлингене; в последующие годы издания неоднократно возобновлялись.

Книги различного содержания, которые отвечали интересам и потребностям различных кругов читателей, становятся одним из важнейших культурных факторов в развитии литературного языка.

Развитие немецкой культуры неразрывно связано в рассматриваемый период с гуманизмом, идеологией в значительной степени элитарной, поскольку ее носителями был ограниченный круг образованных, владевших широким диапазоном знаний современной им эпохи людей. Эта волна нового миропонимания сложилась не только под влиянием итальянского гуманизма, но и общего развития европейской культуры.

Великие географические открытия, связанные с именами Колумба, Васко де Гама, Америго Веспуччи, чрезвычайно расширили интеллектуальные горизонты людей того времени. Секуляризация университетов, развитие естественных наук, астрономии и математики, появление первых научных ежегодников, наконец, развитие книгопечатания вели к расшатыванию основ застывшей догматической системы, освященной авторитетом церкви.

Источник обновления современного общества находили в культуре античного мира; у древних писателей, поэтов и философов открывали пути совершенствования человеческой личности. Гуманисты Италии выступали в роли учителей и просветителей. Непревзойденным образцом считался стиль латинской прозы в творениях Петрарки, Боккаччо, Поджо.

Однако немецкий гуманизм был идейным течением значительно более многоплановым, чем его итальянский образец. Эта многоплановость была обусловлена различиями в соотношении таких компонентов, как идеализация античности, с одной стороны, и сопротивление римской церкви,— с другой. Для большинства гуманистов первостепенное значение имела филологическая практика — переводы, издание текстов, комментарии; антиклерикальные мотивы отступали на задний план или вовсе отсутствовали.

Кроме того, по-разному оценивались роль и значение родного языка. Общее развитие филологической культуры, которая занимала в деятельности гуманистов заметное место, пробуждало интерес к проблемам родного языка; впервые немецкий язык становится объектом пристального внимания и размышлений. С этими устремлениями была связана и практика многочисленных переводчиков, к числу которых принадлежали такие известные гуманисты, как Иоганн Рейхлин, Никлас фон Виле, Альбрехт фон Эйб, Генрих Штейнхевель, Авентин. В связи с этим следует также упомянуть о появлении многочисленных тематических и общих словарей — латинско-немецких и немецко-латинских, например, «Vocabularius theutonicus in quo volgares dictiones ordine alphabetico preponuntur» (1482) и «Vocabularius incipiens teutonicum ante latinum» (1500). Чрезвычайно популярными стали такие издания на немецком языке «Spiegel der varen Rhetoric» (1493), «Formulare vnd Tutsch rethorica» (1483).

Все эти факты свидетельствуют о живом интересе широких кругов к печатному слову. «Весь народ хочет теперь читать и писать»,— напечатано в опубликованном в 1498 г. в Майнце «Путеводителе для души».

Среди гуманистов не существовало единого мнения по вопросу о выразительных возможностях родного языка. Слишком велик был авторитет латинского и греческого языков. Весьма показательными для опреде-

ленных кругов гуманистов являются слова Н. фон Виле, одного из наиболее известных гуманистов того времени, который говорил о бедности выразительных средств немецкого языка, ограниченности его стилистических возможностей, отсутствии в нем прочных норм, «изящества и правил». Тем самым фон Виле повторял, сам того не осознавая, мнение, высказанное еще Отфридом. При этом Н. фон Виле был одним из самых крупных авторов своего времени. Язык его переводов считался образцом высокого прозаического стиля. Руководства по немецкой риторике заимствовали примеры из его переводов. Сам Н. фон Виле дал точную характеристику принципов и методов перевода: по его мнению, следует переводить «слово за словом» (wort uss wort), не принимая во внимание структурные особенности немецкого языка. Благодаря этому фон Виле стал наиболее ярким представителем латинизированной немецкой прозы XV в.

Существовала и другая точка зрения на выразительные возможности немецкого языка и принципы перевода. Рейхлин, Эйб, Штейнхевель, а позднее и Авентин стремились усовершенствовать язык немецкой прозы, но не только путем подчинения немецкого языка чуждым ему законам латыни, а, напротив, на основе обработки и дальнейшего развития самой немецкой традиции, которая сформировалась в немецком языке повествовательной литературы. В отличие от фон Виле, Г. Штейнхевель считал, что переводить следует nit wort uss wort sunder sinn uss sinn «не слово в слово, а смысл за смыслом», не нарушая природы немецкого языка.

Второе направление отражало более прогрессивные взгляды на возможности немецкого литературного языка и на принципы переводческой деятельности. Именно в эти десятилетия пробуждение национального самосознания начинает играть все большую роль в связи с борьбой против власти курии и римского засилья. С середины XV в. понятие «teutsche Nation» приобретает значение, близкое к современному. Уже Мейстерлин употребляет этот термин как обозначение всего немецкого народа, независимо от деления на феодальные территории. Особенно ярко проявляется национальное сознание в антипапистских листовках Гуттена: в них он обращается к teutsch nation, vaterland, призывая бороться против иноземного засилья.

5

Дальнейшее распространение просвещения, достижений не только античной, но и современной европейской культуры явилось важным аспектом общественной практики немецкого гуманизма. Незнание греческого и латинского языков было тем барьером, который препятствовал усвоению этих знаний широкими кругами мирян. Новое понимание человеческого бытия, новые идеи, закодированные в формах чужого языка, оставались неизвестными для широких масс, не владевших этими языками. Поэтому переводческая практика приобретает накануне Реформации особое значение. Переводы с латинского и греческого занимают в литературе этого времени ведущую позицию. Существенное значение для истории литературного языка и путей его развития имел также отбор произведений и видов текстов, которые переводились на немецкий язык, что повлияло на стилистическую систему литературного языка и тенденции его дальнейшего совершенствования.

В отличие от переводной литературы предыдущих столетий, когда преобладали переводы религиозного, религиозно-философского и дидактического содержания, внимание гуманистов было направлено преимущественно на светскую тематику. Переводили художественную литературу —

новеллы Боккаччо и Петрарки, комедии Плавта и Теренция, романы «О великом Александре», «Об Аполлонии», «Прекрасная Магелона», басни Эзопа, латинских и греческих ораторов — Демосфена, Цицерона. Особенно популярны были произведения итальянских гуманистов на латинском языке. Почти одновременно стали появляться в переводах разных авторов одни и те же новеллы, романы, трактаты. Этот факт следует расценивать как совпадение интенций различных авторов, но в то же время это свидетельство известной шаблонности эстетического вкуса. Литература этого типа была рассчитана на использование в определенных кругах. Ее читали в княжеских дворах, в домах патрициев и богатых торговцев, частично в университетах и в кругах тогдашней интеллигенции. Существовали и исключения: роман об Александре — разновидность приключенческого романа на античной основе, эзоповские басни в переводе Г. Штейнхевеля, «Книжечка о браке», фон Эйба и некоторые другие произведения могли преодолевать социальные барьеры. Но действительно массовым характером обладала, как и в предыдущие годы, религиозная и религиозно-дидактическая литература разных жанров: перикопы, пленарии, жития святых и христианские легенды. Их читали не только в купеческих семьях, но и в семьях ремесленников, низшего клероса и в женских монастырях. Такая литература отличалась не только особой тематикой, но и своей собственной языковой традицией, особой стилистической системой, которая не совпадала с языком гуманистов. Однако в составе формирующейся новой системы стилей немецкого литературного языка она занимает лишь периферийное положение. В определенных социальных кругах данная традиция воспринималась как отражение языковой культуры низших слоев общества.

6

На основе анализа языкового материала, отражающего различные литературные жанры, можно выделить с некоторыми оговорками две самостоятельные, противопоставленные друг другу стилистические системы: а) высокий стиль книжного языка (ср. прозу гуманистов и их последователей) и б) средний нейтральный стиль повествовательной и религиозно-дидактической литературы. Сниженный стиль, который представлен, например, в «Тиле Уленшпигеле», здесь во внимание не принимается.

Наиболее определенно маркированы признаки высокого стиля. Он характеризовался: 1) лексикой, для которой характерны не только множество заимствований, но и неологизмы; 2) особыми формами организации синтаксических комплексов; 3) совокупностью риторических приемов: типами эпитетов, метафор, использованием синонимов, членением текста, структурой абзаца. Наиболее типичным и ярким представителем этой стилистической системы был Н. фон Виле. Прежде всего выделяется значительная группа латинизмов, таких, как *rumor*, *memory*, *translatz*, *oratz*, *oration*, *declinatz*, *constant*, *opinion*, *disputantz* и др. Синтаксис также значительно латинизирован: порядок слов, многозвенные синтаксические конструкции, скопление причастных групп, использование Dativus absolutus, Accusativus cum infinitivo. Нередко это приводило к тому, что тексты становились непонятными для людей, не знавших латынь. Этим объяснялась недостаточная популярность переводов фон Виле даже среди тех читателей, для которых они были предназначены.

Характерной для языка фон Виле была совокупность риторических средств, типичных для высокого стиля. Как известно, синонимические

словосочетания, парные и трехчленные, относятся к наиболее маркированным приемам латинизированной прозы. В языке фон Виле они встречаются особенно часто: *siech und kranke*; *kuntpar und offen*; *schnell und behend*; *achten und schetzen*; *kestigen und peinigen*; *lustig und kurtzwilig*; *instituwieren, leren und underwysen*; *fürdern, raten und helfen*; *gut, gerecht und wolgeziert latin* и т. д. Согласно риторическим канонам, компоненты таких рядов должны были способствовать развитию мысли, усилению содержащихся в них образов. Фон Эйб писал по этому поводу: «oratz, red oder schrifte» всегда должны «wachsen und niemer abnehmen». Это указание, однако, отнюдь не всегда реализовалось, и нередко второй или третий синоним не давал ничего нового, как это часто встречается у фон Виле. Против злоупотребления абсолютными синонимами возражал уже Ридерер, автор немецкой риторики. С использованием синонимических рядов соотнесен параллелизм синтаксических построений, например: *du waist das dieser siechtum nicht den allerheiligsten david, nicht den aller wysesten salmon noch den allersterksten samson hat lassen stehen hinkommen.*

В рамках высокого стиля существовал также другой, смягченный вариант немецкой прозы. Наиболее ярким образцом этого варианта являются некоторые прозаические тексты фон Эйба, который широко использовал такие риторические средства, как синонимы, синтаксический параллелизм, скопление слов, однако избегал любого подражания латинскому синтаксису. Примером может служить отрывок из книги «Книжечка о браке»: *Nun haben wir vernommen, was sorg und emsigkeit, was angst vnd not, was forcht und erschrecken, was trawrigkeit vnnd schmertzen den menschen — sie sein reich oder arm, herr oder knecht, eelich oder keůsch, frum oder pose — zerfallen mag... O mensch! gedenck, wo sein hinkumen, die in hohen wirden vnd eren gelebt vnd gerůste pferd, vil reichtumb, vil kleinat vnd gezierde gehabt haben? Wo sein hinkumen manich dein gutt freůnd, trőster und gőnner? Wo die frőlichkeit mit hůbschen frawen, mit essen vnd mit trinken? wo ist hinkumen Julius der keiser? Wo Pompeius? Wo Cato? ... sie sein alle hingeweet, als die pletter des pawmes von eim schnellen vindt, vnd ist der pawm plos bliben. ...Sie sein gewesen ein schat vnd sein vergangen, ein rauche vnd sein zertriben, plattern des wassers vnd sein zerprochen, spinnenwebe vnd sein zerrissen vnd sein gewest fleysch vnd der geyst ist in ine nit bliben: wann ein yetzlich fleysch ist als ein heů, vnd die ere des menschen als ein plume der heůes.*

При несколько упрощенном толковании в этом тексте все же можно обнаружить своеобразное соединение характерной для гуманистической прозы риторики с синтаксическими закономерностями, которые типичны для иной стилистической модели, представленной в традиции среднего и сниженного стиля. Для творческой позиции фон Эйба такого рода комбинация не была чем-то случайным. Для него чуждым был не только стиль фон Виле, он часто обращался как, впрочем, и Г. Штейнхевель, к таким стилистическим средствам, которые широко использовались за рамками гуманистической прозы. В этом отношении интересным представляется язык повествовательных текстов, которые включены в «Книжечку о браке»: *Do was in derselben stat ein edele iunckfraw, Marina genannt, hůbsch vnd wolgestalt, die Aronus zu einem eeweyb begert zu haben vnd offenbaret also sein willen den eltern vnd freůnden der iunckfrawen. derselben willen erlangt er vnd ward im die iunckfraw Marina geben zu der ee, vnd die hochzeit mit großen freuden, frolocken vnd geziere gemacht vnd volbracht. Als nun Aronus ein iare bei Marina, seiner haußfrawen, in frőlichkeit und wollust was gewest, ward ime verdrisßen in můssigkeit doheimen.*

Здесь отсутствует набор тех стилистических приемов, которые характе-

ризовали первый отрывок прозы фон Эйба как одну из разновидностей высокого стиля. Разные стилистические приемы оказались соотнесенными с жанровыми различиями текстов.

Довольно бедный, простой, лишенный выразительности язык новелл совершенно отчетливо примыкает к традиции повествовательных жанров, которые отражали не очень изящную и изысканную культуру немецкой городской письменности и предназначались для читателей из других, чем перечисленные выше, слоев городского населения. Показателен в в этом отношении стиль языка «Золотой легенды», изданный Кобергером в 1488 г. В качестве образца приводится отрывок из жития святой Клары: *In der Stat Assis da saß ein reycher edler ritter, d'hett ein selige edle frawen, dy hieß Terculana, dy ward schwanger des kindes sant Claren. Vñ da sy dz kind schier geberē solt, da gieg sy in ein kirchen für ein crucifix vnnd bat gott mit ernst das er ir gänediclichen von irr geburt hulff. Da sprach einstimm zu ir. fraw du solt ein heilsames liecht geberen, das wird dye welt erluchten, da ward dy fraw gar fro. vnd da das kind geboren ward, da hieß sie es Clara heyssen... Da das kind gewuchs, da lebt es in vil tugenden. Vnd gab vil durch got vnd brach sich selber ab vnd betet gern vnd trug cleyder an, die warē auswēdig wol geziret vñ trug zu nechst an dem leyb ein herin hemd.*

Текст содержит нейтральную лексику и синтаксически чрезвычайно прост — без многозвенных конструкций и латинских оборотов, преобладает паратаксис. Используемые синтаксические комплексы прозрачны и по объему невелики, при этом порядок слов следует правилам немецкого языка. В тексте отсутствуют элементы «цветистой речи» (geblümte Rede), нет в нем и тех риторических средств, которые характерны для высокого стиля прозы фон Виле и языка текстов Эйба. Тем самым представляется возможным говорить об особой стилистической модели, для которой типично отсутствие черт высокого стиля — рафинированности, изысканности, цветистости, характерных для языка гуманистов.

Обе стилистические модели литературного языка формировались на фоне ведущих течений немецкой культуры последней трети XV в. В известной степени они были социально маркированы: это проявлялось в их ориентации на различные круги читателей. Стилистические разновидности не представляют собой все же закрытые системы, так как они функционируют в рамках одного и того же языка. Отдельные стилистические средства, которые находились в контрасте с общей стилистической окраской произведения, включались авторами в текст как символы определенных семантических интенций.

Кратко очерченная стилистическая схема определяла во многом стилистическое членение немецкого литературного языка эпохи Реформации и Крестьянской войны. Именно здесь следует искать источники той сложной языковой ситуации, в которой затем решающую роль сыграла деятельность М. Лютера. Именно в XV в. прослеживаются первые проявления будущих устремлений к единому нормированному языку немецкой нации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Типы наддиалектных форм языка / Под. ред. Гухман М. М. М., 1981.
2. Функциональная стратификация языка / Под ред. Гухман М. М. М., 1985.
3. *Besch W.* Dialekt, Schreibdialekt, Schriftsprache, Standartsprache. Exemplarische Skizze ihrer historischen Ausprägung im Deutschen // Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung / Hrsg. von Besch W., Knoop U., Putschke W., Wiegand H. E. Bd 1. 2-ter Halbband. B.; N. Y., 1983.
4. *Steger H.* Was ist eigentlich Literatursprache? // Freiburger Universitätsblätter. 1982. Hf. 76.

5. *Guchmann M. M.* Deutsche Sprachgeschichte und Literaturgeschichte // Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache. B.; N. Y., 1984.
6. *Гухман М. М., Семенюк Н. Н., Бабенко Н. С.* История немецкого литературного языка XVI—XVIII вв. М., 1984.
7. *Schützeichel R.* Die Grundlagen des wesentlichen Mitteldeutschen. Tübingen, 1961.
8. *Betz W.* Der Einfluss des Lateinischen auf den althochdeutschen Wortschatz // Der Abrogans. Heidelberg, 1936.
9. *Betz W.* Scholastik, Mystik und deutsche Sprachgeschichte // Festschrift für H. Meier. München, 1971.
10. *Betz W.* Lehnwörter und Lehnprägungen im Vor- und Frühdeutschen // Deutsche Wortgeschichte. 3. Aufl., Bd I. / Hrsg. von Maurer F. und Ripp H. B.; N. Y., 1974.
11. *Sonderegger S.* Althochdeutsch // Kurzer Grundriss der germanischen Philologie bis 1500. B., 1970.
12. *Besch W.* Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jahrhundert. München, 1967.
13. *Ising G.* Zur Wortgeographie spätmittelalterlicher Schriftdialekte. Teil I: / Untersuchungen // Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur. Reihe A. Beiträge zur Sprachwissenschaft. B., 1968.
14. *Guchmann M. M.* Wechselbeziehungen zwischen Dialektgebieten und die Entwicklung überdialektaler Sprachformen in der vornationalen Periode (am Beispiel germanischer Sprachen) // Existenzformen germanischer Sprachen — soziale Basis und typologische Kennzeichen. B., 1974.

Перевела в немецкого *Бабенко Н. С.*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1991

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Language typology. 1987. Systematic balance in language. Papers from linguistic typology symposium, Berkeley, 1—3 December 1987/Ed. by Lehmann W. P. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1990. 212 p.

В рецензируемой книге представлены доклады, прочитанные на совместной советско-американской конференции в Беркли (США) в 1987 г. Эта конференция явилась продолжением работы, начатой в 1985 г. на конференции в Москве, где внимание было сосредоточено на определении основных понятий и категорий типологии языка (в частности — языкового типа и типологического сдвига), на соизмеримости терминов и использовании метаязыка описания, на привлечении данных ареальной лингвистики для типологии и на возможностях последней для решения проблем реконструкции различных языковых семей [1].

Материалы конференции в Беркли вошли в рецензируемую книгу, которую ее издатели посвятили В. Н. Ярцевой, много сделавшей для организации совместной деятельности советских и американских лингвистов. Издатели отмечают, что подзаголовок книги «Системная сбалансированность в языке» был взят из статьи В. Н. Ярцевой, поскольку он отражает, как пишет В. Леман, «ее взгляды в исследуемой области и цели данных конференций» (с. V).

Действительно, даже беглый просмотр статей показывает примерную организацию всего материала с позиций системного представления языка: сначала идут статьи, в которых рассматриваются данные фонологии, затем — морфологии и синтаксиса, но не в отрыве их друг от друга, а с преимущественным вниманием то к одному, то к другому аспекту в их тесном взаимодействии. Если в начале 80-х годов отмечалось недостаточно последовательное внедрение в современные типологические штудии принципов системного и исторического подходов [2, с. 5], то в рецензируемом сборнике представлено широкое исследование именно этих аспектов. Хотелось бы также отметить, что материал сборника не подтверждает высказанное в 1963 г. В. А. Звегинцевым предположение о возможности применения методов порождающей (трансформационной) грамматики в типологических работах. Возвращение от построения идеальных языковых конструктов к традиционному эмпирическому подходу особо оговаривает В. Леман (с. 171), а контраст с модным направлением Н. Хомского он подчеркивал еще в [1, с. 2]. Вместе с тем думается, что идеи порождающей грамматики не могли не сыграть роли катализатора при широком включении синтаксического компонента в типологические исследования и при отходе последних от чисто структурных морфологических схем. При этом нельзя не упомянуть животворную силу идей И. И. Мещанинова и его школы, способствовавших возникновению контенсивной типологии.

Сборник открывается статьей В. Н. Ярцевой «Общие и частные тенденции исторических изменений языкового типа» (с. 1—16). Переструктурирование системы языка объясняется автором как следствие независимости языковых явлений и преобразования количественных изменений некоторых свойств языковых элементов в качественно новые образования, «...поскольку цель языка как средства общения предполагает его системную сбалансированность» (с. 1). Отмечено, что функциональный подход обогатил представление о системном характере языка тем, что вскрыл семантические отношения между аспектами (уровнями) языка. В. Н. Ярцева уделяет особое внимание проблеме вариативности языка, зависящей от его различных территориальных и социальных характеристик; в этой связи рассматриваются различные проявления вариативности на разных уровнях языка, что показано на примерах из истории английского языка.

В статье ставятся три главных вопроса: 1) возможно ли коренное изменение языкового типа в истории одного языка или группы родственных языков; (2) на каком из уровней — фонетическом, морфологическом, синтаксическом или лек-

сическом — начинаются типологические изменения; (3) как при изменениях отличить типологически «новый язык» от «нового состояния того же языка». Ответы связываются с определением языкового типа как формы организации понятийного содержания в языке при учете формальных и семантических вариаций на каждом уровне. Статья заканчивается показом того, что для диахронической типологии важен общий «отпечаток» всей организации структуры языка на его исторических изменениях.

Статьи рецензируемого сборника в той или иной мере дают разные варианты ответов на вопросы, поставленные В. Н. Ярцевой, а также поднимают другие проблемы. Значительная часть статей касается реконструкции прошлых состояний языка на примерах разных языковых семей, и в частности индоевропейской.

К фонологически ориентированным относится статья Р. Аустерлица «Типология на службе реконструкции: сахалинский нивхский» (с. 17—33). Привлекая ареальные данные и тщательно обследуя нивхскую фонотактику, отображенную в схемах и таблицах, автор решает ряд проблем. Так, например, вопрос об исконности начальных групп согласных и возникновения их в результате синкопы или тоновых сдвигов решается с опорой на то, что в языках этого региона (за исключением среднекорейского, где группы согласных возникли как раз на основе синкопы) нет начальных групп согласных.

Проблема соответствия шумных смычных (*p*, *t*, *k*) и звонких (lenis — *b*, *d*, *g*) возникает в связи с их использованием в разных семантических группах слов и морфологических классах. Автор склоняется к мнению о наличии лишь одной серии (lenis) в протонивхском, поскольку в других древнейших языках этого региона не засвидетельствованы языки с двумя сериями согласных — звонкими/глухими и аспирированными/неаспирированными. Отсюда делается вывод, что на более ранних этапах развития нивхского слово было длиннее, чем в современном нивхском, что подтверждается этимологией некоторых слов. Несмотря на убедительный анализ для нивхского языка, все же в общетипологическом плане бóльшая древность lenis вызывает сомнения, так как именно эта серия занимает «шаткое» положение в общей языковой системе.

С общетипологической точки зрения небезынтересны наблюдения и выводы об *s*, которое выступает как фрикативный альтернант аспирированного глухого *c* и по всем данным древнее последнего. Следовательно, и *z* древнее *c*. В связи с этим для протоязыка восстанавливается пара **-s* и **-z*. С другой стороны, *s* могло дать рефлекс в виде начального *h*, что находит типологические параллели с и.-е. языками. Автор, однако, показывает, что возникновение $s < \check{s}$ достаточно сомнительно, так как системы с *š*, но без *s* крайне редки и в данном регионе их различие весьма незначительно.

Интересны также наблюдения над постоянством связи фонетического облика слова с его морфологическим классом: в области вокализма указывается на тот факт, что *-i-* используется в личных местоимениях, а в области консонантизма — губные и палатальные характерны для личных местоимений (в прочих разрядах местоимений представлены дентальные и некоторые другие согласные).

В заключение формулируется общий вывод, что «несмотря на гипотетичность протоязыков, их следует рассматривать в предполагаемом географическом (и, следовательно, ориентированном на человека) контексте» (с. 33). В ряде последующих статей сборника можно найти реализацию сходных мыслей и доказательств.

Статья А. Тимберлейка «Типология и фонологическая история» (с. 35—56), основанная на индоевропейском материале, начинается с обоснования принципиального различия между типологическими утверждениями о возможных системах и о возможных изменениях. Этот тезис демонстрируется на нескольких известных примерах, своеобразно решаемых автором.

Первый пример обращен к проблеме хронологической последовательности монофтонгизации и.-е. дифтонгов в праславянском (общеславянском, по терминологии автора) в соотношении с велярными палатализациями. По известному положению Р. Якобсона, между первой и второй велярными палатализациями происходила метатеза дифтонгов и лишь после второй и третьей они монофтонгизировались. Однако такой сложный путь вызвал сомнения автора. В связи с этим он привлекает типологическую параллель с общебалтийским, где гласные возникали непосредственно из дифтонгов. Тимберлейк отстаивает идею монофтонгизации после первой велярной палатализации, за которой идут две последующие палатализации и изменения завершаются сдвигом гласных. Такой ход представляется более убедительным, так как он, во-первых, имеет типологическую параллель, причем эта параллель дана на ареально близком языковом материале, не говоря уже о том, что выдержан и принцип простоты теории.

Второй пример Тимберлейка дает бóльший типологический разброс, так как в нем сопоставляются факты старофранцузского языка с языком квакиутль.

В индоевропеистике известны различия в отражении серий велярных в языках кентум и сатэм. Возникает вопрос о количестве этих серий — две (с лабиализацией или без) или три. В старофранцузском языке при наличии лабиовелярных и чистых велярных палатализовались лишь последние независимо от окружения (исключение составляет позиция перед огубленными гласными заднего ряда и сонорными), что аналогично положению в языке кваикутль. Автор делает вывод, что это говорит в пользу реконструкции двух серий велярных в и.-е. праязыке, т. е. сатэмная ситуация выводится из кентумной как результат палатализации нелабиализованных велярных и делабиализации исконно лабиальных велярных. Иными словами, это решение идет вразрез с достаточно широко принимаемой теорией Гамкрелидзе — Иванова, а также с усвоенным «со школьной скамьи» положением о параллельном развитии языков кентум и сатэм в двух разных ареалах и.-е. диалектов. Однако в этом отношении статья оставляет больше вопросов, чем дает ответов.

Далее автор сопоставляет данные языка такелма с фактами германских языков, в частности с известным законом Вернера, который определяет специфику германских языков среди и.-е. языков. Проблема состоит в уточнении времени действия закона Вернера: проявляется ли он в исконных смычных индоевропейского или в уже спирантизованных единицах. В языке такелма система смычных аналогична исконной и.-е. системе, а перенос ударения на предшествующий слог действует равносильно закону Вернера, но непосредственно на смычные. Следовательно, такое же явление могло иметь место в тех и.-е. диалектах, которые впоследствии оформились в германские языки, причем главным фактором было также ударение.

Наконец, Тимберлейк обращается к жемайтскому диалекту литовского языка и показывает, что развитие его акцентной системы не аналогично изменению, подсказанному известным законом Соссюра. Точнее — направленность изменения, по мнению автора, неоспорима, но механизм вызывает сомнения, так как пока не выявлены те окончания, на которые переходило ударение; нет и типологических параллелей. Уместно заметить, что Соссюр весьма интересовался именно жемайтским диалектом, и, если бы он располагал более обширным материалом, то, возможно, сам бы уточнил свой закон [3].

В заключение А. Тимберлейк пишет, что «типологически наиболее непреодолимыми являются параллели для изменений, а не для синхронных систем» (с. 55). По прочтении статьи складывается мнение, что, возможно, лучше не пересматривать старые истины, а сопоставлять целостную картину хотя бы какого-либо фрагмента фонологической истории той или иной семьи или подсемьи языков с соответствующим фрагментом истории другой семьи.

Третья статья этого цикла — статья Т. В. Гамкрелидзе «Диахроническая типология и реконструкция: архаизм германских и армянского языков в свете глоттальной теории» (с. 57—65). Автор справедливо возражает против так называемой «типологической реконструкции», отличной от сравнительно-исторической, так как для последней типология выступает в виде критерия верификации ее результатов и в синхронии, и в диахронии, хотя, разумеется, не во всех случаях. Например, известный сдвиг согласных в названных языках (b, d, g, $> p$, t, k) говорит лишь о соотношении соответствующих единиц, хотя исторически это явление и не засвидетельствовано (с. 59). Глоттальная же теория, утверждает автор, приводит и.-е. консонантизм в соответствие с данными как синхронической, так и диахронической типологии и ставит армянский и германский консонантизм ближе к протоиндоевропейскому (с тремя сериями смычных). Особенно близок к нему доклассический армянский, сохранивший незвонкий характер эктивных смычных I серии и придыхательные фонемы II и III серий, что подтверждает глоттальную теорию. Последняя дает убедительное объяснение также и сохранению смычных в сочетаниях после s, поскольку, например, глухой смычный и соответствующий фрикативный рассматриваются как аллофоны одной протофонемы. Автор указывает, что тезис об архаичном характере древнего консонантизма в анализируемых языках «является выводом из глоттальной теории, а не ее предпосылкой» (с. 64).

В статье А. Хэррис «Типология выравнивания и диахроническое изменение» (с. 67—90) на материале различных языков — эргативных, активных и аккузативных (с особым вниманием к последним) — исследуется выравнивание (alignment) надежных показателей и формулируется универсальный принцип, названный комплементарным: «В грамматических структурах языка L на временном отрезке t_i представлены как имена N_x — носители грамматического отношения R_j, которое кодируется маркером M, так и имена N_y — носители грамматического отношения B_j, которое не кодируется маркером M; если на временном отрезке $t_i + I$ в L имена N_x и N_y маркируются

маркером M, то на временном отрезке t_i отношения R_j и R_k комплементарны к N_y» (с. 71). Грамматическими именуются отношения между компонентами предложения (подлежащее — дополнение, дополнения — прямое и косвенное и т. п.), выраженные падежными маркерами M, при этом R_j — это отношения предшествующего состояния, а R_k — отношения реципиента в их хронологической последовательности. Комплементарность определяется как «сильная гипотеза», если эти два отношения являются единственной парой в пределах большего отношения, и как «слабая гипотеза», если эта пара выступает в ряду нескольких таких отношений. R_j и R_k комплементарны при трех условиях: (1) $R_j = R_k$. Это условие называется расширением: при нем показатель падежа (согласование) на более позднем этапе приписывается большему числу грамматических отношений, например, относительно простая аккузативная система древнеиранского развилась в памирских языках в сложную систему использования падежных маркеров в различных моделях с неодинаковыми глагольными категориями; (2) Второе условие называется включением: при нем R_j и R_k вместе составляют как бы высшее отношение, например, дополнение включает прямое и косвенное дополнения, абсолютив включает прямое дополнение и подлежащее при непереходном глаголе (примеры даны из кавказских языков); (3) Третьим условием является возможность имен N_y выступать в отношениях R_j и R_k одновременно, но на разных синтаксических уровнях, при этом важно, какое именно отношение кодируется маркером M. В латыни, например, подлежащее маркируется номинативом, но он же может маркировать прямое дополнение в пассивных конструкциях; аналогичные примеры даны из картвельских языков. Все положения демонстрируются на схемах.

Остановившись на псевдопроблеме частичного реципиента и на так называемой гипотезе неаккузатива (unaccusative hypothesis) в финском языке, автор делает общее заключение: комплементарный принцип является эксплицитным и строгим. Он утверждает действие аналогии по отношению к процессам линеаризации (выравнивания). Думается, что попытка строгих обобщений на большом корпусе языков и на разнообразных явлениях заслуживает внимания, хотя традиционалиста может смутить замена метаязыка описания: целесообразна ли она или это — дань современности.

Тема падежной функции в историческом аспекте представлена в статье Г. А. Климова «Об источнике генитива в эргативных языках» (с. 91—94). Высказав поддержку идеи Е. Куриловича и Э. Бенвениста о типологической корреляции генитива с номинативной парадигмой и рассмотрения его как уровня морфологической транспозиции между номинативом и аккузативом, автор отмечает, что в языках активного строя генитив отсутствует, а в эргативных встречается лишь в тех языках, где есть номинатив, как, например, в баскском и нахско-дагестанских. В последних можно определить субъектную и объектную функции генитива (ГС и ГО). Функция генитива посессивности (ГП) наличествует лишь при двух главных функциях (ГС и ГО), а ГО имеет место лишь при наличии ГС (исключения единичны). Далее перечисляются ограничения на употребление ГС (например, при использовании с именами одушевленными и неодушевленными и при функционировании ГП, параллельно с которым в функции атрибута может употребляться абсолютив). Все это позволяет сделать выводы, подтверждающие сравнительно-исторические заключения о позднем формировании генитива в этих языках. Однако четкой картины распределения маркеров генитива и других падежей нет, хотя выделяются, с одной стороны, лезгинские, а с другой, нахско-дагестанские языки. Сходство маркеров генитива с окончаниями других падежей и распространение маркеров генитива на падежи, предшествовавшие ему, позволяет обратить внимание на то, что эти маркеры присоединялись к субъектным и эргативным формам языков, тяготевшим к номинализации (например, в лезгинских языках). Все эти сведения безусловно важны для выяснения сущности грамматики падежей в ее соотношении с типом языка, особенно, когда речь идет о генитиве. Как пишет Ю. С. Степанов, «в настоящее время понятие принадлежности „генитивности“... составляет один из центральных фрагментов философской и логико-лингвистической проблематики языка» [4, с. 41].

В любопытной статье Дж. Николз «Некоторые предварительные условия установления типичных черт языков стативо-активного типа по отношению к индоевропейскому» (с. 95—113) представлена сходная тема. Особо отметим, что автор широко пользовался статистической методикой (частотность определялась по методу хи-квадрат), результаты которой наглядно представлены в десяти таблицах (отдельные языковые черты) и в сводной таблице (определение языкового типа на материале языковых семей, групп и отдельных языков Америки и Евразии с глубиной данных до 4000 лет). Своеобразие результатов заставляет подробнее

остановиться на этой статье, чтобы типологи смогли воспользоваться ее данными.

За основу принимается классификация Г. А. Климова [2] и рассматривается линеаризация главным образом в предложении (clause alignment) по следующим диагностическим чертам: отчуждаемая/неотчуждаемая принадлежность, инклюзивность/эксклюзивность у местоимений, классифицирующие глаголы, грамматический род у имен. Включены также данные по типам именных сочетаний (NP) и по типам маркирования в предложении, а общий подсчет составлялся отдельно по континентам: Северная Америка и Северная Евразия.

Для сравнения взяты тип относительной эффективности линеаризации в предложении (по Климову) и тип морфологического маркирования (по данным автора), которые рассматриваются в качестве факторов, предсказывающих (predictors) эти черты. При этом тип линеаризации определяется как аккузативный, эргативный, стативо-активный и иерархический (последний тип не дает четких критериев определения, есть также нечеткие случаи); морфологический тип определяется по месту маркера синтаксических отношений у главного или зависимого члена предложения (также в случае расщепления или двойной маркировки в иерархическом типе).

Обращает на себя внимание то, что значения частотности во многих случаях отличаются от ожидаемых значений. Автор отмечает, что существует корреляция между маркированием именных сочетаний (NP) и типом линеаризации в предложении: языки, где маркируется главный член, относятся к стативо-активному типу: в них есть различие по отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности. Однако языки с линеаризацией или с маркированием не имеют значений корреляции с оппозицией инклюзивности/эксклюзивности: ни тот, ни другой тип не имеют силы предсказывать наличие рода. Любопытно сравнение значений морфологических корреляций по континентам: маркировка главного члена выступает со значительно превосходящими, чем ожидалось, частотами в Северной Америке (23.50 против 20.55 для словосочетаний и 21.50 против 17.66 для предложений); частотность эргативного типа существенно выше (8.00 против 4.00) в Северной Евразии и ниже в Северной Америке (4.00 против 8.00); частотность стативо-активного типа ниже в Северной Евразии (2.00 против 4.33) и выше в Северной Америке (11.00 против 8.67). Стативо-активный тип почти полностью ограничен языками с маркировкой главного члена, тогда как последний морфотип встречается со всеми типами линеаризации в предложении, и т. п.

Из указанных диагностических черт выражение отчуждаемости/неотчуждаемости предсказывается непосредственно типом морфологии и косвенно типом синтаксиса. Инклюзивность/эксклюзивность же не предсказывается ни морфологией, ни синтаксисом; род коррелирует с типом выравнивания, а с морфологией лишь при определенных условиях. Автор подтверждает вывод Г. А. Климова о корреляции некоторых черт со стативо-активным типом, но уточняет, что эти корреляции связаны скорее со структурными особенностями морфологической маркировки, чем с контенсивной базой принципов.

На основе всего анализа делается вывод, что реконструкция стативно-активного строя для протоиндоевропейского языка (по Гамкрелидзе — Иванову) должна быть пересмотрена, так как морфология его реконструируется как явно маркирующая зависимые члены предложения, что противоречит стативо-активному типу протоязыка. Выражение отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности, встречающееся только в анатолийском, может быть вторичным (это формальная, а не категориальная оппозиция, т. е. она не применима к протоязыку); оппозиция же инклюзив/эксклюзив не диагностична по рассмотренным параметрам.

Интересен также вывод о том, что истоки языков с маркировкой зависимых членов и выражением рода следует искать на Ближнем Востоке, а поскольку этим же характеризуется и протоиндоевропейский, то подтверждаются выводы Гамкрелидзе — Иванова о прародине индоевропейцев. Оба вывода оказываются, таким образом, разнонаправленными, и встает вопрос о соотносимости ареальных и статистических данных.

Не приходится говорить и о том, что любой статистический метод зависим от вводимой программы и просчет по другим параметрам мог бы дать иные данные. Вместе с этим еще раз подчеркнем, что результаты, полученные Дж. Николз, весьма примечательны, как и ее соображения о рекурсивных отношениях формы и содержания, которые были высказаны на предыдущей конференции [1].

В статье В. А. Виноградова «Историческая морфемика и типология порядка единиц» (с. 115—122) рассматривается проблема грамматикализации на материале бенуэ-конголезских языков. В этих агглютинативных языках действует принцип приоритетности расположения морфем в пре- и постпозиции к корневой морфеме. При этом наблюдается зеркальное расположение докорневых морфем (Acc + + Dat + R) по отношению к расположе-

нию лексем в предложении (V + Dat + + Acc). Было высказано предположение (Т. Гивон), что морфемный тип отражает более древний тип синтаксиса (SOV) по сравнению с типом SVO. В статье приводится дополнительная аргументация в пользу другой точки зрения (С. Стил): не всякие, а лишь некоторые морфемы отражают прежнюю позицию синтаксически независимых элементов. Доказывается, что SOV-тип может быть реконструирован без обращения к морфемике и даже стать ключом к ней. При этом учитываются: принцип второй позиции, семантическая иерархия дополнений, возможности расположения топика и второго топика (afterthought, или посттемы), рематических компонентов и интонационного рисунка.

На примере диалектов бамилеке (язык бане) показана типологическая цепочка развития морфоэлементов и демонстрируется переход от лексически и синтаксически свободных единиц к синтаксически определяемым, затем к агглютинативным и, наконец, к связанным морфемам при строгом расположении по отношению к корню (дополнение, например, выраженное местоимением, не может располагаться до корня), т. е. делается шаг в сторону SVO-порядка.

Автор представляет типологическую шкалу грамматикализации из пяти ступеней: 1) слово (∅), 2) вспомогательное слово (коллокация), 3) логоморф (конкатенация), 4) морфема (агглютинация), 5) гиперморфема (фузия) (с. 119). В этой шкале выделена особая единица — л о г о м о р ф, которую трудно определить, слово это или морфема, ибо она функционирует то в одном, то в другом качестве. Можно заметить, что подобное положение наблюдается и в других языках. М. Д. Степанова называла аналогичное явление в немецком языке полусуффиксацией: например, полусуффикс [man] выступает то как суффикс, то как отдельное слово. Однако идея логоморфа дает более общую картину явления, которое справедливо может именоваться логоморфизацией. Нельзя не согласиться и с тем, что логоморфизм является промежуточной ступенью между изоляцией и агглютинацией, т. е. между синтаксисом и морфологией, причем эти процессы сопровождаются делексикализацией, десинтактизацией, а также десемантизацией и расширением. Добавим, что путь к морфологии через синтаксис оправдывается не только в структурном, но, с нашей точки зрения, и в категориальном плане [5, с. 6].

Заключительный вывод В. А. Виноградова в свете его теории сводится к тому, что языки бане представляют собой предшествующую ступень развития по сравнению с языками банту, если не считать того, что в бамилеке логоморфизм является следствием циклического развития. Хотя в статье В. А. Виноградова рассматривается материал африканских языков, не подлежит сомнению, что разработанная им общая теория логоморфизма будет использована и специалистами по общему языкознанию.

Проблемы реконструкции на широком фоне сопоставления языков представлены в статье Дж. Гринберга «Относительные местоимения и тип порядка слов в протоиндоевропейском языке в контексте евроазиатской гипотезы» (с. 123—138). Гринберг считает, что существует языковой массив, в который входят десять членов: 1) индоевропейские, 2) уральские, 3) юкагирский, 4) алтайские (тюркские, монгольские, тунгусские), 5) айну, 6) корейский, 7) японский, 8) гиляцкий (нивхский), 9) чукотские (чукотско-камчатские) и 10) эскимосско-алеутские языки, таксономия которых на разных уровнях обнаруживает свойства, унаследованные от единого общего предка, отличного от всех прочих [1].

На большом количестве примеров из названных языков автор выясняет вопрос, поднятый еще в эпоху Бругмана: существовали ли в протоиндоевропейском (ПИЕ) относительные местоимения, на роль которых выдвигались корни **kw-*, **je-jo*. Сомнения возникали из-за того, что эта роль, как полагали некоторые, была вторичной, а первичные функции этих элементов связывались с вопросительностью, демонстративностью, анафоричностью, координативностью.

Тщательный анализ приводит автора к выводу, что использование рассматриваемых местоименных единиц связано определенным образом с порядком слов, так как в подавляющем большинстве языков при порядке SOV относительность выражается не этими средствами, а причастиями, суффиксацией глагола и т. п. И лишь в уральских, а точнее в балтофинских языках, при порядке SVO есть относительные местоимения. Отсутствие особых корней для относительных местоимений в и.-е. языках позволяет говорить о том, что они происходят от языка-предка со строгим SOV-порядком. В эпоху, предшествовавшую формированию ПИЕ, этот порядок стал разрушаться и могло иметь место состояние, зафиксированное в чукотских и эскимосско-алеутских языках, где представлены обе возможности: с преимущественным порядком SVO в первых и SOV — во вторых.

[1] В примечании автор подчеркивает, что его гипотеза не противоречит идеям ностратики, а расширяет ареал языков, что и.-е. языки ближе к уральским, чем к семитским.

Выводы автора наглядно суммируются в таблицах.

Не затрагивая сущности евроазиатской гипотезы, поскольку ее идеи требуют особого анализа, заметим, что более древний характер порядка слов SOV, который фиксируется или реконструируется в языках древнейших форм человеческих сообществ, может быть связан с древнейшими формами выражения мысли. Это, кстати, фиксируется и в становлении детской речи, когда, овладевая предметным миром, ребенок строит протопредложение из соположения двух имен существительных как знаков-сигналов обозначаемых ими предметов, первое из которых выполняет роль темы (топика), а второе ремы (работы А. М. Шахнаровича, М. А. К. Хэллидея, Ч. Ли и С. Томсон и многие другие труды). Аналогично этому и порядок SO содержит соположение двух предметных имен с расширением второго рематического компонента за счет присоединения признакового слова V, т. е. возникает первичный порядок SOV. Для подтверждения этих соображений статья Дж. Гринберга поставляет интереснейший материал. Кроме того, его выводы дают основание и для утверждения стативно-активного характера протоиндоевропейского языка.

В весьма информативной статье Н. В. Солнцевой «Диахроническое изменение и типология на примере языков Юго-Восточной Азии» (с. 139—146) показано, что в этих языках можно обнаружить разные этапы развития, которые обусловливались и структурными причинами, и взаимными контактами во время обширных миграций. Основное направление изменений связано со сменой «старой» флективной морфологии на новую — агглютинирующую с одновременным переходом к изолирующему типу.

На примерах из мон-кхмерских языков (от тайского до вьетнамского и лаосского) продемонстрированы процессы превращения старых префиксов, маркировавших исчезнувшие категории, в фонетические части слов с утратой ими грамматического значения. Как следствие этого возобладал моносиллабизм. Новые агглютинировавшиеся маркеры глагола возникали из ставших вспомогательными глаголов, а также из наречий, но не из местоимений. Это приводило к сдвигам в функционировании слов в предложении и к изменениям в синтаксической структуре.

С точки зрения контенсивной типологии языки данного региона на протяжении всей своей истории принадлежат к языкам активного строя. Однако изменения наблюдаются и здесь. В этих языках четко выявляется дихотомия по одушевленности в именах и глаголах на всех уровнях языковой системы: при лексико-грамматических классах используются соответствующие классификаторы. Именно они, по мнению автора, функционируют при семантической координации синтаксических соотношений, т. е. при формировании субъектно-предикатной структуры и т. п. Эти языки имеют инклюзивные и эксклюзивные формы местоимений 1 л. мн. ч. Противопоставление одушевленности/неодушевленности в активных/неактивных глаголах с утратой префиксов преобразовалось в трехчленную систему: переходные — непереходные — стативные/неактивные, появились также диффузные глаголы, используемые при всех этих возможностях. Показаны также способы выражения скрытых категорий.

Порядок слов в исследуемых языках преимущественно SVO, но в неизолирующих языках имеет место и OVS, а в зависимости от выражения одушевленности возможны оба порядка. С этой же категорией связаны и принципы пассивизации, выражение категорий времени и вида и сохранение активного строя или его вторичное развитие. Однако поскольку одушевленность/неодушевленность и активность/неактивность не выявляются в формах слов, эти языки можно считать квазиактивными. По-видимому, характеристика языка как системы с мягкой структурой (по В. Налимову) позволяет говорить, что и типология языков должна иметь мягкую структуру, а сами языки могут рассматриваться в качестве нечетких множеств (по Р. Тому).

Исследователь языков Аляски М. Краусс, представивший на первой конференции их структурно-типологический обзор [1], в рецензируемом сборнике выступил со статьей «Типология и изменения в языках Аляски» (с. 147—156). Рассматриваются две семьи языков: эскимосско-алеутская и на-дене. Эти семьи интересны тем, что при возможности восстановления до глубины в 4000 лет они обнаруживают сохранность типа морфологической структуры, т. е. степени агглютинации и синтеза (фузии) вплоть до полисинтеза.

Интересны выводы автора о реконструкции в атапаскских языках различий не по тону, что характерно, например, для языка эяк, а по глоттальной смычности (constriction). В качестве типологических параллелей приведены армянский и скандинавские языки, но в отношении первого возможно влияние кавказских языков. Говоря о смычности в атапаскских языках, автор подчеркивает высокую стабильность системы — простые, аспираты, глоттализованные, хотя в соседних языках подобная система не представлена. В виде контраста упомянуты и.-е. языки, где именно смычные претерпели значительные изменения. Возникает вопрос: что влияет на изменчивость/ста-

бильность — внутренне присущие свойства или тесные контакты с окружающими типологически разными языками. Указанная серия смычных в языке на-дене характеризуется отсутствием лабиальных и, несомненно, восходит к протоязыку, так как в некоторых современных атапаскских языках есть лабиализованные велярные и др.

Морфология эскимосско-алеутских и на-дене языков известна своим суффиксальным полисинтетизмом, деривативным и флективным, с высокой стабильностью. Развита система указателей, хотя в эскимосском их флексии отличаются от других языков. В на-дене полисинтетизм в основном проявляется в глаголе. Нововведением предстает инкорпорация в префиксальных именных комплексах.

В заключение автор оспаривает идею Э. Сепира о сращении ранее независимых элементов глагольного префиксального комплекса в полисинтетическое единство на основании возможной гибридизации с каким-то неизвестным источником лексикона.

Статья М. Краусса весьма информативна, и, думается, она намечает ответ на поставленный им вопрос о внутренних и внешних стимулах языкового изменения: сопоставление многовековой истории языков Аляски с и.-е. языками весьма примечательно в плане, так сказать, макроистории, а в качестве микроистории можно сослаться на развитие английского языка в его сопоставлении с другими германскими языками, с одной стороны, и с его диалектами, с другой.

В статье П. Хоппера «Принципы грамматизации: к диахронической типологии» (с. 157—176) на примерах из истории английского и некоторых других языков дано описание принципов, названных эвристическими. Эти принципы могут способствовать, по мнению автора, открытию и определению языковых процессов и описанию универсальных тенденций, но они не предсказывают грамматизацию, а действуют ретроспективно. Устанавливаются четыре принципа: (1) а к к у м у л я ц и я — новые, постепенно возникающие в пределах функциональных областей слои сосуществуют и взаимодействуют с сохраняющимися старыми; (2) д и в е р г е н ц и я — лексические формы превращаются в клитики, или аффиксы, но исходная форма сохраняется; (3) с п е ц и а л и з а ц и я — если есть ряд форм, выражающих оттенки значения, то происходит уменьшение числа таких форм, а их значения обобщаются; (4) с о х р а н я е м о с т ь — сохранение грамматикализованной предшествующей лексической формой ее первоначального значения, которое отражается в ограничениях ее грамматического использования. Области дискурсивных функций трактуются вслед за Т. Гивоном: последовательность действий, подразумеваемая информация (background information), прослеживание референции и т. п. При их переводе на уровень морфосинтаксиса открываются грамматические области: «время/вид/модальность», «референция», «транзитивность» и т. п.

Примеры на первый принцип а к к у м у л я ц и и приводятся из области время/вид/модальность, и лишь некоторые трактовки отходят от традиционных воззрений на происхождение форм, как новых — английских, так и общегерманских и общеиндоевропейских. Глагольный аблаут рассматривается как сигнализирующий видовые различия — перфект/имперфект и точечный/длительный вид (*e/o* — презенс/перфект, *e/0* — презенс/аорист), как и лексикализованная *o*-ступень, которая сигнализирует нетранзитивность, совмещаемую с глаголами движения (VI и VII классы сильных глаголов). По вопросу происхождения дентального претерита слабых глаголов автор солидаризируется с В. Леманом, считающим, что это был старый детерминатив корня, передававший видовое перфектное значение и позже ставший выразителем времени. То, что в готском и древненорвежском не зафиксирован отдельный глагол, восходящий к и.-е. **dhe*, подтверждает также принцип (2) — д и в е р г е н ц и ю. Принцип (3) — с п е ц и а л и з а ц и я показан на перифрастическом использовании глаголов *shall*, *will*, *have*, *be* в английском языке и превращении их во вспомогательные элементы. Этот же принцип представлен на примерах аспектуального использования порядка слов в древнеанглийском языке, равнозначного функции совершенного вида в русском языке и сигнализирующего о различии события/несобытия. Наконец, принцип (4) — с о х р а н я е м о с т ь показан на примере глагола *have*, у которого уже в древнеанглийском намечались две функции — транзитивности и развившейся впоследствии нетранзитивности.

Статья П. Хоппера в известной мере дополняет статью В. А. Виноградова, т. к. в ином ракурсе трактует сходные процессы, но по обобщающей силе уступает ей. Можно выразить вместе с этим сожаление, что идеи, высказанные П. Хоппером на предыдущей конференции, не нашли продолжения в плане диахронической типологии. Весьма перспективным представляется предложенное тогда изучение социального обоснования дискурсивных функций при использовании порядка слов VS и SV, которое было предложено в развитие идей Пражского лингвистического кружка [2].

[2] Автор показал, что при обеих возможностях порядок VS соответствует ре-

Последняя статья сборника, как и первая, носит более общий характер, соблюден как бы рамочный принцип презентации материалов конференции. Статья В. Лемана (с. 171—187) названа «Синтаксические реликты» (residues) и начинается с критики менталиама. Автор пишет: «Разочарование в менталистском подходе имеет разные причины и среди них неудача в создании конечных продуктов лингвистической науки — грамматик и словарей» (с. 171).

В. Леман исходит из соссюровской доктрины о языке как системе, которая основывается на отношениях входящих в нее классов и единиц, причем их идентификация проводится по позиции в системе. Анализ языка на основе определения классов и их компонентов представляет цель лингвистической типологии. В пределах классов устанавливаются группировки, которые выступают как норма, инновации и реликты. Признаки последних определяются в пределах регистров и социальных вариаций языка, тогда как инновации чаще всего возникают в повседневном общении.

Автор исходит из мнения о центральной роли синтаксиса и его базовой единицы — предложения, что заслуживает всяческой поддержки. Однако можно заметить, что именно здесь пересекаются интересы традиционалистов и менталистов, и лишь методики анализа, блестяще раскрытые автором на примере амхарского языка, показывают преимущества эмпирического подхода, учитывающего реальную историю языка во времени и пространстве.

Предлагая полагаться на данные истории языков, автор подчеркивает, что «типологические разыскания определяют моделирование» (с. 177), но нельзя пренебрегать и результатами социолингвистических исследований. На примерах сопоставления древнеанглийского с современным английским и раннегреческого с койне доказывается, что по сравнению с расположением именных определительных конструкций AdjN/NAdj интереснее выглядят сравнительные конструкции, так как они не подвержены прагматическим влияниям и свидетельствуют о переходе OV → VO. Аналогичный вывод дает сопоставление места дополнений в раннем санскрите, в хеттском, а также в турецком и японском. Даны и другие примеры, показывающие, что порядок VO был инновацией. Демонстрируются реликты порядка OV в отрицательных конструкциях в английском, турецком, аккадском и французском языках.

Автор высказывает убеждение в том, что обнаружение реликтов не обязательно должно связываться с цельными системами языков, так как весьма показательны могут быть и отдельные участки. Так, избирательная сочетаемость глагольных форм ед. числа в греческом подсказывала (по Й. Шмидту) реликтовую модель без категории множественности, что подтвердилось хеттскими и германскими примерами как реликтами выражения собирательной множественности. Реликтом избирательной сочетаемости являются и сложные существительные типа бахуврихи. Отмечено также согласование по принципу сандхи со структурой языка: варнации сандхи в префигирующих VSO-языках (раннедревнееврейский, древнеирландский) затрагивают смычные и фрикативные в префиксах в соответствии с предшествующими глухими или звонкими, а в OV-языках с превалированием суффиксации — в конечных элементах, что результировалось в наличии структур с открытыми слогами (турецкий, японский).

Знакомство с рецензируемым сборником позволяет сделать некоторые выводы о направленности типологических штудий второй половины 80-х годов. Прежде всего бросается в глаза внимание к проблемам реконструкции на материале разносистемных языков с учетом типологических параллелей не только в целях верификации полученных данных, но и в качестве инструмента открытия.

Далее, можно с уверенностью сказать, что в центр типологических изысканий встал синтаксис, а следовательно, широчайшие проблемы семантики. Вокруг синтаксиса порядка слов — основных компонентов предложения сгруппировались проблемы других аспектов системы языка и не только морфологии, что было бы естественно, но и фонологии. Изменилось и отношение синтаксиса с морфологией: если раньше она служила ключом к синтаксису, то теперь наметился обратный путь, базирующийся на типологии. Да и сама проблематика синтаксиса обогатилась за счет включения функционально-прагматической сферы тема-рематических отношений. В ряде статей даны предложения обобщающих принципов и новых методик, мы уже не говорим о богатстве раскрытого материала.

Хотя приходится констатировать, что три вопроса, сформулированные В. Н. Ярцевой, остались пока без ответа, нельзя не признать, что открываются дальнейшие широкие перспективы типологических исследований. Более того, почти каждая статья обоих сборников по типо-

---

портажному изложению с продолжающейся темой (топиком), а порядок SV соответствует нарративному описанию, включающему обоснование, а также утверждение, т. е. субъектно-предикатному типу предложения [1].

логии языка (1986 и 1990 гг.) содержит в той или иной степени наметки целых будущих программ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Language typology // Ed. by Lehmann W. P. Amsterdam; Philadelphia, 1986.
2. *Климов Г. А.* Принципы контенсивной типологии. М., 1983.
3. *Соссюр Ф. де.* Заметки по общей лингвистике. М., 1990.
4. *Степанов Ю. С.* Пор-Рояль в европейской культуре // Арно А., Лансло К. Грамматика общая и рациональная. М., 1990.
5. *Слюсарева Н. А.* Проблемы функциональной морфологии современного английского языка. М., 1986.

Слюсарева Н. А.

Сталтмане В. Э. **Ономастическая лексикография.** М.: Наука, 1989, 116 с.

Новая монография В. Э. Сталтмане, известного специалиста в области лексикологии и ономастики, прежде всего в области латышской антропонимии, посвящена критическому разбору словарей имен собственных разных типов. Впервые в отечественной ономастике представлен опыт теоретического анализа ономастических словарей [1].

Для советской ономастики настоящего этапа работа В. Э. Сталтмане особенно важна и своевременна, поскольку в последнее десятилетие накопился значительный фактический материал, требующий осмысления. Автор с полным правом отмечает, что «каким бы ни был исследовательский подход, непременным условием для любой ономастической работы всегда остается наличие фактического материала. Последний же в наиболее удобной и обозримой для научного потребления форме оказывается представленным в виде словарей. Поэтому без преувеличения можно сказать, что лексикографическая инвентаризация имен собственных различных разрядов является основой дальнейшего развития ономастики в целом. При этом нельзя забывать о нормативной функции многих типов современных словарей» (с. 3).

Работа В. Э. Сталтмане построена как исследование из двух глав, обрамленное теоретическим Введением и Заключением. Во Введении (с. 3—10) в сжатой форме описываются теоретические предпосылки ономастической лексикографии. Принципиально важным следует считать утверждение автора о необходимости разработки собственной лексикографической теории для ономастической лексикографии, так как благодаря различию семантики имени собственного и имени нарицательного развивающаяся теория апеллятивной лексикографии не может быть адекватно применена к составлению ономастических словарей. Хотя для В. Э. Сталтмане не столько важен критический анализ словарей разных типов, сколько важны принципы их построения, тем не менее автор дает краткий обзор словарей последних десятилетий, обращая внимание на классификацию филологических словарей, предложенную латышским языковедом Л. Розе [2].

Основную задачу своей работы автор четко формулирует как «выявление специфики ономастических словарей на фоне типологии общих, путем конфронтации наиболее распространенных типов апеллятивных словарей с их аналогами — словарями ономастическими...». Из этого вытекает и более частная и практическая задача: «выявить типологические особенности ономастических словарей, показать, как могут быть построены словари для тех или иных классов и подклассов имен собственных, какие типы словарей для данного подкласса онимов оптимальны, какие невозможны или нецелесообразны» (с. 4). В работе рассмотрена практика лексикографической инвентаризации ономастического материала преимущественно в нашей стране; в меньшей мере привлекаются зарубежные ономастические словари.

С поставленными задачами исследовательница блестяще справляется, при этом ее работу характеризуют такие ценные для научного труда качества, как сжатость, высокая степень информативности и ясная логика изложения. Первая глава (с. 11—68) представляет собой обзор основных типов ономастических словарей, причем понятие «словарь» употребляется в широком смысле: в обзор включены и различного рода прикнижные словарные приложения. Учитываются не только опубликованные, но и находящиеся в печати, разрабатываемые и проектируемые словари, что повышает ценность обзора

[1] Специальную ономастическую терминологию см. в словаре Н. В. Подольской [1].

и позволяет в какой-то степени прогнозировать развитие отечественной ономастической лексикографии.

Имена собственные встречаются иногда и в словарях общего типа, но, как правило, в минимальном объеме. Материал основных классов онимов богато представлен лишь в Этимологическом словаре русского языка М. Фасмера и в некоторых других словарях. Но ввиду специфики проприальной лексики в этимологическом словаре обычного типа происхождение собственных имен не может быть удовлетворительно рассмотрено, так как имя собственное еще более тесно, чем имя нарицательное, связано с жизнью общества и необходимы дополнительные экстралингвистические сведения о денотате. Именно по этой причине многие авторы предпочитают называть свои словари «топонимическими», «антропонимическими» и т. п., отказываясь от названия «этимологический словарь фамилий, ... имен, ... географических названий» и т. п.

Этимология собственных имен — первое, что, как правило, интересует лингвиста, занимающегося онимами, поэтому на первом месте по значимости оказываются историко-этимологические словари. Сопоставляя образцы словарных статей апеллятивов (из Этимологического словаря русского языка М. Фасмера) и словарных статей из этимологических словарей антропонимов разных языков, В. Э. Сталтмане иллюстрирует различия лексикографической «техники» в апеллятивных и ономастических этимологических словарях. При всем разнообразии подачи материала в разных ономастических словарях их всех отличает от этимологического общефилологического словаря то, что «этимология апеллятива стремится к реконструкции максимально древней формы и семантики слова. Этимология же онима, как правило, не имеет такой глубины. Этимолог-ономаст вправе ограничиться только одним или двумя деривационными шагами, а именно нахождением ближайшего апеллятива (или другого онима), лежащего в основе имени собственного. Хотя в принципе возможен и двоякий подход» (с. 24). Существенно также и то, что этимологизация имен нарицательных обычно ограничивается апеллятивным рядом, в то время как для онимов эти параллели однокоренных, или родственных, слов приводятся чаще из онимического ряда. И, наконец, в отличие от апеллятивов ономастическая этимология требует не только выяснения предполагаемой исходной топо- или антропоосновы, но и ответа на вопрос о принципах и мотивах номинации объекта, то есть семантический анализ имен собственных осуществляется не только путем выяснения их этимологий, но и сведéнием их к семантическим типам.

Автор справедливо отмечает, что создание полного этимологического словаря собственных имен сопряжено с большими трудностями (с. 28), поэтому одной из стадий на пути к такому словарю может служить подготовка различного рода словарных материалов. Исторические словари ономастической лексики, просто списки имен, словари, включающие сопоставительный ономастический и апеллятивный материал,—вот неполный перечень таких материалов. В. Э. Сталтмане не без основания сожалеет о почти полном отсутствии словарей, указывающих распределение неофициальных народных форм личных имен по диалектам, в то время как «именно локализация на определенной территории производных форм имен во всем их стилистическом разнообразии имела бы большую ценность для исследования антропонимии народа в целом. Такой аспект репрезентации ономастического материала может дать полезную информацию для изучения антропонимии родственных и неродственных, но контактирующих языков» (с. 31, 32).

Интересен и представляет практическую ценность раздел книги, в котором анализируются нормативные словари. Произношение, написание, склонение собственных имен часто вызывают затруднения не только у обычных носителей языка, но и у специалистов. Проприальная лексика, имеющая отличия от апеллятивной лексики как в семантическом, так и в структурном отношениях, более всего нуждается в нормировании, а создание справочной литературы, в том числе различных словарей,— в этой области первоочередная задача. По мнению В. Э. Сталтмане, наиболее логично было бы включать проприальную лексику в общие нормативные словари (это удобно для переводчиков и других категорий читателей; так, имена собственные в составе фразеологизмов трудно находимы в корпусе словаря без включения их в словник; лишено внутренней логики включение в обычные словари производных типа *днепровский*, *пушкинский* и т. п. без их мотивирующих основ *Днепр*, *Пушкин* и т. п.). Однако ономастический материал перегружает словник общих словарей по причине своего объема; кроме того, он не может быть лексикографирован теми же способами, что и материал нарицательный. Для иллюстрации автор обращается к наиболее распространенным типам нормативных словарей: толково-энциклопедическим, словарям передачи иноязычных собственных имен, словообразовательным, грамматическим, орфографическим и орфоэпическим словарям.

Например, словари по передаче иноязычных имен собственных с одного языка на другой призваны восполнить ту языковую информацию, которую (кроме правописания и ударения) не могут дать энциклопедические словари; сведения о склонении транскрибированных слов, показ вариативных форм, словообразовательных возможностей и многое другое остается за пределами энциклопедических словарей. Примеры, приведенные в книге, свидетельствуют о том, что словари иноязычных имен могут быть построены самым различным образом. Они содержат не только корреляты имени в двух языках, но и значительное количество дополнительной информации: отражение оригинального произношения, этимологические справки, соответствующие имена в других языках, сокращенные формы, сведения о первых носителях имени, встречаемость его в художественной литературе и т. п.

Вторая глава книги «Лексикографирование отдельных разрядов онимов» (с. 69—98) представляется нам чересчур лаконичной: здесь достоинство изложения — сжатость — оборачивается недостатком. Исследовательница обращает особое внимание на те разделы онимов, которые не имеют лексикографической традиции, что важно для специалистов в соответствующих областях. Однако, с нашей точки зрения, в лексикографировании таких разрядов онимов, как антропонимы и топонимы, тоже есть немало проблем и существенных недостатков, которые можно было бы шире осветить с помощью большего количества иллюстративного материала. Ведь тема второй главы не менее, а, может быть, еще более важна для практической работы в области ономастической лексикографии, чем сравнительно полно исследованные автором типы ономастических словарей.

Анализируя словари отдельных разрядов имен, автор дает и практические рекомендации лексикографам. Так, по ее мнению, прежде всего необходимы словари личных имен народов СССР, охватывающие основной корпус имен, правая сторона которых снабжена этимологической справкой и в которой приведены наиболее характерные дериваты-квалитативы. Кроме того, нужны словари передачи национальных имен на русский язык. В дальнейшем следует стремиться к ареальному изучению варьирования личных имен. Примером словаря вариантов русских личных имен может послужить работа П. Т. Поротникова [3], ср. образцы словарных статей из нее:

Абдéй м. — *Авдий*
Аболóн м. — *Аполлон*
Абонáс м. — *Афанасий*
Авдотúя ж. — *Евдокия*
Авдóтья ж. — *Евдокия*
Авдóцця ж. — *Евдокия*

Однако в этом словаре материал ареально не дифференцирован; территориальная же привязка форм значительно увеличила бы его информативность.

В. Э. Сталтмане замечает, что «ономастическая наука остро нуждается в информации о живом отыменном словообразовании (образовании квалитативов, патронимов, андронимов и т. п.). При лексикографировании подобного материала обязательна документированная территориальная привязка фиксируемых форм. Такая подача материала показала бы одновременно и локализацию данных форм на обследуемой территории» (с. 71). Аналогичные практические пожелания высказываются и в отношении словарей фамилий (например, большой интерес может представить словарь юридической смены фамилий), прозвищ и псевдонимов, топонимов (важны словари, специально посвященные смене географических названий, словари-справочники названий внутригородских объектов, региональные словари микротопонимов).

Мало изучены и почти не лексикографированы зоонимы, мифонимы и другие разряды собственных имен. Между тем эти классы онимов представляют существенный интерес для теории ономастики. Так, изучение кличек животных в их отношении к именам нарицательным и другим собственным именам даст некоторый материал и для решения общего вопроса о значении собственного имени и его положении в языке, а также поможет раскрыть определенные закономерности в процессах вторичной номинации, так как в основе многих кличек лежат готовые непереоформленные онимы других классов. Важны зоонимы и для диалектологии и истории языка. Автор считает, что при создании зоонимических словарей обязательно указание на мотивацию кличек.

Вопрос о целесообразности специального лексикографирования мифонимов решается неоднозначно в зависимости от полноты (или фрагментарности) дошедших до нас мифологических материалов, которыми располагает тот или иной этнос. При малом количестве мифологических имен функцию специальных словарей должны выполнять энциклопедические и общеязыковые словари. Автор рекомендует включать мифонимы в вокабулярии исторических и этимологических словарей также и для тех языков, в которых мифонимы сохранились в значительном количестве.

В книге также кратко рассмотрены вопросы лексикографирования имен собственных, употребляемых в художествен-

ной литературе (эта работа уже имеет традицию в отечественной ономастике).

В Заключении (с. 99—102) автор суммирует свои наблюдения над развитием ономастической лексикографии, в частности, прогнозирует дальнейшее лексикографирование отдельных классов собственных имен. В первую очередь, по мнению В. Э. Сталтмане, будут лексикографированы те виды онимов, которые нуждаются в орфологической кодификации. Уже созданы словари сокращенных слов, включающие большое количество эргонимов (названий предприятий, учреждений, обществ, союзов и т. п.). Начались исследования космонимов, названий пароходов, органов периодической печати, генонимов и других разновидностей онимов. Одновременно выявляются и потенциальные источники материалов, составляющих базу для дальнейших исследований.

В целом можно определенно утверждать, что рецензируемая работа обогатила отечественную ономастическую литературу и явилась не только теоретическим осмыслением уже существующих ономастических лексикографических произведений, но и ценным практическим пособием для ономастов, лексикологов и составителей словарей и справочников. Особенно следует отметить тот факт, что красной нитью в исследовании В. Э. Сталтмане проходит мысль о важности фиксации живой народной речи, диалектных особенностей онимов, о важности их территориальной привязки. При анализе ономастических словарей автор в полной мере раскрывает историко-этимологическую и лингвогеографическую значимость собственных имен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Подольская Н. В.* Словарь русской ономастической терминологии. М.: Наука, 1988.
2. *Roze L.* Passaule vārdnīcas skatījumā. Rīgā, 1982.
3. *Поротников П. Т.* Материалы для словаря вариантов русских личных имен // Вопросы ономастики. Вып. 13. Свердловск, 1979.

Агеева Р. А.

Understanding the lexicon. Meaning, sense and world knowledge in lexical semantics / Ed. by Hüllen W. and Schulze R. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1988. 445 p.

Рецензируемое издание является значительным событием в мировой лексикологии и семасиологии: в нем предпринята попытка представить современное состояние науки в области изучения словарного состава языка. Книга включает 33 статьи, в основу которых положены доклады, прочитанные на конференции по проблемам лексической семантики в университете Эссена (ФРГ) 19—21 ноября 1987 г.

Как известно, вопрос о том, какое место в языкознании должна занимать наука о словарном составе языка и о значении входящих в него единиц, был поставлен уже давно. В соответствии с этим авторы коллективной монографии видят свою задачу в том, чтобы охватить и проанализировать основные теории, подходы и принципы, связанные с изучением лексической семантики. Наряду с хорошо известными методами описания значения слова,— такими, как, например, теория словарного поля, структурная семантика, включающая компонентный анализ. Большое место в книге отводится новым направлениям, последовательно развивающим так называемый когнитивный подход.

Когнитивная семантика ставит во главу угла вопрос о том, каким образом те или иные языковые явления связаны с отражаемой ими экстралингвистической реальностью и какова их роль в познании этой реальности. При этом единицы языка рассматриваются не как вполне самостоятельные изолированные сущности, взаимоопределяемые и взаимообусловленные в пределах данной семиологической системы, а как единицы словарного состава языка, обнаруживающие определенный смысл в речи, т. е. в том экстралингвистическом контексте, на фоне которого происходит общение.

Сосредоточивая внимание на изучении понятийных категорий, «ментальных» структур и отношений, которые можно обнаружить, обращаясь непосредственно к умственной деятельности людей, сторонники когнитивной семантики подвергают сомнению казалось бы твердо установившееся различие между семантикой как наукой, изучающей значение языковых единиц (т. е. слов и их эквивалентов), и энциклопедическим знанием (т. е. знанием о тех предметах или объектах, с которыми данные слова соотносятся). Все более обоснованным представляется отказ от принятого во время господства структурной лингвистики резкого проти-

вопоставления лексико-семантического и внеязыкового (экстралингвистического) знания. В результате все новые усилия направляются на то, чтобы описывать «семантические структуры» как производные от понятийных соотношений [1].

Прослеживая пути развития лексической семантики в историческом аспекте, Д. Герэртс проводит параллель между когнитивной семантикой, ведущими представителями которой в США в настоящее время являются Дж. Лакофф и Р. Лангакер, и исторической семантикой доструктуралистического периода (с. 32). Основанием для такого сопоставления служит то, что новые направления — когнитивная лексикология и «номинативная» семантика — как и историческая семантика, исходят из обусловленности языка внеязыковой реальностью, т. е. из тесной взаимосвязи единиц языка и тех референтов или предметов, которые эти единицы призваны называть. Таким образом, «сигнификативная» структурная семантика уступает место «денотативной» («номинативной») семантике, изучающей словарный состав языка в плане того, как значение его единиц связано с экстралингвистической реальностью мира, в котором происходит общение. Автономистическому идеалу структурализма противопоставляется изучение психологической и прагматической направленности речи. Значение слова рассматривается уже не просто как сеть внутренних отношений тех или иных элементов в языке, а в связи с процессом познания мира, мыслительной деятельностью человека и его познавательными возможностями.

Когда мы говорим о когнитивной семантике и ее разновидностях как о новом направлении, мы имеем в виду именно зарубежное языкознание, поскольку для советского языкознания изначально было характерно признание отражательной природы слова, которое рассматривается как продукт и результат познавательной деятельности людей. Слово способно «непосредственно соотноситься с предметом мысли как обобщенным отражением данного „участка“ („кусочка“) действительности и направляться (указывать) на эту последнюю; вследствие этого слово приобретает определенные лексические, или вещественные, свойства» [1]. В традиции отечественного языкознания слово изучается как основная единица языка, т. е. как та единица, которая впитала в себя свойственную данной этнической общности, данной нации картину мира. Слово — это прежде всего архетип, возникший в истории развития данной национальной общности. Как указывал У. Вайнрайх, в советской науке лексикология занимает столь же большое и важное место, как фонология или грамматика [2]. В 60—80-е годы в советском языкознании были разработаны методы семиологического описания лексики, системного анализа компонентов семантической структуры слова и словарного состава языка в целом. Ономасиологическое изучение лексики значительно расширило область лексической семантики за счет разработки принципов и закономерностей «номинации», т. е. обозначения предметов и выражения понятий различными словообразовательными, стилистическими и фразеологическими средствами [3—7]. В последнее время получили развитие концепции, рассматривающие слово как единицу языка, лежащую в основе осуществления коммуникативной деятельности. Слово получает осмысление в определенном социолингвистическом контексте, в условиях данной культуры. Большое внимание уделяется и психолингвистическим проблемам семантики [8]. В семантических исследованиях разрабатывается вопрос о природе взаимосвязи предметно-понятийных обобщений, используемых в качестве внеязыкового фона, и тех лексических (словарных) оппозиций, которые реально выражены в данном конкретном языке и обусловлены историческим развитием данной национальной общности [9—11].

Если советские языковеды (Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, О. С. Ахманова, А. И. Смирницкий) исходят из первичности отражательной природы отношений между словами и их «референтами», то в традиционной зарубежной структурной семантике слово не рассматривалось как соотношение факта языка и тех предметов, которые им обозначаются. То, что когнитивный подход восполняет сейчас этот пробел, опираясь на взаимосвязь языка и мышления, слова и понятия, изучение значения слова в контексте познавательной деятельности человека представляется чрезвычайно важным. Следует отметить также, что этот подход рассматривается в рецензируемом издании не в виде абстрактной терминологии или специфического метаязыка, а как направление, уже подтвердившее свою жизнеспособность на практике.

Уже в первом разделе книги Х. Геккелер привлекает внимание к развитию семантических исследований в Тюбингене на основе «лексематического» подхода (с. 11—19). Этот подход был разработан Косериу в начале шестидесятых годов, который и предложил термин «лексематика» с целью выделить особую раз-

[1] В то же время такая постановка вопроса вовсе не означает отождествления понятия значения слова и энциклопедического знания о том предмете, который это слово обозначает.

новидность структурной лексической семантики.

Лексематика тюбингенской школы возникала как синтез немецкой традиции в изучении словарного поля и теории европейского структурализма. Косериу определяет словарное поле как «парадигму» в пределах словарного состава языка, которая образуется противопоставлением значений слов на основе различительных признаков в плане содержания (content-differentiating features)» [13, с. 294]. Понятие «различительных признаков» позволяет провести параллель (как это делает Х. Геккелер) между подобным анализом лексического значения слова и фонологической теорией Р. Якобсона (пражский структурализм). Основными элементами словарного поля, согласно Косериу, являются лексемы, архилексемы, измерения (или оси), устанавливающие «шкалу» оппозиций и являющиеся критерием лексического членения поля, семы и классемы.

Подобный анализ структурной компонентной семантики (в традиции Косериу) находится в центре внимания авторов рецензируемой книги, причем уже в самой первой статье отмечается, что многие участники конференции в Эссене видели свою задачу в том, чтобы критически оценить эту теорию. Оппонентами компонентного анализа являются такие направления, как семантика прототипа (Рош), семантика стереотипа (Путнэм), семантика архетипа (Вильдген), а также «scenes-and-frames semantics» Филлмора.

Последнее из перечисленных направлений представляет особый интерес, поскольку оно, согласно М. Посту (с. 39), непосредственно предшествует созданию когнитивной лингвистики. В теории Филлмора «scenes» — это «отрезки» или «участки» внеязыковой реальности, которые в виде понятий или «концептуальных структур» запечатлены в сознании говорящего. Совокупность этих «отрезков», а также их ассоциативные противопоставления или оппозиции образуют понятийную картину мира, которая определенным образом членится лексическими средствами языка. Согласно Филлмору, адекватное восприятие действительности требует воссоздания в сознании говорящего образа определенной ситуации («сцены») в виде понятия или представления о ней. Далее в силу вступают так называемые «frames», т. е. лексические ряды («lexical sets»), члены которых непосредственно называют отдельные части понятийных структур («scenes»), соответствующих определенным «отрезкам» реальной действительности. В отличие от традиционной (в свете теории Трира) структуралистической теории словарного поля, рассматривающей значение слова как производное от внутренних отношений между элементами системы, «scenes-and-frames semantics» исходит из того, что значение слова — это прежде всего «прототип», т. е. его основное номинативное значение, соотносящее данное слово с обозначаемым им предметом внеязыковой реальности. Следовательно, для адекватного описания значения слова требуется выяснение тех основных «типичных» условий речевой действительности, в которых данное слово может быть правильно употреблено. Семантический анализ, таким образом, непосредственно смыкается с нашим знанием о мире, с процессом познания внеязыковой реальности.

Другое направление, включающее анализ семантики слова на основе его определения («definitional semantics»), также выдвигает возражения против теории структурной семантики. Г. У. Боас отмечает, что сложное семантическое содержание, заложенное в слове, не может быть адекватно описано путем выделения минимальных лексических противопоставлений, с целью установить смыслоразличительные признаки подобно тому, как это имеет место в фонологической теории. Для того чтобы понять значение слова, необходимо представить его описание посредством развернутого аналитического определения, вводящего данное слово в некоторый контекст понятий, являющийся частью опыта говорящего и его способности пользоваться языком.

«Номинативная семантика» («reference semantics»), о которой шла речь выше, противостоит традиционной структурной семантике, поскольку последняя не учитывает соотнесенность слова и обозначаемого им предмета или референта, т. е. «отрезка» внеязыковой реальности. Как утверждает П. Бош, формалистические направления вообще избегают соприкосновения с данными эмпирического опыта, рассматривая формальную структуру как модель мира (с. 63). Достигается же эта формализация за счет отказа от рассмотрения функциональной стороны языка, т. е. его реального воплощения в речи. В противовес этому «номинативная семантика» как часть когнитивного подхода ставит во главу угла речеупотребление, использование языка как средства общения.

Рассматривая соотношение словарного значения слова и его окказионального значения, возникающего в определенном контексте, П. Бош вводит термин «контекстуальное понятие» («contextual notion»), который обосновывается им следующим образом. Когда говорящий, хорошо знающий язык, употребляет слово необычным образом для обозначения нового предмета или явления, он исходит из словарного значения этого слова,

а также из словарного значения других слов, окружающих его в высказывании, из знания ситуации и более широкого, предшествующего данному употреблению контекста, а также из представления говорящего об окружающем мире вообще. Эта последняя формула «знания» получает в теории Боша название «контекстуального понятия». Изучение природы лексического значения, согласно Бошу, должно опираться не только на абстрактные репрезентации, но и на опыт говорящего, на его знание внеязыковой реальности. «Контекстуальное понятие» — это отрезок опыта, обусловленный определенной ситуацией, с которым соотносятся те или иные лексические выражения. Наша способность пользоваться языком и воспринимать значения слов предлагает возможность не только связывать значения как таковые, но и соотносить слова с «отрезками» опыта, «контекстуальными понятиями», отражающими данную внеязыковую реальность. Таким образом, внимание вновь направляется на соотношение того, что непосредственно дано в языке, и экстралингвистической основы образования понятий, умственной деятельности человека.

Дихотомия, рассматриваемая нами до сих пор в рамках когнитивного подхода,— язык и внеязыковая реальность — должна быть дополнена понятием прагматики. Способность слова соотноситься с данным предметом или понятием и тем более его способность быть соотнесенным с новыми референтами следует рассматривать в свете прагматики речеупотребления, т. е. того, как люди употребляют слова в речи. Эта проблема, согласно Р. Гейгеру, не может быть решена посредством семантических моделей: она требует переключения внимания с системных свойств языка на то, как язык используется в качестве средства общения (с. 86).

В то же время целый ряд статей и материалов рецензируемой книги является вкладом в развитие компонентного анализа как ведущего метода традиционный структурной семантики. Э. Шнайдер, в частности, обращается к анализу многозначного английского глагола *to consider*, семантика которого описывается на трех взаимосвязанных уровнях: 1) «семантических признаков» («semantic features») — мельчайших составляющих лексического значения слова, 2) «семем» («sememes»), т. е. «действительного» или «контекстуального значения» слова, воплощенного в речи, и 3) на уровне «обобщенного потенциального значения» («comprehensive potential meaning»), т. е. «семантемы» («semanteme»), объединяющей в себе всю совокупность семантических признаков, ассоциирующихся с данным словесным выражением. Мысль автора заключается в том, что атомистическое расчленение слова на «компоненты» должно сопровождаться осмыслением обобщенного значения слова не только на основе синтеза семантических составляющих, но и с учетом функционирования слова в речи, разграничения «типичных» и специфических контекстов его употребления (с. 158).

Стремление использовать наше знание о мире характеризует и сопоставительные исследования в области лексической семантики. Несоответствие «лексических структур» («lexical structures») в разных языках обусловлено тем, что национальные языки по-разному «категоризируют» действительность и по-разному проводят разграничительные линии. В связи с этим большие трудности возникают при изучении иностранных языков, поскольку говорящие, как правило, исходят из предположения, что их родной язык имеет универсальную каноническую структуру, которая может быть перенесена на словарный состав изучаемого иностранного языка.

Большим достоинством рассматриваемой коллективной монографии является то, что целый ряд содержащихся в ней статей побуждает нас обратиться к единству теории и практики, в частности, к проблемам изучения и преподавания иностранных языков. Именно в таком ключе представлен в книге раздел, посвященный исследованию идиом. Идиома в широком смысле — это словосочетание, обнаруживающее в своем синтаксическом и семантическом строении специфические и неповторимые свойства данного языка. Поскольку большинство словосочетаний обнаруживает национальную специфику и в силу этого идиоматично, в языке не существует водораздела между идиомами и «свободными» сочетаниями, хотя и выделяется такое понятие, как идиомы в собственном смысле слова («idioms proper»). Идиоматичность — это «шкала» или некоторая последовательность единиц, которым данное свойство присуще в большей или меньшей степени. Именно так определяет идиоматичность («idiomaticity») Р. Глезер (с. 270).

Подытоживая сказанное, можно заключить, что рецензируемое издание открывает новую страницу в развитии лексической семантики. Расширяются границы этой области, и в поле зрения исследователей вовлекаются все новые объекты, обладающие значением. Представление о том, что не все типы значений интересны для изучения, пересматривается, в соответствии с чем исследованию подлежит не только сигнификативное значение, но и значение денотативное. Словарный состав языка и значения входящих в него слов описываются, таким образом, с учетом конкретного соотнесения слова с данным референтом.

И, наконец, наиболее значимым моментом, как это убедительно показано в книге, является то, что, хотя теория семантического анализа исходит из разграничения собственно языковых фактов и энциклопедического описания обозначаемых ими объектов, эти две сферы исследования пересекаются, между ними обнаруживаются точки соприкосновения. Семантический анализ не может игнорировать «знание о мире», он не должен замыкаться в самом себе. Сведения об употреблении слов в речи, их конкретной соотнесенности с референтами позволяют в полной мере осмыслить их лингвистическое содержание. Последнее же есть не что иное, как интуитивное знание (понимание) данного слова говорящим, способность правильно использовать его в речи как семантически цельную и функционально обусловленную единицу данного языка.

Кроме выводов общего характера, рассматриваемая коллективная монография обогащает наше представление о многих более конкретных вопросах лексической семантики. Интересный материал представлен, в частности, в области словообразования. Производные слова и сочетания располагаются цепочкой, на одном конце которой находятся вполне лексикализованные единицы — обозначения объектов внеязыковой реальности, требующих отдельных наименований, а на другом — синтаксические образования, реализующие продуктивность данного словообразовательного правила. В соответствии с этим различаются лексикализованные соединения, т. е. наименования («labels»), и то, что получает в статье Д. Кастовского название «синтаксической декатегоризации» («syntactic recategorization»), посредством которой возникают новые слова (глаголы, прилагательные, существительные) путем перевода данной основы по конверсии или с помощью аффиксации в другую парадигму или «категорию» (с. 200).

Чем больше мы вчитываемся в статьи, составляющие рецензируемую монографию, тем яснее понимаем, что каждая из них заслуживает отдельной рецензии. Темы работ весьма разнообразны, однако их все удалось творчески объединить в одной книге. И в этом большое достоинство редакторов рецензируемого издания.

Книга обобщает широкий круг вопросов лексической семантики; в то же время она дает читателю представление о разнообразии подходов и направлений, о борьбе старого и нового, а также о результатах этой борьбы. Если до сих пор в семантической теории структуралистической ориентации господствовала дихотомия — собственно языковые явления vs. внеязыковая реальность, то сейчас все более прочно в зарубежных исследованиях утверждается мысль о производности языкового значения, обусловленности его познавательной деятельностью людей, когнитивными процессами, понятиями, в которых запечатлена определенная картина мира.

Результатом развития когнитивного подхода, включающего в поле зрения лексикологов, семасиологов и лексикографов фоновые и энциклопедические знания, явилось возникновение целого ряда новых направлений и методик в исследовании как более общих, так и вполне конкретных проблем лексической семантики. Так, например, в контрастивной (сопоставительной) лексикологии возник социосемиотический подход («cross-cultural lexicology»), преодолевающий границы, отделяющие друг от друга исторически сложившиеся общности людей, которые характеризуются различием свойственных им культур.

Следует отметить, однако, что не все разделы книги одинаково полно отражают сложность поставленных проблем. Так, вопросы, требующие скрупулезного анализа языковых фактов (идиомы и понятие «идиоматичности», продуктивное словообразование как творческий процесс), освещаются лишь в немногих статьях, в то время как значительная часть работ общетеоретического характера носит обзорный характер. Это создает впечатление некоторой декларативности отдельных положений. Хотелось бы также, чтобы те фоновые и энциклопедические знания, которые в рамках когнитивного подхода обеспечивают адекватность семантического анализа, более полно и развернуто фиксировались в ходе этого анализа. Нередко такого рода сведения выносятся за пределы собственно семантического исследования, принимаются как заранее данное, как нечто хорошо всем известное. Это, безусловно, показывает, что идеи когнитивной семантики еще далеко не полностью воплотились на практике. Ведь «фоновые знания», то, что составляет «опыт» говорящего, типичные характеристики категорий явлений и ситуаций на основе понятий прототипа и стереотипа, являются неотъемлемой частью овладения языком, познания его специфических национальных особенностей и приобретают огромное значение при изучении иностранных языков. Вызывает сожаление также и то, что работы советских языковедов по-прежнему остаются практически неизвестными зарубежной аудитории.

Высказанные соображения могут рассматриваться как пожелания в отношении некоторых аспектов осуществления когнитивного подхода в изучении лек-

сической семантики. Есть все основания полагать, что материалы конференции в университете Эссена, содержащиеся в рецензируемом издании, представят большой интерес для лексикологов и лексикографов, семасиологов, а также для широкого круга языковедов, направляющих свои усилия на повышение общего уровня языковедческой культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1968. С. 422.
2. *Weinreich U.* Soviet and East European linguistics // Current trends in linguistics. Lexicology / Ed. by Sebeok Th. A. The Hague, 1963.
3. *Новиков Л. А.* Семантика русского языка. М., 1982.
4. *Комлев Н. Г.* Компоненты содержательной структуры слова. М., 1969
5. *Медникова Э. М.* Значение слова и методы его описания. М., 1974.
6. *Денисов П. Н.* Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии. М., 1974.
7. *Кубрякова Е. С.* Номинативный аспект речевой деятельности. М., 1986.
8. *Леонтьев А. А.* Значение как общенаучная категория // Психологические проблемы семантики. М., 1983.
9. *Виноградов В. В.* Русский язык (грамматическое учение о слове). М., 1972.
10. *Ахманова О. С.* Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.
11. *Смирницкий А. И.* Лексическое и грамматическое в слове // Вопросы грамматического строя. М., 1955.
12. *Coseriu E.* Lexikalische Solidaritäten // Poetica. 1967. 1.

Гвишиани Н. Б.

Смирницкая С. В. **Ареальная специфика рейнско-мозельского региона. Л.: Наука, 1988, 190 с.**

Рецензируемая книга открывает серию «Романо-германская контактная зона», которая будет включать в себя ряд монографий, посвященных анализу языковых ситуаций в романо-германских пограничных зонах Западной Европы — в Швейцарии, Люксембурге, Бельгии, Эльзасе (Франция). Эти монографии, над которыми работают научные сотрудники Отдела сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальной лингвистиски ЛО Института языкознания АН СССР (редактор серии А. И. Домашнев), объединены общностью замысла и задач. С другой стороны, каждая из них имеет самостоятельное научное значение. В работе С. В. Смирницкой заложен историко-лингвистический фундамент всей серии, показаны пути формирования романо-германской контактной зоны.

Обращение исследовательницы к западносредненемецкой (рейнско-мозельской) области не случайно. Именно этот ареал стал очагом зарождения и последующего развития языка немецкой народности, плацдармом смешения и взаимодействия языковых черт северо-западного (франкско-саксонского) и юго-восточного (алеманнско-баварского) регионов. Кроме того, здесь в наибольшей степени проявилось влияние романских диалектов. Диалектные особенности данной зоны изучаются в динамике; автор стремится воссоздать картину формирования языковых черт, характерных для рассматриваемого диалектного ареала, восстановить более чем тысячелетнюю историю лингвистических взаимодействий рейнско-мозельских франков с их северными и южными соседями. Материалом для исследования послужили сведения, содержащиеся в исторических, этнографических и лингвистических атласах (всего в работе использовано 12 атласов), а также в многочисленных диалектных описаниях. Основным методом работы является анализ изоглосс, причем ареальное распространение отдельных явлений позволяет судить об их временно́й последовательности. Кроме того, учитываются и факты исторической географии в политическом и этнолингвистическом аспектах.

Важное значение в таком исследовании имеет не только выявление границ определенных языковых черт, но и оценка этих границ. В книге предлагается «послойный» анализ, при котором выделяются отдельные временны́е пласты. Таким образом, современное диалектное членение рассматривается как следствие нескольких процессов, которые могут относиться к разным периодам. Исходный, франкский, диалектный ареал, по словам С. В. Смирницкой, «как бы просвечивает» сквозь более поздние наслоения (с. 169). Автор выделяет три основных типа изоглосс: вертикальное, горизонтальное и промежуточные. Первые противопоставляют западные регионы рейнско-мозельской зоны восточным и очерчивают область, характеризующуюся ингвеонско-иствеонскими признаками, релевантными

для всего региона в целом. Вторые отделяют южные области от северных, очерчивают верхненемецкий, средненемецкий и нижненемецкий ареалы, свидетельствуя о проникновении слов герминонского типа в более северные регионы (широко известный «рейнский ступенчатый языковой ландшафт»). Таким образом, вертикальные изолинии рассматриваются как наиболее древние, а горизонтальные как отражающие более поздние территориальное членение эпохи позднего средневековья (XII—XVI вв.). Современная диалектологическая карта позволяет реконструировать древний франкский ареал, который в основном совпадает с франкской Австразией, и восстановить дальнейшие языковые движения: 1) оттеснение ингвеонско-истеонских диалектных признаков к западной окраине немецкоязычного ареала; 2) вытеснение этих признаков из рейнско-мозельского региона с сохранением реликтовых областей по романо-германской языковой границе; 3) перекрытие рейнско-мозельского региона чертами алеманнско-баварского типа (с. 168).

Таким образом, получает новое подтверждение точка зрения, высказанная еще Ф. Энгельсом, который считал, что франкский диалект, сложившийся уже к VI—VII вв., представлял собой некое единство и был «переходным звеном верхненемецкого, т. е. прежде всего алеманнского, к ингевонскому, т. е. прежде всего к саксонскому и фризскому...» [1]. Расчленение франкского диалекта под действием языковых потоков с юга — явление более позднее; поэтому Энгельс подвергает критике традиционное членение немецких диалектов на основе второго передвижения согласных, проникшего во франкский из алеманнско-баварского ареала. Как известно, эта концепция впоследствии нашла поддержку в работах диалектологов «рейнской школы» (Т. Фрингс) [2], а также советских германистов (В. М. Жирмунский) [3].

С. В. Смирницкая убедительно доказывает большую древность ингвеонско-истеонских общих черт в рейнско-мозельской диалектной зоне при наличии значительных герминонских (алеманнско-баварских) влияний, хронологически более поздних и проявляющихся в основном в виде «вытеснения слов». Что касается взаимодействия с романским ареалом, то исследовательница показывает германо-романскую общность многих языковых явлений, но к попыткам объяснить причину их возникновения во франкских диалектах романским влиянием она, вслед за В. М. Жирмунским, относится весьма сдержанно, т. к. во многих случаях эти изменения соответствуют общим закономерностям развития германских языков. Для решения подобных вопросов иногда было бы полезно привлечь более широкий материал, использовать данные других германских языков, что позволило бы судить о том, ограничивается ли распространение определенных явлений романо-германской контактной зоной. Например, переход *rs* > *š*, характерный для романо-германской языковой границы, распространен, наряду с этим, и в скандинавских (шведском и норвежском) языках. Наблюдающуюся в диалектах западной оконечности немецкоязычного ареала гуттурализацию — переход *n*, *d*, *t* в соответствующие заднеязычные *y*, *g*, *k* в определенных фонетических условиях — можно было бы связать с германской акцентуацией. Во всяком случае, нельзя не учитывать объяснения этого явления оралицией толчка (этой концепции придерживался С. Д. Кацнельсон). Развить исследование можно было бы и в плане ареологии, более подробно проанализировав конфигурацию изоглосс и их типы.

Работа С. В. Смирницкой представляется весьма существенной. В теоретическом плане существенным является выделение и разработка понятия межъязыкового контактного ареала. Нельзя не отметить важность такого ареала, учитывая то, что контактирование, взаимодействие народов и языков становится все более существенным и универсальным. Что касается решения германистических проблем, о которых частично уже упоминалось выше, то С. В. Смирницкая включается в давний спор о древности границ и «языковых ландшафтов», представленных на современной карте немецких диалектов. Путем «послойного» анализа карт исследовательница доказывает, что как точка зрения, согласно которой границы племенных диалектов в определенной степени сохраняются и до наших дней, так и концепция, согласно которой современные диалектные границы восходят к позднему средневековью, имеют право на существование и не противоречат друг другу. Территориальные границы накладываются на более древние — племенные.

Рецензируемая книга показывает возможности лингвогеографии, ее значение для реконструкции древних языковых состояний. Она заинтересует как языковедов, так и историков и этнографов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Энгельс Ф.* Франкский диалект // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 524. М. 1961.
2. *Фрингс Т.* Энгельс как филолог // Немецкая диалектография. М., 1955. С. 220—223.
3. *Жирмунский В. М.* Немецкая диалектология. М.; Л., 1956.

Бородина М. А., Найдич Л. Э.

Тараненко А. А. **Языковая семантика в ее динамических аспектах (основные семантические процессы).** Киев: Наукова думка, 1989. 256 с.

Последние десятилетия характеризуются пристальным вниманием лингвистов к языковой семантике. Однако, как справедливо замечает автор рецензируемой монографии, основной упор при этом делается на синхронические аспекты ее изучения, на семантику в ее статическом состоянии, в то время как вопросы диахронической семантики и шире — семантики в ее динамическом функционировании оттеснены на второй план. Поэтому появление книги А. А. Тараненко, посвященной динамическим аспектам языковой семантики, представляется очень своевременным.

Автор излагает оригинальную концепцию динамики семантической стороны языка как единого целого на разных его структурных уровнях — лексическом, фразеологическом, словообразовательном, грамматическом, исходя из вполне доказанных в монографии положений о наличии межуровневого изоморфизма семантических явлений и процессов в языковой структуре и о возможности сведения различных семантических процессов к определенному конкретному набору. Классификация семантических процессов строится с учетом, с одной стороны, особенностей ассоциативного характера мышления, а с другой — специфики языка как семиотической системы и основывается на отражении в языковой семантике двух типов психологических ассоциаций (по смежности и сходству) по линии двух аспектов языка — внеязыковой отнесенности языковых единиц (т. е. аспект семантики в более узком, семиотическом понимании) и их внутриязыковой соотнесенности как парадигматического, так и синтагматического характера (аспект синтактики). На этой основе выделяются прежде всего четыре типа процессов: два собственно семантических — метонимия и метафора (на основе соответственно смежности и сходства в восприятии субъекта обозначаемых понятий) и два синтактических — смысловое взаимодействие на синтагматическом уровне (автор, к сожалению, не смог предложить для данной группы процессов однословного наименования) и аналогия (на основе соответственно смежности и сходства самих языковых единиц). Пятый процесс — контаминация — выделяется в предлагаемом ряду на более сложной и смешанной классификационной основе — как процесс, который имеет одновременно как семантический, так и синтактический характер и может базироваться как на парадигматических, так и на синтагматических отношениях. Автор, таким образом, применяет для обозначения языковых процессов в своей классификации знакомые термины, но обычно привязываемые к какому-либо языковому уровню (к лексике, как, например, метонимия и метафора, к словообразованию или синтаксису и фразеологии, как контаминация, и т. д.), а не к языку в целом. Отнесение того или иного из данных процессов к определенному уровню обуславливается в работе тем, по линии категории какого именно уровня он действует, и, если это общеязыковая семантическая категория (одушевленное — неодушевленное, конкретное — абстрактное и т. п.), тем, при помощи формальных средств какого уровня он проявляется.

Предваряя более подробное обсуждение каждого из рассматриваемых процессов, можно предположить, что некоторые сомнения в оправданности применения того или иного из предлагаемых названий к определенному языковому явлению, мнение об известной натяжке при отнесении того или иного процесса к области метонимии, метафоры и т. д. у читателя в ряде случаев будут возникать несомненно. И трудно однозначно ответить на вопрос, что является причиной таких сомнений в каждом конкретном случае: установка читателя на традиционное понимание анализируемых явлений или же увлеченность автора, стремящегося охватить все многообразие семантических процессов в языке классификацией из пяти пунктов. Однако в любом случае необходимо отметить, что автор здесь не так уж одинок в своих поисках, как это может показаться на первый взгляд. Говоря о предпосылках своей концепции языковой семантики в ее динамических аспектах, А. А. Тараненко опирается на положения Н. В. Крушевского [1] о группировании в языковом сознании обозначаемых понятий и развитии языковых единиц по их смежности и сходству, на интерпретацию процессов метонимии и метафоры как общеязыковых и общесемиотических, заложенную в известных работах Р. Якобсона [2], Е. Куриловича [3] и еще раньше, например, у А. А. Потебни [4], упоминает классификации типов процессов, учитывающие как внеязыковую отнесенность, так и внутриязыковую соотнесенность единиц, в области лексической семантики (см., например [5]), являющейся наиболее разработанной под данным углом зрения. При обзоре литературы по каждому из рассматриваемых процессов приводится перечень точек зрения, в чем-то сходных с авторской концепцией, в чем-то отличных от нее, но также нацеливающих лингвиста на разноуровневый, общеязыковой

подход к тому или иному процессу. Ср. обзор различных концепций действия, например метафоры в языке — в работах Ф. И. Буслаева, Ю. С. Степанова, Б. А. Серебренникова, И. Фонадя, Э. Оксаар, Е. М. Шендельс и др.

В результате анализа лексической, словообразовательной и грамматической семантики А. А. Тараненко приходит к важному теоретическому выводу о том, что действие перечисленных «...процессов на семантическом глубинном уровне в рамках каждой из подобных моделей одно и то же независимо от его различных формально-языковых проявлений в том или ином конкретном случае» (с 13). И коль скоро это так, то, по мнению исследователя, вряд ли целесообразно ограничивать понимание действия этих процессов рамками лишь какого-то одного уровня, например, лексики. Новый взгляд на природу семантических процессов привел автора к пересмотру и совершенно другой интерпретации многих положений традиционной семантики.

В первой главе (с. 9—107) рассматриваются вопросы, связанные с действием в языке метонимических процессов. На лексическом уровне эти процессы чаще всего осуществляются, как известно, в тех случаях, когда создается двусмысленность трактовки определенного значения в соответствующих контекстах и ситуациях (ср: поджечь *соседа*, т. е. его дом, подъехал *извозчик*). Смежность положений до и после раньше и позднее в начале и в конце определенного пространственного или временно́го промежутка, кажущаяся на первый взгляд противоположностью, может приводить даже к образованию энантиосемии. Так, например, тот, кто идет впереди, приходит первым, раньше, ср, двузначность контекстов типа *Пусти его вперед*. Отсюда возникает противоположность между значениями «вперед; впереди; передний и т. д (в пространстве)» и «прежде, раньше (т. е. как бы «сзади, позади»); прежний и т. д. (во времени)»: *вперед, впереди* — диал. «раньше, прежде», др.-русск. *передьнии* «прежний», ст.-слав. *прѣдъити, прѣдъѣтешти* «идти вперед, впереди», но, например, *предки* (это в общем-то те, что остались «сзади»), *предыдущий, предшествующий, предтеча*. Определенная точка в пространстве или во времени может представляться как началом, так и концом чего-либо в зависимости от позиции наблюдателя (отсюда, например, *край, конец* — «конец» и диал. «начало»)

Реализация многих метонимических моделей осуществляется, помимо сугубо лексических переносов, и при участии словообразовательных, в частности аффиксальных, средств. Ср. в рамках модели «сырье — продукция из него» в украинском языке, с одной стороны, *барани, вовки, куниці* «мех или шуба из овец, волков и т. д.». *береза, дуб* «древесина или дрова из березы дуба», а с другой — *бараниця, березина, дубина* в этих же значениях. Отсюда автор делает вывод что метонимия в традиционном понимании (на уровне лексики) отражает лишь фрагменты универсальной взаимосвязанности объектов, свойств и отношений действительности, ограниченные переходами значений между формально тождественными единицами — членами одной части речи. При авторской концепции метонимии как явления языковой семантики в целом картина такой смежности категорий действительности осознается на основе языковых данных значительно полнее.

Действие метонимии рассматривается на уровне не только корневых, но и аффиксальных значений, в частности детально анализируются две модели развития диминутивных суффиксов: «диминутивность → гипокористичность» и «диминутивность → пейоративность». Понятие малого размера, с одной стороны, ассоциируется с чувством нежности к соответствующему объекту (ср. на основе этого вида смежности двузначность суффиксов в словах *сынок, рыбка, пальчик, лапка*), с другой стороны (в отношении взрослых лиц и частей их тела), может вызывать чувство пренебрежения к нему («Это был маленький... *человечек* с *личиком подвижным*, как у мартышки, смуглое *личико* обросло темной *бородкой*.., темные *глазки* блестят тревожно. Какой-то игрушечный, не настоящий». М. Горький).

На синтаксическом уровне, в частности, отмечаются метонимические переходы между смежными, естественно граничащими друг с другом типами модальности: например, вопрос (*Это он сам сделал*?) — сомнение (этот же вопрос с интонацией размышления, удивления, недоверия) — отрицание (особенно при риторических вопросах; например, газетный заголовок: «*Борцы за свободу*» *или обычные бандиты*?). Ср. такой же переход на лексическом уровне: *вопрос* (*ставить под вопрос*), англ. *question* (*out of question* «вне сомнений»).

Метонимия нередко квалифицируется как свертывание словосочетания, эллипсис. Например, «горит *сосед*» выводится некоторыми исследователями из «горит *дом соседа*», «выпить *стакан*» из «выпить *стакан молока* и т. п.». По мнению автора, здесь отождествляются два принципиально различных типа смежности, лежащие в основе метонимии и эллипсиса,— внеязыковая (понятийная) и языковая (текстуальная) смежность. Если при эллипсисе происходит изменение (сокращение) формы словосочетания при фак-

тической неизменности его содержания то при метонимии, наоборот,— изменение (расширение или сужение) содержания слова при неизменности формы. Так, множественное число в случаях типа укр. *батьки* в значении «родители» (т. е. *батько* «отец + мать), традиционно рассматриваемое как эллиптическое, является в действительности синекдохической моделью «часть — целое». Причем автор подчеркивает: «...то, название какой именно „части" становится названием всего „целого", вовсе не случайно» (с. 20). Такое множественное число группируется вокруг понятия, представляющегося основным в ряду определенной множественности. Так, в области наименований человека это обозначение лица, старшего по возрасту (ср. неофициальные названия семей по имени их главы типа укр. *Павлй*, *Сашкй*), мужского пола (см. выше укр. *батьки*, а также, например, *москвичи*, *студенты* или собирательные имена типа *юношество*, польск. *państwo* «муж с женой»), высшего по социальному положению (*ковпаки* — о партизанах С. А. Ковпака) и просто более заметных по национальному, социальному и др. признакам категорий людей (нашествие *французов* в 1812 г.). Аналогичным образом вскрываются причины, лежащие в основе «эллиптического» рода (*Крестьянин* теперь уже не тот), «эллиптических» обозначений качества (получить *воспитание* в смысле «хорошее воспитание», человек с *головой*; Аэробика — это *звучит*!, т. е. «хорошо звучит») и количества (у него *температура*; туфли на *каблуке* в смысле «на высоком каблуке»), событий, ситуаций и явлений (т. е. употребление предметной лексики в процессуальном значении: Начинаются *лыжи* «лыжный сезон»; *Велосипед* «ехать или ездить на велосипеде» — это не пешком).

Заслуживают внимания мысли А. А. Тараненко о двух семантико-синтаксических основах метонимических процессов при номинации, в том числе словообразовании: 1) та или иная синтаксическая позиция, лексический контекст, наиболее благоприятные для определенной модели: например, формирование наречий образа действия, на основе твор. п. существительных (дать *даром*, ответить *головой* «чем → как»), образование категории деепричастий на основе причастий, обозначавших признак не только предмета, но и частично действия (др.-русск. «*слышавъше* же то князи рустии, поидоша за Днѣпръ», т. е. «слышавшие → слыша»); 2) фиксированная позиция предикатного употребления определенного слова: например, «Эти лошади — *с Битюга*» (река), т. е. откуда → «Эти лошади — *с битюка*, *битюки*» (порода лошадей), т. е. какие, кто; Он живет *в Москве* → Он *москвич* (с. 32—36). Концепция предикативной основы номинации обсуждается очень детально (думаю, что так основательно и аргументированно этот вопрос еще не рассматривался). Бесспорным достижением автора является разграничение первичного, семантического (акт номинации сразу же оформляется одним словом) и вторичного, синтактического (в слово трансформируется уже существующая неоднословная номинация) типов словообразования (с. 47—50).

Специальный раздел посвящен действию метонимии по линии конверсивных (обратимых) семантических отношений, когда определенная ситуация, предмет, признак могут быть представлены с противоположных сторон. Как уже отмечалось выше, автор показывает, что противоположные, казалось бы, значения языковой единицы не менее обнаруживают точку соприкосновения, смежность, благодаря чему, собственно, и становится возможным соответствующий семантический перенос. Простой пример — укр. *байрак* «овраг, поросший лесом → лес, растущий в овраге», где переход осуществился вследствие очевидной пространственной смежности понятий «овраг (с лесом)» и «лес (в овраге)». Таким же путем, но на основе иных типов смежности (действие в противоположных направлениях, действие одного актанта — состояние другого актанта и т. п.) возникают и собственно конверсивные оппозиции в глаголах и их дериватах. Например: *взятка* «то, что взято» (ср. *взяток* пчелы) → «то, что дается»; укр. *позичити* (кому — у кого) «дать в долг — взять в долг»; изменения в рамках оппозиций типа залоговых: актив → пассив (ср. концепцию «лингвистической метонимии» у Е. Куриловича), динамический → статический медий (Кровь *сочится* из раны — Рана *сочится* кровью), изменение векторных отношений при каузации (не он *ушел*, а его *ушли*) и др. (с. 76—89).

Глава о метонимии занимает более трети всего объема монографии, охватывая, кроме уже упомянутых, процессы композиции, субстантивации, адъективации и др., и здесь невольно возникает вопрос, чем это обусловлено — преобладанием именно метонимических процессов в языковой семантике по сравнению с остальными или же какими-то субъективными соображениями автора. Сам автор на это ответа не дает. Следует отметить также чрезмерную усложненность и потому недостаточную убедительность в объяснении некоторых явлений, например, в словообразовании или при переосмыслении векторности (от *пáхнуть* к «нюхать» и др.).

Вторая глава (с. 108—153) посвящена анализу метафорических процессов. Пос-

ле общих замечаний о сущности метафоры и вопроса о «фонетической» метафоре автор подробно рассматривает действие грамматической метафоры — на уровне как общеязыковых семантических категорий на грамматическом срезе, так и категорий собственно грамматических. Особое внимание уделено метафоризации в рамках категории рода. Здесь автор выделяет три основных направления:

1) переносы родовой формы для обозначения лиц противоположного пола (перенос слова в рамках однокорневых родовых корреляций: *дура*, *истеричка* — о мужчине, *мой маленький* — к женщине; перенос корня, сопровождающийся соответствующим родовым оформлением: *девственник*, укр. *бабій* «неженка»; перенос родового форманта: *бабец*, *Верунчик*, *Светок*);

2) переносы форм естественного рода для обозначения неодушевленных предметов, а также животных, половая принадлежность которых не релевантна для языкового коллектива. Автор считает (и с его аргументацией трудно не согласиться), что при объяснении формирования и развития категории рода наряду с интралингвистической мотивацией (процессами аналогического выравнивания и синтагматического согласования) следует принимать во внимание и возможность семантической мотивации, в особенности действие метафоры. В пользу этого он приводит как косвенные свидетельства (например, мощное действие этой метафорической модели на уровне лексики), так и прямые доказательства. Это, например, оформление в женском роде названий земли, поскольку ее плодородие напоминает существо женского пола, родовое оформление фитонимов типа укр. *шовковиця* → *шовкун* «бесплодная шелковица», оформление в мужском роде названий хищных птиц и др.;

3) переносы формы среднего рода — при обозначении понятий как одушевленного (например, обозначения невзрослых существ: *дитя*, укр. *немовля*, *лоша*, нем. *das Kind*; он теперь уже *ничто*; укр. *воно*), так и неодушевленного мира (...*Оно* вошло и *оно* есть смерть. Л. Толстой).

В области синтаксической семантики, как показывает автор, метафора наиболее заметно проявляется по линии намеренного переосмысления категорий модальности: а) как антифразис — при противоположных значениях (противоположность является одной из разновидностей сходства — основы действия метафоры): например, серьезное оформляется как незначительное (*Кстати*, *мамуля*, *забыла тебе сообщить: я выхожу замуж*); ср. выше действие метонимии по линии смежных модальных категорий; б) как диалогизация языковой формы (например, представление взаимоотношений между общественными группами в виде диалога между их представителями: *Буржуазия говорит крестьянину: мы...* и т. д.), ср. аналогичную метафору в лексике: *диалог* между Востоком и Западом.

Что касается словообразования, то, по утверждению автора (на наш взгляд, несколько категоричному), словообразовательной метафоры, т. е. метафоры, действующей на уровне словообразовательного значения, в сущности нет. Она действует здесь по линии: а) лишь лексического значения слова — как самостоятельно: *лимон* — *лимонка* (граната), так и как дополнительный процесс при метонимии: *гусар* — *гусарить* «вести себя подобно гусару» (ср. чистую метонимию: *слесарь* — *слесарить*); б) грамматического (аффиксального) значения: «*Жигуленок*» (автомобиль марки «Жигули»), *книжкина* неделя. Говоря о действии метафоры в словообразовании, вряд ли стоит допускать возможность двоякой интерпретации образований типа *звереть*, *обезьянничать* и т. п. (от *зверь* в его прямом значении или от *зверь* «жестокий человек»), как это утверждается на с. 147: это глаголы уже на основе метафор.

В третьей главе (с. 154—204) анализируются процессы синтагматического смыслового взаимодействия — компрессия синтагмы, синтагматическое передвижение смысла, конденсация синтагмы, сдвиги в смысловом членении синтагмы, т. е. процессы, основывающиеся на отношениях взаимного или однонаправленного притяжения (аттракции) между компонентами определенного единства. Эти явления, как и в предыдущих случаях, рассматриваются на разных языковых уровнях. Так, в частности, компрессия (стяжение синтагмы) отмечается на уровне слова (*радиостанция* → *рация*, *знаменоносец* → *знаменосец*), сочетания слов (через *два или три дня* → через *два-три дня*), сложного предложения (*Страх, как понравилось* → *Страх понравилось*) и т. п. В словообразовании компрессия приводит к композиции в форме как сращения (сегодня, *сам-друг*, укр. *добридень*, *робитиму*, *тощо*), так и — в некоторых случаях — сложения (*верховодить* — от *верх водить*, укр. *самодруг*), к аббревиации и телескопии. Процессы синтагматического смыслового передвижения наиболее отчетливо проявляются при воздействии лексического и синтаксического контекста на значение слова и лексического значения слова (корня) на значение его аффикса. Так, прилагательное *дремучий* с изначальным значением «дремлющий» приобрело значение «густой, непроходимый» в результате постоянного употребления в сочетании *дремучий лес*. Формант **-et-*, имеющий первоначально лишь

структурно-грамматическое значение, употребляясь в составе названий детей и детенышей животных, сам постепенно усвоил это значение. Говоря о роли контекста в смысловых изменениях его единиц, автор справедливо отмечает, что это влияние обычно преувеличивается и понятие контекста как фона изменений неправомерно приравнивается к контексту как их непосредственному фактору.

В разделе, посвященном конденсации, особый интерес вызывают соображения автора о двух ее направлениях — специализации, т. е. сужении значения конденсата (например, при субстантивации атрибута: *крестный* [*отец*], при включении значения объекта: *подать* [*милостыню*], при вычленении частей слова: *грампластинка* → *пластинка* и т. д.), и генерализации (Ты мой *самый-самый*! — на основе ряда выражений типа *самый дорогой*, *самый желанный*, *самый любимый* и т. д.; «*Беру* на квартиру» — объявление; Лучше *недо-*, чем *пере-*). Однако не всегда можно согласиться с авторской интерпретацией некоторых структурных моделей конденсации. Так, случаи типа *почтарь* (от *почтовый голубь*) вряд ли правомерно относить к «аффиксально не оформленной конденсации... в виде лексико-семантической деривации» (с. 191). Это пример так называемого агрегатирования (термин Н. З. Котеловой).

В четвертой главе (с. 205—223) анализируются сущность и типы аналогических процессов. В зависимости от того, по линии какой стороны языковых единиц действует данный процесс, выделяются (а) одноуровневые и (б) двухуровневые типы аналогии (если последние берут начало на уровне формы, они завершаются на уровне значения, и наоборот): (а) это формальный (в фонетике и т. п.) и смысловой (*сестра* милосердия → *брат* милосердия, *левша* → *правша*) типы; (б) это формально-смысловой (явление народной этимологии, каламбура и др.) и смыслоформальный (например, тождественное аффиксальное оформление членов тематической группы: укр. *січень*, *березень*, *квітень* и т. д.— названия месяцев) типы. Поскольку смысловая аналогия является средством не возникновения, а лишь распространения той или иной модели, существует проблема разграничения самостоятельного и аналогического развития единиц. Автор предлагает несколько критериев определения аналогии при параллельном смысловом развитии ряда языковых единиц. В работе проводится также дифференция между парадигматическим и синтагматическим типами аналогии.

Заключительная глава (с. 224—236), очень краткая, но содержательная, посвящена анализу контаминационных процессов. Автор выделяет контаминацию парадигматического и синтагматического характера. Первая возникает вследствие одновременного появления в сознании говорящего при мысли об определенном понятии двух синонимических и вообще соотносительных обозначений и действует на уровне словообразования (с усложнением как корневой, так и аффиксальной части новообразованной единицы): укр. *бельбахи* «внутренности» (*бебехи* + *тельбухи*), *безневинний* (*безвинний* + *невинний*), формы типа укр. диал. *пливстн* (*пливти* + *плистн*), словосочетаний и синтаксических конструкций (таким образом, в частности, объясняется природа образования конструкций с полупрямой и несобственно-прямой речью), морфологических категорий (одушевленности, рода, числа и др.): диал. *кто такое*? (ср. *кто такой* и *что такое*) — «А онде під тином *Опухла дитина голоднє мре*» (Т. Шевченко) и т. п. Вторая образуется как результат скрещения или перекрещения членов синтагмы, ср., например, у В. Высоцкого: «— Развяжите полотенцы, *Иноверы*, *изуверцы*!», т. е. *иноверцы*, *изуверы*.

Рецензируемая монография основывается на широком современном и историческом материале преимущественно русского и украинского языков с привлечением данных других языков, прежде всего славянских. Для анализа, в частности, привлекаются и окказиональные образования, что дает автору возможность наглядно вскрыть динамику семантических изменений, их механизм. Однако, полагаем, не было бы излишним разграничивать узуальные и окказиональные факты хотя бы в плане важности, продуктивности той или другой модели для языка, ведь не все подобные модели проходят фильтр языковой системы.

Не все в работе представляется одинаково убедительным и доказанным, можно спорить по поводу тех или иных аспектов исследования. Но нельзя не признать общей стройности и цельности авторской концепции семантической динамики языка. Единство подхода позволило автору дать новую интерпретацию многим семантическим процессам. Монография А. А. Тараненко в значительной степени восстанавливает равновесия в изучении статических и динамических аспектов языковой семантики и, несомненно, будет способствовать дальнейшим изысканиям в этой области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Крушевский Н. В.* Очерк науки о языке. Казань, 1883.
2. *Jakobson R.* The cardinal dichotomy in

language // Language. An inquiry into its meaning and function. N. Y., 1957.
3. *Kurylowicz J.* Metaphor and metonymy in linguistics // Zagadnienia rodzajów literackich. 1967. T. 9. Z. 2.
4. *Потебня А. А.* Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 311, 494—529.
5. *Ullmann S.* The principles of semantics. Oxford, 1963. P. 220—243.

Кочерган М. П.

Hayrapetyan S. P. **Hay hin ew mijnadarean grakanuthean patmuthiwn.** Los Anjeles, 1986. 724 ēj.

Книга С. Айрапетян (Софи Эктон) «История древней и средневековой армянской литературы» сразу же по выходу в свет привлекла внимание как отечественной, так и зарубежной научной общественности, о чем свидетельствуют положительные рецензии и ее переиздание в Ливане. Сейчас готовится публикация на английском языке, что будет первым опытом подобного рода.

Даже самый поверхностный взгляд на структуру и содержание книги не оставляет сомнений в том, что эта работа представляет значительный интерес не только для литературоведов, но в не меньшей степени и для лингвистов — историков языка, текстологов, для филологов, занимающихся проблемами культурно-языковых взаимоотношений, вопросами мифологии и устно-народного творчества, в котором отражено лингво-эстетическое мировоззрение древнего человека.

Хронологический диапазон характеризуемых памятников, согласно оглавлению, охватывает 14 веков (с V по XVIII вв.). На самом же деле он значительно шире, поскольку нижняя его граница восходит к дописьменному периоду бытования армянской мифологии, языческих верований и устно-поэтического творчества.

Свою основную задачу С. Айрапетян видит в хронологически последовательном, концептуальном анализе наиболее значительных памятников прошлого, в выявлении культурно-эстетических и общественно-исторических основ творчества их авторов. Параллельно с этим определяется языковая специфика и художественная ценность произведений. Айрапетян хорошо ориентируется в огромном, накопленном веками материале. Отбор памятников для анализа и персоналий представляется весьма логичным, что свидетельствует не только о хорошем вкусе С. Айрапетян, но и об учете новейшей специальной литературы. Благодаря обширным выдержкам из памятников различных эпох, характеризуемых в хронологическом порядке, книга становится ценным источником и путеводителем для лингвиста-историка и текстолога: сравнение языка памятников различных эпох позволяет наглядно ощутить динамику внутриструктурных сдвигов, которые произошли в нем за определенный промежуток времени. Следует учесть, что проблема лингвистического времени и качественной характеристики сдвигов для армянского языка является весьма актуальной, поскольку он подвергался настолько значительным структурным изменениям, что памятники V в. были непонятны читателю уже в X в. Автор книги учел это обстоятельство и снабдил приводимые из различных произведений отрывки соответствующим переводом на современный язык. Эти переводы «с армянского на армянский» следует отнести к положительным качествам книги при ее общей оценке, поскольку далеко не каждый филолог-армянист в состоянии достаточно адекватно перевести тексты, написанные на грабаре, среднеармянском литературном языке, на диалектах и полудиалектах. Остается лишь сожалеть, что Айрапетян иногда отступает от этого правила,— ср. главу, посвященную авторам V в. (Корюн, Бузанд, Мовсес Хоренаци и др.), где переводы даны без оригиналов на грабаре. В целом же книга построена таким образом, что читатель имеет возможность легко ориентироваться в богатом наследии прошлых веков, отражающих лингво-культурные традиции народа, видеть специфику его языковых форм, в которых оно воплощается. Перевернув страницы книги, читатель перешагивает через века и может сравнить древнейшие языковые формы, отраженные в мифологии и устно-народном творчестве дописьменного периода, например в песне о рождении бога Ваагна, с изысканным языком любовной лирики средних веков — айренов, отражающих следующий этап развития армянского языка.

Книга состоит из Предисловия, трех частей, объединяющих 20 глав, и обстоятельного Приложения. В первой части рассматриваются памятники древнего периода (до X в.), во второй — средневеко-

вого (X—XVII вв.), в третьей — литература периода обновления (XVII—XVIII вв.).

Часть первая (с. 25—266) содержит семь глав. Особое место здесь занимает проблема этногенеза армян и истоков армянского языка, которой посвящена глава «Армянский народ, язык и мифология». В ней довольно обстоятельно излагаются существующие точки зрения по этим вопросам. Глава эта хорошо вписывается в структуру книги. Далее в поле зрения автора оказывается дописьменный, языческий период развития армянской художественной мысли. Автор начинает свое повествование с эпохи становления лингвоэстетического мировоззрения человека первого тысячелетия до н. э., отраженного в его песнях, устно-поэтическом творчестве, традиции которого были еще живы к моменту появления армянской письменности в V в., и отчасти отразились в трудах некоторых историков, в частности, в «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци (по его словам, он сам слышал эти песни, исполняемые «в сопровождении бамбирна»). Авторами этих песен были, по-видимому, бродячие певцы-музыканты — гусаны, традиционно передававшие из поколения в поколение мифологические сюжеты, легенды, сказания о деяниях богов и людей, ритуальные песни и пр.

Оценивая по достоинству литературу дописьменного, языческого периода, Айрапетян подчеркивает огромное значение факта появления армянских письмен и словесности в деле сохранения армян как этнической единицы, их языка и духовной культуры в условиях жесткой ассимиляторской политики могущественных соседей — Византии и Персии. Положение это в армянистике является общепризнанным. Действительно, сразу же после изобретения армянского алфавита в течение полувека сложилась классическая армянская словесность как оригинальная, в лице блистательной плеяды историков, агиографов, иконоборцев, философов, так и переводная (Библия, произведения древнегреческих философов, историков, которые в ряде случаев используются вместо утерянных оригиналов, и др.). Благодаря этим трудам укреплялась позиция христианства и армянской церкви, а вместе с этим и таких этнических признаков, как национальный язык и духовная культура. Освещение этого вопроса не входит, собственно, в круг задач рецензируемого исследования, однако считаем нелишним отметить, что проблема взаимоотношений этноса и конфессий и роль последних в деле сохранения национальной самобытности является глобальной и все еще ждет своего решения.

Книга построена с учетом того положения, что каждая эпоха имеет свои культурно-эстетические ценности, отраженные в ее духовном наследии. Задача исследователя — вскрыть их и дать им соответствующую оценку. Надо сказать, что указанный подход к материалу проводится автором достаточно последовательно. С этих позиций оценивается, например, ею история распространения христианства в Армении, которое было официально принято в 299 г. (или 301 г.). Для внедрения христианства как идеологии в систему концептуального мышления язычников, усвоивших лишь его внешние атрибуты, ритуалы, был изобретен армянский алфавит и на его основе создана серия трудов о которых уже было сказано выше. Они не только облегчили усвоение христианских основ на родном языке, но в значительной степени способствовали становлению и развитию древнеармянского литературного языка.

Анализ средневековых памятников (X—XVII вв.) предпринят во второй части книги (с. 267—549), которая начинается главой «Армянский ренессанс в X—XIV вв.». Характеристике памятников предшествует описание исторических событий, которые стимулировали армянское возрождение. Позитивное значение, по мнению С. Айрапетян, имело образование в XI в. в Киликии армянского государства, где развивалось градостроительство, способствовавшее оживлению духовной жизни, культуры и языка. Значительное место в книге занимает армянский эпос о Давиде Сасунском. В его трактовке Айрапетян придерживается принципов историзма, считая эпос отражением реальных исторических событий, связанных с национально-освободительной борьбой армянского народа. Вместе с тем в нем вычленяются вплетенные в сюжетную канву элементы из мифологии языческого периода.

Характеризуя армянское средневековье, автор подчеркивает следующую его особенность. При широком распространении поэтического жанра в этот период отсутствовал театральный жанр, которому не нашлось места, несмотря на то, что театральные представления у армян (по типу древнегреческих трагедий) ставились еще в I в. до н. э. Айрапетян объясняет это нетерпимостью духовенства к театральному жанру. Видимо, по этой причине, продолжает автор, армянский талант особенно ярко проявился в сфере поэзии, сосуществуя наряду с прозаическим, морально-занимательным жанром, в котором закреплялся народный язык. Наиболее выдающимся прозаиком этого периода признан Мхитар Гош с его «Судебником», сборником по-

словиц, затем Вардан Айгекци — автор притч и морализованных рассказов, в которых отражено социальное расслоение общества. Язык этих произведений близок к разговорному койне, общепонятному широким массам. В трактовке произведений этого периода С. Айрапетян четко проводит мысль о взаимосвязи языка и духовной культуры. Непонятный для народа грабар к этому времени еще прочно удерживал свои позиции в среде грамотного духовенства и элиты. Литература же, предназначенная для широких масс и всеобщих нужд, должна была быть общепонятной и поэтому создавалась преимущественно на народном разговорном языке, который звучал как в царских палатах, так и в хижине простолюдина. Популярность средневековой поэзии объясняется не только ее содержанием, но также и общедоступностью языка. Она безусловно способствовала поднятию престижа среднеармянского языка, который, по мнению С. Айрапетян, стал занимать равноправное положение с грабаром (с. 451). С последним трудно согласиться, так как реальное положение дел не соответствует столь оптимистической оценке: о равноправии престижного грабара и среднеармянского языка для тех времен еще рано говорить. Оно наступит значительно позже, для чего потребуются большие усилия со стороны общества.

Последнюю часть книги (с. 550—672) Айрапетян посвящает анализу памятников так называемой эпохи обновления (XVII—XVIII вв.), выявлению ее общекультурной, художественно-эстетической и языковой значимости. К этому периоду арменистика относит развитие и формирование новоармянского литературного языка в двух вариантах — восточноармянском и западноармянском.

Большое место в этой части уделено текстам средневековых айренов, затем творчеству ашугов — певцов и музыкантов, а также творчеству плеяды поэтов и писателей. Завершается книга характеристикой деятельности католиков-мхитаристов и их филологического наследия. Представители конгрегации мхитаристов (венецианской и венской) внесли огромный вклад в развитие армянского языкознания: они изучали и публиковали рукописи, издавали словари, грамматики, вели текстологические изыскания и пр.

Небезынтересна в книге трактовка армянского классицизма, который принципиально отличался от европейского классицизма XVII—XIX вв. Если последний опирался на греко-латинскую культуру и мифологию, усваивая их ценности с предельным приближением, то армянский классицизм, длившийся 150 лет, имел преимущественно религиозно-политическое содержание (с. 659). Ему были свойственны риторический стиль, регулярная рифма, поэтическая упорядоченность и, главное, стремление выражаться на классическом грабаре (с. 660).

Значительную роль в развитии армянской филологии сыграли типографии. Первая армянская типография появилась в 1512 г. в Венеции, затем в Амстердаме, Риме, Петербурге и т. д. Впервые публикуются иллюстрированные армянские шараканы, Библия, различные грамматики, произведения древних авторов — историков, агиографов, грамматистов. В 1711 г. в Амстердаме выходит в свет книга Иоахима Шредера, где впервые встречаем образцы разговорной речи новоармянского языка.

В поэзии этого периода автор справедливо отдает первенство знаменитым айренам — средневековым песням-четверостишиям, в которых отражена жизнь во всем ее многообразии,— это любовные, свадебные, ритуальные, обрядовые песни. Язык их — народный, нередко носит диалектный характер. Айрены — древнейшая форма армянской поэзии, которая имеет свою структуру, размер и, конечно, свои сюжеты. В арменистике до сих пор еще скрещиваются шпаги вокруг спорной проблемы об авторстве многих любовных айренов, которые традиционно приписываются Наапету Кучаку. Не проходит мимо этой проблемы и Айрапетян. Она вновь подвергает анализу существующую литературу и, опираясь на языковые данные, четко определяет свою позицию по этому вопросу.

Интересной страницей в армянской народной традиции является искусство ашугов, особенно язык их произведений. Ашуги пели свои песни одновременно на нескольких языках — армянском, грузинском, персидском, тюркском — сказывалось влияние иранского и турецкого владычества. Иранизмы-арабизмы и тюркизмы проникали преимущественно в армянские диалекты и народно-разговорный язык. Церковное духовенство решительно не принимало ни эти языки, сохраняя в чистоте грабар, ни самих ашугов, которых оно не узаконило, как, впрочем, и средневековых гусанов. Наиболее выдающимися армянскими ашугами XVII—XVIII вв. были Нагаш-Овнатан и Саят-Нова — певцы любви и земных утех. Вершиной ашугского искусства по праву считается творчество Саят-Новы (XVIII в.). От гусанов он унаследовал ритмические формы стиха, от народных песен — язык и изобразительные формы. Он сочинял песни на грузинском языке (36), армянском (66), азербайджанском (125) и 5 песен — на смешанном

языке (с. 628). Этот удивительный феномен многоязычия поэтического творчества, к сожалению, пока еще слабо изучен как в психолингвистическом, так и в социально-историческом аспекте. Не затрагивает этот аспект, к сожалению, и автор рецензируемой книги. Некоторые сведения из жизни Саят-Новы все же проливают свет на проблему. Армянин по национальности, Саят-Нова жил и творил в Тифлисе, где в то время правили мусульманские завоеватели. Затем он был приглашен ко двору грузинского царя Ираклия в Телави в качестве придворного певца. Здесь функционировал грузинский язык. Интересна сама лексика армянских песен Саят-Новы. Она предельно насыщена диалектизмами, а также иранизмами-арабизмами и тюркизмами, что весьма затрудняет их восприятие в настоящее время. Учитывая это обстоятельство, С. Айрапетян снабжает цитированные песни Саят-Новы подстрочным словариком.

Главным в этой ситуации было то, что экспансия иранизмов-арабизмов и тюркизмов в народную поэзию и диалекты армянского языка привела к ответной реакции со стороны общества — появлению плеяды авторов XVIII в. (Пахтасар Дпир, Петрос Капанци и др.), творчество которых определяется как поэзия периода восстановления, или обновления. Продолжая традиции древних и средневековых поэтов, новые поэты, в отличие от ашугов, стремились писать на грабаре или близком к нему архаичном языке, очищенном от многочисленных заимствований. Любопытно, что аналогичной была картина в грузинском литературном языке того периода (ср. деятельность Антония I), что можно объяснить сходством социально-политических условий Армении и Грузии. На грабаре создавались произведения преимущественно религиозного содержания. Светские сюжеты облекались в формы, которые, хотя и были архаичными, вместе с тем приближались к народному языку, но без заимствований, сильно его засорявших.

В заключение следует отметить, что книга легко читается, язык живой и образный, в ней много иллюстраций. Написана работа на восточноармянском литературном варианте, хотя за рубежом распространен преимущественно западный. По-видимому, отдавая дань и поддерживая движение за восстановление старого правописания, С. Айрапетян сохранила его в своем труде. Книга снабжена подробной библиографией на различных языках, расположенной по главам и персоналиям. В конце приложен именной указатель (с. 706—719).

Туманян Э. Г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1991

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В журнале «Вопросы языкознания» № 6 за 1990 год опубликована статья С. Б. Бернштейна «Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Критические заметки». Всем, кто следит за работой над ОЛА, несомненно, было интересно узнать, как оценивает этот труд один из тех ученых, которых принято считать основателями ОЛА (см.: Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск. М., 1978). К сожалению, суждения С. Б. Бернштейна в данном случае отражают лишь ту полемику, которая развернулась вокруг ОЛА в конце 50 — нач. 60-х годов, на первом этапе его создания (определение вопросной процедуры, сетки Атласа, транскрипции и т. д.). В настоящее время эти проблемы являются скорее достоянием истории науки, а реальная работа над Атласом уже находится на стадии издания первых выпусков карт (см.: Общеславянский лингвистический атлас. Сер. лексико-словообразовательная. Вып. 1: Животный мир. М., 1988; Общеславянский лингвистический атлас. Сер. фонетико-грамматическая. Вып. 1: Рефлексы * ě. Белград, 1988; Вып. 2: Рефлексы *ę. М., план выпуска изд-ва «Наука», 1990). Опубликован и целый ряд статей и монографических описаний, выполненных на материале ОЛА. Эта часть деятельности международного коллектива ученых из славянских стран и Германии осталась за пределами внимания С. Б. Бернштейна.

«На первый взгляд проект ОЛА в какой-то степени осуществлен. Но это лишь на первый взгляд. В действительности же и здесь итоги неутешительны е» (разрядка наша.— *К. Л., К. Г.*) — так заканчивает свою статью С. Б. Бернштейн. В этой связи считаем необходимым дать некоторые разъяснения по основным критическим замечаниям автора статьи.

По мнению С. Б. Бернштейна, «... составители не отличают ОЛА от атласов отдельных славянских языков ни по задачам, ни по технике исполнения» (с. 10) и приравнивают ОЛА к сумме национальных атласов (см. с. 13, 14 и др.). Проявление этого С. Б. Бернштейн видит в следующем.

а) Атлас назван «общеславянский», а не «славянский»; последнее название предпочтительнее, так как дает возможность рассматривать славянский диалектный континуум как нерасчлененное лингвистическое пространство и избегать национальной атрибуции языковых фактов («Мы изучаем не русские, польские, болгарские и т. д., а славянские говоры. Таким образом, мы имеем дело не с национальной атрибуцией, а с этнической атрибуцией...», с. 12);

б) Атлас уделяет мало внимания синхронно-функциональным различиям между диалектами, а именно этот аспект должен отличать его от национальных атласов (с. 14);

в) сетка ОЛА содержит слишком много пунктов;

г) при составлении Вопросника ОЛА «... не учитывались вопросники национальных атласов» и поэтому не использованы ресурсы экономии «... за счет тех вопросов, которые представлены во всех вопросниках национальных атласов» (с. 14).

В действительности же все перечисленные С. Б. Бернштейном аспекты составления ОЛА указывают на его принципиальное отличие от суммы атласов отдельных национальных славянских языков.[1]

Идея нетождественности ОЛА национальным атласам стала определяющей уже на стадии составления Вопросника — этого ключевого звена любого атласа. Именно поэтому Вопросник ориентирован на получение сведений только о тех диалектных различиях, актуальность которых проявляется лишь в масштабах всего славянского диалектного континуума. Материал ОЛА не содержит сведений о явлениях, дифференцирующих диалекты только одного языка. И, напротив, явления, общие для всех диалектов данного языка, оказываются компонентами диалектного различия в масштабах ОЛА. Такой подход к диалектным различиям принципиально отличает ОЛА от национальных атласов.

Карты ОЛА по своему объекту картографирования коренным образом отлича-

ются от карт в национальных атласах. Сложность и многообразие развития того или иного гипотетически реконструируемого праславянского элемента, например, в области фонетики, в различных славянских диалектах делает невозможным представление современной его рефлексации на уровне п о з и ц и и. Поэтому фонетические выпуски ОЛА содержат как серии карт на рефлексы праславянского элемента в отдельных морфемах, так и с в о д н ы е карты, переводящие эту информацию на уровень контекстной обусловленности и фонологической интерпретации. Напомним, что национальные атласы при составлении карт оперируют понятием «позиции».

Вопрос о количестве пунктов в сетке ОЛА может быть рассмотрен с двух точек зрения — общей и конкретно применимой к ОЛА. В принципе информативность диалектного атласа прямо пропорциональна количеству обследованных по единой программе пунктов. Ограничения на густоту сетки накладываются обстоятельствами внешнего порядка. Что касается ОЛА, то, по мнению С. Б. Бернштейна, «фантастическое число пунктов (850)» (с. 13) явилось причиной того, что работа над ОЛА затянулась, превратившись в «бесперспективное предприятие» (с. 14). Однако сама по себе цифра 850 неинформативна. Следует иметь в виду, как эти пункты распределяются по национальным комиссиям, которые и обследовали соответствующие диалекты. И тогда окажется, что для русских диалектов это 320 пунктов (стоит напомнить, что только «Атлас русских говоров к востоку от Москвы» [М., 1957] содержит более 1000 пунктов), для лужицких говоров — 4 (в «Sorbischer Sprachatlas» [T. I. Bautzen, 1986] сетка включает 151 пункт), для чешских — 32, для польских — 88 и т. д. В таком количестве обследованных населенных пунктов трудно усмотреть влияние на ОЛА национальных атласов. Сетку ОЛА следует расценивать как большой успех славянской диалектологии. Собранный по единой программе однотипный и сопоставимый материал из 850 пунктов является достижением Атласа. Уникальная картотека ОЛА станет основой для различных славистических исследований, в том числе и вне рамок Атласа. Часть этих материалов уже интерпретирована в виде фонологических описаний диалектов отдельных славянских языков (сербохорватского, словенского, македонского, польского, лужицких).

С. Б. Бернштейн в чрезмерном, с его точки зрения, количестве пунктов сетки видит причину того, что работа над ОЛА затянулась. Однако действительная причина в другом. Известно, что сбор материала для ОЛА был закончен в 1975 г. Если учесть, что массовое обследование началось в 1967—1968 гг., то срок сбора материала невелик. В 1978 г. был опубликован Вступительный выпуск ОЛА; в 1979 г. были сданы в печать первый лексический и первый фонетический выпуски Атласа. Но по разным причинам публикация была задержана на 7 (!) лет. Если бы С. Б. Бернштейн в историографической части своей статьи отразил эти факты, то ход работы над ОЛА предстал бы в более полном свете.

Действительно ли ОЛА как по характеру своих теоретических установок, так и по содержанию Вопросника не дает возможности подготовить карты, освещающие «структурно-функциональные аспекты»? (с. 14). Ответ на этот вопрос прямо связан с представлением о том, какой объем структурно-функциональной информации может быть заложен в Вопросник диалектологического атласа — независимо от того, является ли он одноязыковым или многоязыковым. Безусловно, такая информация может быть только фрагментарной. Полное представление об устройстве диалектных систем достигается лишь с помощью монографического описания, которое невыполнимо в масштабах даже самой редкой сетки обследования. Фрагментарные же сведения о структурно-функциональных различиях предусмотрены в ОЛА уже на стадии сбора материала. Так, для русских диалектов Вопросник был дополнен разработанной Р. И. Аванесовым «Схемой собирания материалов для краткой фонологической характеристики частной диалектной системы русского языка... » (М., 1969).

Структурно-функциональная информация присутствует на сводных картах первых двух фонетических выпусков, посвященных рефлексам *ě и *ę (см. выше). Более полные выводы должны быть естественным завершением серии карт ОЛА. Это будут карты, показывающие, как славянские диалекты различаются устройством вокальных и консонантных систем, отношением между вокализмом и консонантизмом, инвентарем единиц, их синтагматикой и др. Выводы структурно-функционального характера должны присутствовать и на картах, отражающих явления других языковых уровней.

Является ли недостатком Вопросника ОЛА то, что в нем не проведена экономия «... за счет тех вопросов, которые представлены во всех вопросниках национальных атласов»? (с. 14). Нет, поскольку такая экономия противоречила бы основной задаче ОЛА — ведь именно такие вопросы показывают диалектные различия в масштабах славянского континуума. Кроме того, неясно, как С. Б. Бернштейн

видит конкретную реализацию предлагаемой им экономии в практике сбора и картографирования материала.

Наконец, вопрос о самом названии труда: действительно ли название «общеславянский» противоречит представлению о том, что объектом изучения в Атласе является славянский диалектный континуум и влечет за собой национальную атрибуцию фактов? Конечно, нет. Идея славянского континуума не может зависеть от названия — она заложена в содержании Вопросника и в картах, которые показывают дифференциацию именно славянского континуума в целом, а не отдельных языков. Не вытекает из названия и национальная атрибуция фактов в комментариях. Такая атрибуция естественна в условиях, когда каждый диалект может быть соотнесен с определенным языком (отклонения от этого единичны). Можно отметить, что и в Тезисах Пражского лингвистического кружка, к которым обращается С. Б. Бернштейн, обосновывая преимущество названия «с л а в я н с к и й атлас», упоминают именно О б щ е с л а в я н с к и й лингвистический атлас (см.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967. С. 36).

Надеемся, что изложенные нами соображения по поводу критических заметок С. Б. Бернштейна внесут большую ясность в представления о концепции ОЛА и ходе работы над ним.

Члены рабочей группы ОЛА
д-р филол. наук *Калнынь Л. Э.*,
канд. филол. наук *Клепикова Г. П.*

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Первая конференция по интерлингвистике была проведена Тартуским университетом в 1987 г. Нынешняя конференция, вторая по счету, названа «И н т е р л и н г в и с т и ч е с к и е а с п е к т ы я з ы к о в ы х р е ф о р м и п р о б л е м ы л и н г в о к о н с т р у и р о в а н и я» и проходила 4—6 октября 1990 г. В ней приняли участие языковеды из ряда университетских и академических центров Эстонии, России, Украины, Литвы. Конференция была посвящена памяти выдающегося эстонского языковеда, финно-угроведа и интерлингвиста Пауля Аристэ. Во вступительном слове пишущий эти строки напомнил о вкладе академика П. Аристэ в поддержание интереса и развитие интерлингвистики в течение нескольких последних десятилетий не только в Эстонии, но и по всей стране.

Проблематика докладов в основном касалась общетеоретических вопросов лингвоконструирования и интерлингвистических аспектов реформ этнических литературных языков.

В докладе С. Н. К у з н е ц о в а (Москва) «Естественные и искусственные языки» была сделана попытка выделить некоторые признаки, разграничивающие эти две категории языков: начало первых неизвестно, вторых — датировано (время работы автора над проектом такого языка), у первых речь формируется в связи с развитием языка, у искусственных языков сначала формируется язык, а потом — речь и т. д. В социализованных международных искусственных языках (МИЯ) реализуется принцип трансгенеративности, т. е. передачи его от поколения к поколению. В докладе А. Д. Д у л и ч е н к о (Тарту) «Языкотворчество как лингвистическая и интерлингвистическая проблема» поставлена задача создания целостной теории языкотворчества, которая распространялась бы не только на этнические («естественные»), но также и на искусственные языки. Лингвоконструирование как компонент языкотворческого процесса является проблемой интерлингвистики и может быть полезным для решения ряда общих лингвистических задач. Л. В. К н о р и н а (Москва) посвятила свое выступление рассмотрению вопросов лингвоконструирования и его связи с общей теорией языка, обратившись, в частности, к эксперименту И. Ньютона по созданию всеобщего языка априорной структуры. К истории лингвопроективной работы в Англии обратился также и И. В. Фейгин (Самара), проанализировавший источники лингвопрожекторов Академии Лагадо в «Путешествиях Гулливера» Дж. Свифта. Докладчик заключил, что источником таких лингвопрожектов послужили «Труды Лондонского Королевского общества» XVII в., которые опубликовали материалы по всеобщему языку. В. П. Г у б а р е в (Москва) в докладе

«Теоретические аспекты конструирования фразеологии в МИЯ» проследил возможности фразеологии как специфического достояния этнических языков в получивших социализацию МИЯ. Докладчик полагает, что, например, эсперантская фразеология проходит по сути те же этапы формального и содержательного развития, что и фразеология этнического языка. О. В. Л е щ а к (Тернополь) попытался представить метаязык современной лингвистики как плановое образование в связи с явлением национально-языкового пуризма, который наблюдается в истории любого этнического литературного языка. Автор стоит на той позиции, что метаязык должен быть максимально интернациональным, и в этом плане интерлингвистическое конструирование может стать хорошей базой для пересмотра терминосистем и формирования новых, учитывающих при этом универсальные понятийные категории.

Интерлингвистических аспектов языковых реформ в широком смысле коснулся Л. П а л м а й т и с (Вильнюс). Он предложил рекреацию (реконструкцию) путем сравнительно-исторического метода прусского языка, который вышел из употребления в XVI в. В частности, он выделяет 11 ступеней рекреации, идя от восстановления его грамматики и словаря (автором такая грамматика уже опубликована на литовском языке; на русском текст грамматики новопрусского языка вышел в 7-м выпуске серии «Interlinguistica Tartuensis» в 1990 г.) до практического внедрения в социум. Последнее предполагает создание учебников, словарей, организацию кружков по изучению новопрусского языка, ведение на нем литературно-художественного творчества и т. д. Этот проект вызвал большой интерес у участников конференции, отметивших важность его для интерлингвистики. С. В. Т к а ч е в (Тернополь) говорил об одном из литературно-письменных вариантов украинского литературного языка — так называемом «язычии», в котором сильны рациональные начала, в частности, его грамматические основы и словообразовательные элементы зависели от субъекта, т. е. пишущего. «Язычие» использовалось в XIX в. и с интерлингвистических позиций еще не изучено. Э. Э р н и т с (Тарту), рассмотревший ситуацию в современном эстонском литературном языке, особо остановился на предпринимавшихся в нем реформах и, в частности, на активизировавшемся сейчас процессе создания на юге Эстонии нового варианта эстонского литературного языка — так называемого южного (выруского).

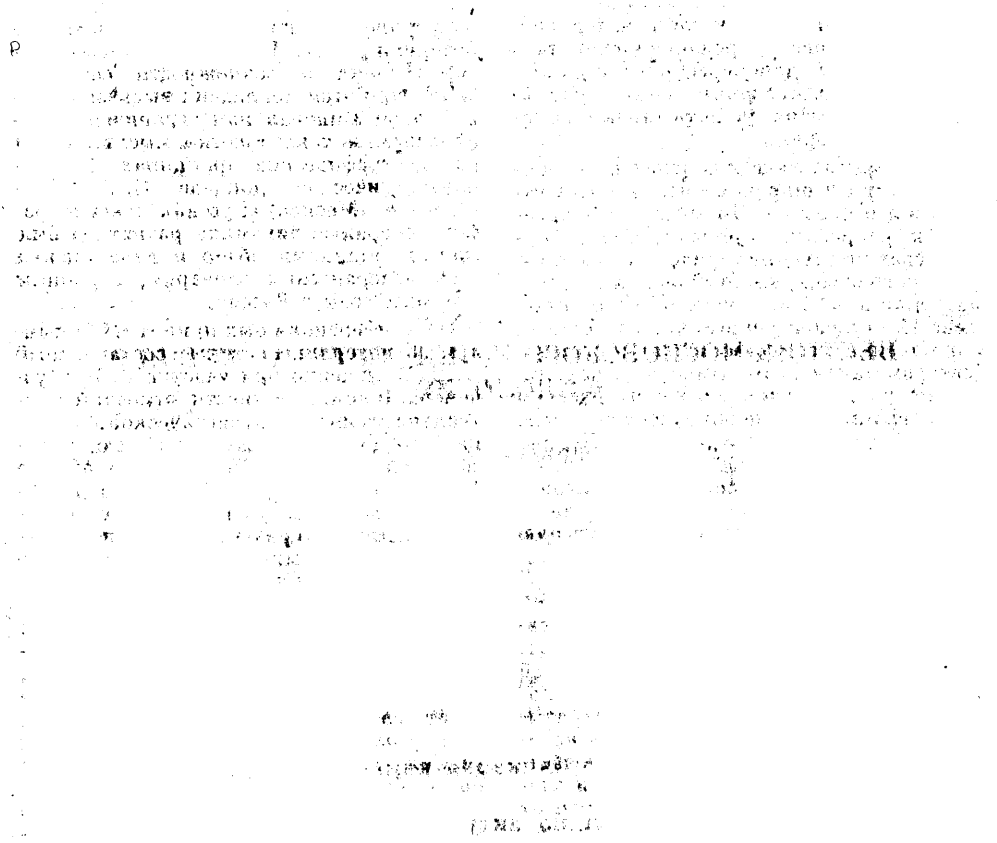
Из докладов общетеоретического характера отметим также выступление Д. Л. С п и в а к а (Ленинград) «Интерлингвистика измененного состояния сознания», в котором впервые сделана попытка связать интерлингвистическую проблематику с нейролингвистикой. Докладчик видит перспективность изучения процессов языкотворчества у билингвов и одноязычных лиц, страдающих измененным состоянием сознания. В докладе М. С. Л а б а щ у к а (Тернополь) рассмотрен важный вопрос о соотношении научного и обыденно-языкового в «естественном языке» и их отражение в МИЯ. Л. А. П о н о м а р е н к о (Житомир) в докладе «Искусственные и естественные мировые языки» проанализировала ряд социолингвистически важных аспектов распространения мировых этнических языков и функциональные потенции МИЯ. В. Д. И в ш и н (Калуга) говорил о возможности создания МИЯ, при этом докладчик высказал мнение о функциональном ограничении использования такого языка, мыслимого им на идеографических принципах. В эсперантологическом докладе Е. Г. Ш е в ч е н к о (Москва) «Русская лексикография эсперанто: динамика развития» был сделан детальный обзор и дана оценка всем эсперантским словарям, изданным в разные годы в России.

На конференции был принят «Меморандум об интерлингвистике», составленный А. Д. Дуличенко при участии С. Н. Кузнецова. В нем, в частности, отмечается актуальность интерлингвистической проблематики, диктуемая самой жизнью, показывается связь ее с проблемами общего языкознания. В «Меморандуме» подчеркнуто: «Независимо от конкретных проявлений языкового развития мира, и международным (или мировым), и языкам, не попавшим в ранг таковых, предстоит впереди долгая совместная жизнь. Ибо языки-посредники невозможны без контекста всех остальных языков». И далее: «Интерлингвистика ныне не столько новая, сколько утверждающаяся наука. Она стоит на пороге больших перспектив. Для реализации ее задач потребуются усилия языковедов в международном масштабе...».

В решениях конференции записано, что третья интерлингвистическая конференция состоится в Тарту в 1993 г. Намечено опубликовать в 1991 г. две книги интерлингвистических работ, которые ранее были помещены в научной серии Тартуского университета «Interlinguistica Tartuensis» (выпуски I—VII, 1982—1990),— «Утверждающаяся наука: интерлингвистика» (на англ. языке) и «Международный язык и интерлингвистика» (на яз. эсперанто). Тезисы докладов второй конференции вышли отдельным сборником: «Интерлингвистические аспекты языковых реформ и проблемы лингвоконст-

руирования» (Тарту, 1990, 56 с.). Ее материалы будут опубликованы в очередном выпуске серии «Interlinguistica Tartuensis». И еще. К началу конференции вышел седьмой выпуск указанной серии под названием «Интерлингвистическое конструирование и языковые реформы», посвященный памяти академика П. Ариста (Тарту, 1990, 167 с.).

Дуличенко А. Д. (Тарту)



Технический редактор *Беляева Н. Н.*

Сдано в набор 28.06.91 Подписано к печати 23.08.91 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Офсетная печать Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отт. 50,1 тыс. Уч.-изд. л. 15,5 Бум. л. 5,0
Тираж 3787 экз. Заказ 1657 Цена 2 р. 30 к.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, телефон 203-00-78
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

Журнал

«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

в 1992 г. предполагает опубликовать в одном из своих номеров сводный указатель материалов, помещенных на его страницах с 1952 по 1992 гг.

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 9. ФИЛОЛОГИЯ.

(индекс 71009, цена годовой подписки 14 р. 40 коп., оформляется с любого очередного номера).

В 1990—1991 гг. были опубликованы неизданные лекции Ф. Ф. Фортунатова, статьи Н. С. Трубецкого «К украинской проблеме», «О туранском элементе в русской культуре», «Об истинном и ложном национализме», «Верхи и низы русской культуры», «Религии Индии и христианство», «Наследие Чингисхана», а также дискуссия по проблемам евразийства Н. С. Трубецкого и Д. И. Дорошенко; готовятся к печати историософские статьи П. П. Сувчинского, Г. Савицкого, Г. П. Федотова, неизданная статья В. Д. Поливанова.

В 1992 г. предполагается публикация книги Н. С. Трубецкого «Европа и человечество».

Журнал предлагает статьи по актуальным проблемам языковедения и литературоведения, ведет дискуссию по современным вопросам языковой политики и этнолингвистическим проблемам.